

П.П. Африкантов

Сказки *о Саратове*

Книга восьмая

Саратов
2017

П.П. Африкантов

Сказки о Саратове

СТРАННЫЕ ИСТОРИИ
(повести, рассказы, сказки)

Книга восьмая



Саратов
2017

Африкантов П.П.

СКАЗКИ О САРАТОВЕ Книга 8.

Странные истории (повести, рассказы, сказки); текст
380 стр. 2017.

В книгу входят весёлые, грустные, страшные и не очень житейские истории. Темы жизни и смерти, влияние на нашу жизнь потусторонних сил являются основными в произведениях автора. Сюжеты взяты из рассказов односельчан.

Рассказы «Всё в руках Божьих», «Низзя», «Дядя Яша», «К источнику» записаны со слов свидетелей и участников происшедшего. Повесть-сказка «Про Гаврюшу-лешака и Ивана-дурака» соткана из разных, дополненных и обработанных автором, историй.

Предназначена для любителей такого рода литературы.

Книга издана в авторской редакции.

Компьютерная вёрстка, обложка и макетирование П.П. Африкантова.

© Текст, П.П. Африкантов, 2017

Всё в руках Божьих

(рассказ)

День ветреный. Погода промозглая. Мелкий колючий дождичек окропляет склоненные ветки черёмухи и жимолости, растущие прямо около кладбищенской ограды. Отдельные порывы ветра срывают мокрые листья и развешивают их, точно на просушку, по железным оградкам могилки и наклепывают их на кресты и памятники, чтобы, подсушив, унести их неизвестно куда, а, в общем, всё это лирика, никуда и никто их отсюда не унесёт, а останутся они лежать здесь, между могильных холмиков, пока заботливая рука приезжих родственников усопших не соберёт их в кучи и не сожжёт, отмахиваясь от едкого дыма. Всё будет именно так, и никак иначе.

Только вот напасть. На небе с утра туч никаких не было, да и ничто не показывало на дождь, а тут, откуда что взялось. Я уже битый час хожу под дождём меж мокрых оград, отыскивая могилку моей крестницы. За какие-то 2-3 года, здесь так всё изменилось, что не узнать. Вроде бы где-то была здесь, рядом, а не нахожу. Посаженные при погребении

деревца поднялись, начисто изменив ландшафт, да и насельников сего заведения стало гораздо больше. Городское кладбище уже перестаёт вмещать усопших. Впрочем, мне от этого не легче, прежние ориентиры стёрты, ориентироваться не по чему, и я стал бродить наобум, может быть и нападую, всё дальше и дальше расширяя круг поисков.

Дождь по-прежнему моросит. Он то переходит в редкий крап, то как бы утихомиривается, но через минуты две, три снова начинает шуметь по листьям молодых деревьев, навевая скучные однообразные мысли.

– Нет, не найти мне сегодня, – подумал я, видя как то ли туман, то ли серая осенняя хмарь опускается на землю вместе с дождём, покрывая рваной дерюгой кресты, дорожки, памятники и свежевыврытые могильные ямы.

– А раз не найти, – продолжал я рассуждать, – то нечего здесь шлаться и домачивать последние сухие нитки верхней одежды.

Забрёл я уже далековато. Надо было выбирать. Я вышел на попавшуюся узкую дорожку и заспешил, как мне казалось, к выходу. Дорожка всё более забирала вправо, а я, задумавшись о бранных днях нашей жизни, всё шагал и шагал, пока не понял, что обманулся и что надо менять направление движения.

Куда идти точно, я не знал, на кладбище было безлюдно и спросить было не у кого. Немного пройдя в обратном направлении, я вдруг заметил в стороне две фигуры, одну высокую, чёрную и другую поменьше, сероватую.

– Пойду спрошу, – решил я, – чего испытывать судьбу, наверное это могильщики, – и направился в их сторону. Когда же подошёл ближе, увидел, что это не кладбищенские рабочие, а посетители. Точнее, высоким был священник, а рядом с ним стояла среднего роста пожилая женщина в светло-коричневой кофте. Священник был пожилой в длинной, чёрной рясе. Небольшая, аккуратная, чёрная с проседью бородка клинышком лежала поверх рясы, и по ней то и дело скатывались и падали серебристые дождевики. По всей видимости, они тоже не рассчитывали на дождь и были одеты не по погоде.

Священник совершенно не обратил на меня никакого внимания. Как мне показалось, не обращал он внимания и на непогоду, продолжая негромко читать молитвенное правило, которое знал наизусть, изредка осеняя себя крестным знамением. Иногда он, неторопливо помахивая кадилом, обходил оградку, при этом в нос ударял густой запах ладана.

Лицо священника мне поначалу показалось совершенно не примечательным и даже скучным.

«Вот тоже, работёнка», – подумал я, без всякой задней мысли и переключил своё внимание на женщину. Она была уже в годах и, видимо, очень волновалась: взгляд её карих, пронизательных глаз был беспокойный. На груди, плечах, и рукавах кофта от дождя потемнела, туфли тоже выглядели неважно. Когда дождь усиливался, она ещё больше волновалась и виновато смотрела то на батюшку, то теперь уже и на меня. В руках она держала маленькую горящую свечку и прикрывала её ладонями.

Я заметил, что у женщины, были очень тонкие черты лица.

«Наверное, она была в молодости очень привлекательной», – подумал я. Женщина вела себя немного странно. По всей видимости, в ней шёл, какой-то сложный духовный процесс. Его выдавали: то искромётные, то угнетённые взгляды, то виноватая сутулость, то готовность стоять здесь хоть всю жизнь. В это время она заметно волновалась, в лице её чувствовалось сильное напряжение и скорбные морщинки резче проявлялись около губ.

Я встал рядом. Что-либо спрашивать было неловко, и я решил подождать. Уставшие ноги давали о себе знать и тащиться, абы куда, не хотелось. Намокшая одежда давила на плечи, а за ворот с фуражки скатывались неприятные, колючие капли.

«Наверное, служба продлится недолго», – подумал я и стал наблюдать за происходящим. Немно-

го постояв, я уже как-то обвыкся и стал более внимательно осматривать и женщину, и батюшку, и надгробие. Священник продолжал читать, помахивая кадилом, женщина, шевеля губами, продолжала спасать от ветра огонёк горящей свечи, что была у неё в руках.

Я решил ей помочь и пододвинулся, чтобы хотя бы с одной стороны загородить свечку от ветра. Моё шевеление с её стороны не осталось незамеченным и я поймал её благодарный взгляд. Я чувствовал неловкость. Картина службы была столь трогательна, что не хотелось своим присутствием, а тем более шевелением вносить в неё никаких изменений. Эта живая картина была исключительно цельной, одновременно и скорбной, и торжественной. Словно была написана небывалой силы по таланту и художественному восприятию мастером, и внести в неё, с моей стороны звук или движение – означало, всё испортить.

Чтобы, как-то скоротать время я стал вслушиваться в слова, произносимые батюшкой, но кроме слов «Слава тебе, Боже» я ничего не мог разобрать, да попросту и не знал, что и как читается, да и читал он, как я понял, не для моих ушей, иначе все слова произносились бы чётко и ясно. Молитвенное правило читалось, потому, что должно было читаться и в этом чувствовался высший смысл этого действия.

Ясно, что шло моление об усопшем, а усопшие у Бога все живы, как гласит христианская религия, но от остального я был далёк. И я стал думать о том, что вот я – человек с высшим образованием, не знаю того, что знает любая малограмотная старушка, а я стою пень пнём, даже не пытаюсь вслушаться и понять то, что знали мои предки, больше размышляя на досуге о путях развития цивилизации, нежели о значении столь простых поведенческих действий моих предков, которые просто шли пешком в соседнее село в церковь.

Ведь не от нечего же делать они туда шли? Значит, это им требовалось, в этом они видели высший смысл своей жизни, а не в живности, которой был полон двор. Шли в дождь, в снег и в слякоть, чаще всего в лаптях, а сапоги одевали только перед входом в храм.

Нахлынувшее на меня воспоминание, больно ударило по самолюбию.

«О чём читает этот священник, чего от него ждёт женщина и что их заставляет находиться здесь среди могилок в непогоду?» – задавал я себе мысленно вопросы. У женщины уже давно наверняка промокли туфли, да и батюшка был не в лучшем положении. Мои православные корни и моё подсознание говорили:– стой и слушай. В этом был какой-то высший смысл, которого только слегка кос-

нулся мой ум и тут же замер в оцепенении перед непостижимым.

Нет, я никогда не считал себя атеистом, я знал, что есть Бог, что он всё создал и всем управляет, верил Библии, но вот чего во мне не было, так это трепета, и втайне я понимал, что не люблю себя за всё это и, в какой-то степени, завидовал идущим во имя Господне на лишения, и даже на смерть. Но в себе я этой силы не чувствовал, а вот что чувствовал, так это угрызение совести, которая и погнала меня в непогодь на кладбище.

Совести я боялся. Я не мог терпеть, когда она меня за что-то укоряла. И укоряла иногда так, что даже щемило сердце, а в душе был явный дискомфорт и я старался этого не допустить.

Вот и сейчас я чувствовал этот дискомфорт. Уставшие ноги и тело просили отдыха, неприятный холодок пробирался под мышку, а совесть заставляла стоять здесь, с этими людьми, как будто я был должен это делать.

«Возьми и уйди, – поднимался во мне голос, – кто тебя здесь держит и кто тебя здесь знает? Стоял – и ушёл; был – и нет».

Но эти мысли ещё более раздражали. И ещё я понимал, что если уйду, то этот поступок будет меня долго мучить и лучше уж постоять, от греха подалее, а точнее от совестного дискомфорта впоследствии.

Успокоив себя таким образом, я стал рассматривать могилку, около которой мы стояли. Она была обычной, как многие другие вокруг: стандартное надгробие, такая же оградка, памятник, деревянный крест. Такое сочетание креста и памятника, встречается довольно часто. Крест, как правило, стоит без каких либо излишеств: надписей, фотографий, листочков, цветочков и прочее. А вот памятники! Про памятники, такого не скажешь.

Памятники ставят разные, и что на них неизменно присутствует, так это фотографии. Вот и здесь на памятнике, тоже была прикреплена фотография. На ней был изображён юноша с роскошными волосами и спокойным взглядом доверчивых глаз. Мне показалось, что он улыбается.

«Странно, – подумал я, – посмотрю – не улыбается, взглянусь получше – снова улыбается». И тут меня осенила догадка – его улыбка была спрятана в уголках губ, вот почему, просто окидывая глазами портрет, я находил его спокойным и даже немного сосредоточенным. Но стоило мне взглянуться в черты лица, как я тут же находил, запрятанную в уголках губ, улыбку.

– Галлюцинации что-ли? – подумал я, и перевёл свой взгляд на надпись.

– Ешутин Андрей, – было написано ниже золотыми буквами.

«Наверное, сын», – решил я и тут вспомнил о женщине. Внешне они были почти не похожи. Черты лица мало говорили о родстве. А вот взгляд! Во взгляде что-то проскальзывало общее, но что?

Посмотрев на женщину, почти уже старушку, я заметил в её глазах волнение. Она быстро бросала взгляд то на священника, то на могилку, то на меня. Я, повнимательнее, посмотрел на могильный холмик и понял причину её волнения – на могилке стояла довольно большая свечка и горела. Её пламя буквально билось, не в силах удержаться за фитилёк. Ветер же налетал то справа, то слева и язычок пламени метался из стороны в сторону.

Иногда пламя на некоторое время выравнивалось, но оставалось беспокойным – падающая морось заставляла его коптить и потрескивать. Но как только порыв ветра усиливался, то оно разом пригибалось, даже ниже фитилька, стараясь спрятать головку в выплавившуюся восковую ложбинку в центре свечки.

Иногда огоньку такой маневр удавался, ветер пролетал, и пламя снова выходило из своего укрытия. Иногда же порывы ветра были столь сильны, что пламя, не надеясь спастись в ложбинке, выскальзывало из неё и, изогнувшись, как бы пряталось за саму свечку с подветренной стороны. Каждый раз воздушные струи пролетали, не нанося вреда пламени, хотя оно не раз было на грани затуха-

ния. Казалось, ветер караулит язычок пламени, чтобы во что бы то ни стало его затушить, а пламя увёртывается от холодных ветряных стрел.

В общем, это была далеко не игра, особенно для крохотного огонька и могучего, сгибающегося вершины деревьев, ветра. Здесь огонёк свечи боролся за свою жизнь. Ветер же просто подкарауливал жертву. Вот и опять он налетел неожиданно, зло, и нетерпеливо. Пламя же за доли секунды успело уклониться от смертельного удара и, пригнувшись, спрятаться за свечку. И каждый раз, после такого действия, в глазах женщины появлялся испуг, который тут же сменялся радостью, когда огонёк выбирался из своего укрытия.

Я засмотрелся на этот поединок промозглого ветра и маленького язычка пламени и был просто в восторге от действий последнего. Но восторг мой длился недолго. Ветер, покружившись где-то над деревьями и сверху рассмотрев, где прячется его жертва, как коршун ринулся сверху вниз.

Женщина испуганно схватила меня за рукав, но, нырнувший за свечку огонёк, больше не вышел из своего укрытия и лишь рыженький его хвостик, отлетел куда-то в бок и исчез. Лёгкий голубоватый дымок, оторвавшись от фитилька, взмыл вверх и растаял в воздухе, одновременно до меня со стороны женщины донёсся низкий звук похожий то ли на стон, то ли на глубокий выдох.

Я посмотрел на женщину и увидел в ней сильную перемену. Она как-то согнулась, втянула голову в плечи, и стояла, покачиваясь. Лица её почти не было видно. Я понял, что она плачет. Плечи её при этом не вздрагивали. Её плач был неслышимым и невидимым. Так может плакать только душа, ей не нужно никаких внешних выражений. Крупные слёзы просто катились по морщинистым щекам, перетекая из морщинки в морщинку. Это были не простые слёзы обиженного человека, это было выражение до конца не изжитого человеком горя. И как нужно было ранить человека, что даже такой факт, как потухшая от ветра свечка на могилке, может причинить её сердцу такую боль?

О чём она сейчас думала? Да, наверное, о том, что вот так несправедливо у неё был отнят в самом расцвете сил сын, самое дорогое, что было у неё на свете, а теперь над его могилкой не горит даже копеечная свеча. Что всё против неё: и не только смерть сына, но даже и эта непогода, а так всё хотелось сделать по-человечески – с батюшкой, с горячей свечкой и курящимся ладаном.

Священник продолжал читать, не обращая внимания на происходящее. На него, казалось, не действуют, ни ветер, ни дождь и, выпави неожиданно снег, он всё также бы невозмутимо ходил и помахивал кадилком. Я переминался с ноги на ногу, но продолжал стоять. Мысли об уходе уже не лезли

мне в голову. Стою и стою, значит так надо, не на все же вопросы может быть ответ. Сейчас ответа нет, а потом, глядишь, с течением времени, появится. И вдруг я поймал себя на том, что сам, чуть шевеля губами, повторяю за батюшкой слова молитвы.

«Ну, не стоять же просто так, как чучело», - подумал я, стараясь оправдать свои действия. Только перед кем? Было непонятно. Перед своей совестью – она не укоряла меня, перед батюшкой – да он, занятый своим делом, по-видимому и не заметил, что я здесь стою. Перед кем же? И тут мне в голову пришла смешная мысль, я вспомнил преподавателя, которому сдавал зачёт по научному коммунизму.

«Уж не сказываются ли во мне осколки того воспитания», – подумал я и, улыбнувшись, стал повторять дальше, как бы говоря самому себе:

– К дьяволу все условности, Не хочу я знать того преподавателя, который вряд ли сам верил в то, что говорил. Я подпеваю и мне хорошо, я повторяю те самые слова, которые произносили тысячу и две тысячи лет мои предки и им тоже было хорошо, и вот теперь они слышат меня и радуются за меня. И мне было тоже плевать, что идёт дождь и ветер пронзает до костей, мне было хорошо и всё тут. Я знал, что нас вместе было очень много – умерших и живых - и все мы составляем огромный хор, и слова этого хора слышит сам Бог. «Нас мно-го!, нас мно-го!..» – ликовала душа. «И что такое ветер? Попро-

сим Господа и не будет ветра, попросим - и будут гореть тысячи свечей, верующим всё возможно. А сейчас пусть дует, пусть срывает листья и задувает свечи, пусть..., пусть..., пусть....!» – и мне хотелось кричать, и тело уже не чувствовало озноба.

Как- бы в ответ на мои мысли, дождь и ветер ещё больше усилились, они стали настырнее, а на кладбище внезапно навалилась мгла, стало темнее и неуютнее, хотя про какой уют можно было говорить. Я, как бы назло ветру, опустил воротник куртки и посмотрел на женщину – я не узнал её. С ней во время моей неожиданной эйфории что-то произошло. Это был уже другой человек. Это была не убитая горем старушка. Она, как то помолодела, карие глаза сияли, лицо было светло. Она смотрела то на могилку, то на батюшку, то на меня. По лицу её катились слёзы. Это были слёзы счастья. Они залили ей все щёки.

О! Это были далеко не те слёзы горя, сползающие по морщинам лица. И видно было, что ей хотелось сказать что- то важное, но она боялась оборвать чтение молитвенного правила. В уголках губ её прорезалась улыбка, и я вдруг увидел её феноменальное сходство с сыном, что был на портрете. Это было уже одно лицо, один взгляд.

Я не понимал – почему произошло это преобразование. Почему огромная скорбь на её лице и во всей фигуре, сменилась величайшей радостью, ко-

торая полностью уничтожила следы опустошённости и безысходности.

Я посмотрел на могилку и чуть не вскрикнул от изумления – погасшая свечка горела. Пламя её немного колыхалось от ветра, однако горело ровно, уверенно и безбоязненно. Оно уже не пряталось от налетающего ветра и не пригибалось. Казалось, что ветер только с силой разбежался на неё, но, не добежав долей миллиметров, останавливался или отворачивал в сторону.

Мы с женщиной не сводили глаз с горячей свечи, радовались и не скрывали своей радости. Я почувствовал, как мои глаза набухли от слёз. Мы понимали – это было чудо, сотворённое Создателем в нашем присутствии, и мы не только свидетели, но и участники этого события, потому что мы все молились и все переживали. По всем законам физики, свечка не должна была загореться, она давно потухла и, ничто не способствовало её возгоранию. А если б даже она и загорелась, то не горела бы вот так спокойно и ровно при том же ветре?

«Вы видели! Видели?», – спрашивали лучистые глаза женщины. Эти глаза, казалось, готовы были сами зажечь тысячи свечей. И тут, встретив мой понимающий, благодарный взгляд, она крепко сжала мою руку и уже не выпускала её из своей руки. Я ответил ей лёгким пожатием и кивком. Ба-

тюшка окончил читать и женщина, повернувшись к нему, воскликнула:

– Отец Михаил!.. Вы видели, видели?

Она говорила быстро, сглатывая окончания слов, от охватившего её волнения. – Она же загорелась, вы видели, загорелась! Потухла и загорелась!?

– Это Божий промысел, Вера Николаевна, – не скрывая волнения, но чётко и немного медленно, проговорил старый священник. – Да, да, сподобились увидеть.

– А я-то думала, что у моего сыночка даже свечка на могилке не погорит, – не умолкала женщина, теперь уже для меня она была Вера Николаевна. Она продолжала говорить возбуждённо, от избытка чувств и постоянно повторяла: «Слава Богу, Слава Богу!»

– Для вас это чудо явлено Божьей милостью, – сказал священник и, помолчав, добавил, – в общем и для меня тоже, хотя я за своё священство видел такое не раз. Спаси Господи, – сказал он и размашисто перекрестился, – даруй блага усопшему Андрею во царствии твоём, – и ещё раз перекрестившись, договорил: – Смирный он был, видно, человек и правдолюбец, угодник Божий, у таких на могилках свечки сами загораются, – и, немного помолчав, добавил: – С Господом он, им весь ваш род спасётся, и я на старости лет сподобился зреть десницу Все-

вышнего. А теперь давайте постоим, пока свеча не сгорит.

Мы стояли, смотрели на маленькую горящую свечку и каждый думал о своём.

Свеча становилась всё меньше и меньше и вот, истратив последний запас воска, затухла, Священник перекрестился и, уже больше ничего не говоря, пошёл по дороге.

Мы пошли следом. Я думал о происшедшем.

– Да как же потом-то не затухла, - не унималась женщина, - непогодь-то усилилась, а сейчас вот и ветер прекратился...

– Потому и усилился, чтобы явить силу Божью,- ответил священник, а то как - бы мы своим ограниченным умом поняли...

Так втроём мы прошли примерно половину пути.

– А вы что, покойного знали?– спросил меня священник.

– Да я так, случайно, дорогу хотел спросить, племянницу искал, не нашёл.

– Случайностей в жизни не бывает, – заметил батюшка,– «в карман не клал, а из кармана вынул»,– ответил он присказкой.

Некоторое время шли молча.

– Раз племянница, значит молодая,– заметил батюшка Михаил,– и не нашёл, значит. Так, так... Звать - то её как?

– Елена. Елена, – добавил я чуть громче, – да разве всех упомнишь!, – махнул я рукой.

– А ты рукой не маши, – сурово сказал отец Михаил, – человек забыл, а Бог всех помнит.

Дальше все шли молча, почти до самого выхода. Однако, не дойдя до ворот, батюшка остановился и, указав на ряд могил, сказал:

– Вот здесь будет, недалече.

Я остановился, Мы распрощались, кивнув друг другу на прощанье, а мои спутники пошли дальше. Буквально через несколько шагов я наткнулся на нужную могилку и ещё больше удивился, увидев с обеих сторон от могилки следы своих башмаков.

Я присел на скамейку, напротив памятника. В голове прозвучали слова батюшки: «Бог всех помнит». И тут посмотрел в сторону кладбищенской церкви. Снова шёл дождь и за частой сеткой дождя ещё различались высокая фигура священника Михаила и маленькая – Веры Николаевны.

Саратов, 2007.

Низзя

(рассказ)

Анна Андреевна закончила набирать текст на компьютере, закрыла программу, – на экране монитора появилась её любимая заставка с изображением героя фильма Павла Лунгина «Остров». Раньше ей нравились всегда заставки с пейзажами. У ней был целый набор таких заставок, но ни одна из них не держалась на экране монитора больше недели. Эта же, с аскетическим морским побережьем крайнего севера, монастырём на острове не менялась уже не один месяц. Ей до боли были понятны действия этих женщин в лодках, с такими разными судьбами, но такими похожими на неё, с её судьбой, с её жизнью.

Иногда она видела себя в одной из этих лодок и надолго задумывалась. Впрочем, так было и сейчас. Особенно её приковывал взгляд прозорливого монаха на экране, – отца Анатолия. Он смотрел как бы на тебя и выше тебя в ту даль, которая открыта только ему, и казалось, он смотрел в твоё будущее, пытаясь в далёком рассмотреть твою душу и сердце.

«Вот, поди ж ты артист, а взгляд монашеский, прозорливый, – думала она.– Нет, не может обыкновенный человек вот так смотреть. Для того, чтобы так смотреть – надо пережить; без страданий здесь не обошлось. А от страданий душа смягчается, да так, что становится способна чувствовать боль чужих ему людей, отсюда и взгляд и понимание». Потом она где-то на сайте читала, что артист этот, Пётр Мамонов – москвич, но живёт в деревне, в полном уединении. «Нет, этот артист от Бога, а не сам по себе, – заключила она, – не может Господь позволить играть такую роль кому-либо».

А ещё Анна Андреевна любила разговаривать с отцом Анатолием. Придёт пораньше на кафедру, включит компьютер и говорит ему про все свои болячки и смущения, А он так внимательно и с пониманием смотрит и слушает, что так бы сидела и говорила и говорила ему всё.

На свете было два человека кому бы она могла всё рассказать: это старшая дочь Лена и отец Анатолий. Раньше, когда у неё не было этой заставки, она разговаривала и изливала душу только дочери. Но, к дочери надо было ехать, что не всегда было возможно, а отец Анатолий здесь, всегда рядом и когда на кафедре никого нет, и нет срочной работы, то можно было и расслабиться. Одна только была загвоздка, что дочь и отец Анатолий были не равноценны в беседах: изображению отца Анатолия мож-

но было выговориться, почувствовать, что тебя понимают и сострадают тебе, но нельзя было получить оценку твоих действий, перед дочерью она могла и выговориться и получить или предупреждение или оценку действий и поступков.

– Не хочешь ты мне ничего сказать,– говорила она, глядя в монитор на отца Анатолия,– нехорошо это, знаешь и молчишь, вот поеду сегодня к Лене и пожалуюсь на тебя, будешь знать, как отмалчиваться. Она не как ты молчун, она мне всё скажет. Вот так то, голуба душа.

Анна Андреевна нахмурила брови и, глядя на отца Анатолия, сказала:

– Ну и что, что на улице холодно и ветер, а на кладбище промозгло, а я всё равно поеду, она меня любит и ждёт,– проговорила Анна Андреевна с укором,– а пока я езжу, ты посиди в этом ящике и подумай над своим не очень деликатным поведением. И, нельзя же вот так, ни с того ни с сего, обижать пожилую женщину и вдобавок ещё пенсионерку... – и она, закончив говорить, выключила компьютер, потянулась в кресле, пытаясь расшевелить, занемевшие от долгого сидения члены, и поморщилась.

Да, ей было уже за шестьдесят и надо было уже думать об отдыхе. Она бы и ушла на отдых, но давняя привычка ощущать себя кому-то нужной, чего-то делать и при помощи этого забываться и забывать о собственных проблемах оставляли её на рабо-

те в своей постоянной должности – заведующей кабинетом. Работа действовала лучше пилюль, Анна Андреевна это знала и этим пользовалась. Она, даже, с каким-то немного страхом думала о пенсии, хотя её ровесниц в институте уже не было. А, впрочем, в мыслях она уже давно с этим возможным уходом смирилась.

«Всё это не стоит выеденного яйца, – думала она, – месяцем раньше, месяцем позже, какая разница, всё равно уход неминуем. А ездить к дочери я могу и из дома. – успокаивала она себя, – Тем более, что здоровье ухудшалось». Вот и теперь руки и ноги лениво слушались свою хозяйку. Тело просило покоя, оно неприятно тупой слабой болью отзывалось во всех её движениях. Анна Андреевна знала, что так бывает всегда, но потом немного разомнёшься и вроде терпимо, просто не надо расслабляться.

О своих проблемах со здоровьем на кафедре знала только она и старалась не подавать вида, что есть проблемы. Она всё ещё была не дурна собой, а седину скрывал тонкий окрас волос. Нет, она и раньше никогда не злоупотребляла красителями, предпочитая свой естественный цвет, вернее, пытаясь подобрать под него красители. Чаще ей это удавалось, но однажды, то-ли она что напутала, то-ли изготовитель, но цвет волос изменился, превратившись из каштановых в каштановые с сиреневатым отливом. На кафедре женщины говорили, что

этот цвет ей больше к лицу, но слово «НИЗЗЯ» резануло душу и Анна Андреевна в тысячный раз покорилась этому слову.

Это слово произносила её дочь Лена, когда была ещё ребёнком. Анна Андреевна и сейчас часто вспоминает её совсем маленькой, полненькую с курчавой головкой. Малышка, как и мать, очень рано начала говорить, и когда ей что не нравилось она мотала головкой и говорила громко и очень по-детски серьёзно «НИЗЗЯ». И если взрослые не подчинялись, она уже почти скороговоркой говорила, – низзя..., низзя..., низззя!, – и на голубых её глазках начинали блестеть слезинки.

Вот и в прошлый раз, слово «НИЗЗЯ» резануло сердце, и она рассталась с сиреневатым отливом, перекрасившись в обычный цвет. Сегодня она опять ехала к дочери, чтобы знать, как она среагирует, на новые обстоятельства её жизни. А обстоятельства были такими, что ей пришлось отказать, по причине от неё независимой, в просьбе одному доброму человеку, которому она никогда не отказывала, и это её немного мучило. Это был ассистент с соседней кафедры Миша, молодой и очень открытый человек. Все звали его Мишей, но при студентах переходили на Михаила Фёдоровича. Анна Андреевна же и при студентах называла его просто Мишей, потому что её возраст негласно разрешал ей это.

Этот отказ не то, что не давал ей покоя, совесть её не мучила, не будет же она объяснять Мише всех тонкостей их кафедральной жизни. Но, как отнесётся к этому Лена? Может быть, надо было поискать другой путь решения вопроса? Ведь неизвестно как у них там, она подумала о дочери, к её действиям отнесутся. Одно дело – здесь, на кафедре, а другое дело там. И это «там» волновало её больше всего. И об этом могла сказать только её дочь и больше никто, может быть даже никто в целом мире. И ей было радостно, что у неё есть такая дочь. Да, да есть и никак иначе. Но этого из своего окружения, даже мужу, она не могла сказать, потому что её не так бы поняли, если бы поняли вообще?..

Она выключила компьютер и хотела было уже встать, как дверь на кафедру немного отворилась и послышался вкрадчивый голос Миши:

– Анна Андре-е-в-на! Тук – тук. Вас можно потревожить? – В приоткрытую дверь просунулась очкастая голова ассистента. А вслед за головой, появился и он сам. Мишины глаза приятно улыбались. Нет, они улыбались не потому, что ему было что-то надо, они у него всегда улыбались при виде Анны Андреевны. Но сегодня они у него ещё и блестели как-то по-особому, более выразительно, что ли?

– Анна Андреевна, – говорил Миша, продвигаясь к её столу, – спасительница вы наша и палочка – выручалочка; не дайте пропасть ни за что, ни про

что. Не можете ли вы напечатать вот этот противный листок, который мне только что вручила неизвестная вам Оксана Юрьевна. Мне это позарез надо, а дали его мне только сейчас и то на одну минутку.

Анне Андреевне очень не хотелось вновь включать компьютер, но видя смущённый Мишин вид, она протянула руку и взяла у него листочек, машинально включила компьютер, вошла в «Ворд» и стала быстро перепечатывать текст. Анна Андреевна делала это быстро, как принято говорить – профессионально. И только, когда закончила печатать, поняла. Точнее не поняла, а в мозгу у ней промелькнуло другое дочуркино словечко – «ЗЗЯ». Это слово она употребляла, когда малышке что-то в действиях взрослых, относительно её, нравилось. И они устаивались от неё особого внимания, разрешения и похвалы одновременно, заключённых в одном только слове «ЗЗЯ».

– ЗЗЯ, – сказала себе Анна Андреевна потихоньку, протягивая Мише отпечатанный лист.

– Что вы, я не расслышал, сказали? – спросил Миша.

– Да это я так..., готово, говорю, – сказала она, немного смутившись, что пришлось немного соврать человеку, которого она как-то по-матерински любила и немного ему покровительствовала. Мирские отношения, сформировали свой стиль поведе-

ния. Это был особый, защитный стиль, который не отталкивал человека, но и не пускал его внутрь, в свою сердечную клеть.

– Каждому своё место, – подумала она, – не получилось, значит, не получилось. Таков промысел Божий и нечего об этом думать.

А дело было в том, что Анна Андреевна, когда-то втайне мечтала, чтобы Миша стал мужем Лены. Они очень подходили друг другу по характеру. Но об этом она только мечтала. Лена была с детства неизлечимо больна и о замужестве говорить и мечтать не приходилось. Тяжёлая болезнь, как казалось Анне Андреевне, сформировала характер дочери. Нет, она не стала несносно капризной, а наоборот, – зная что её в конце концов ожидает, а это в конце-концов могло наступить каждую минуту, она стала наоборот очень выдержанной, не по годам серьёзной и терпеливой. И не раз видя, что мать находится на грани срыва, от свалившегося на неё несчастья, успокаивала её и даже улыбалась, используя для этого просто нечеловеческие силы.

Болезнь источала её, капля за каплей, вытягивая из неё силы, но чем больше это происходило, тем приветливее и покладистее, добрее становился её ребёнок. Это было трудно понять, но тогда Анна Андреевна этого и не понимала, что с ней происходило. Она просто жалела её, на сколько хватало её жалости, и всё. Жалость была больше тупая и бес-

сознательная. Это была горькая жалость к обречённому, замешанная на человеческом бессилии. Анна Андреевна часто не понимала, чему улыбается её дочь, после приступа, за которым мог последовать конец.

Нет, тогда она этого не понимала. Она стала понимать её только сейчас, а тогда она готова была обратиться хоть к дьяволу лишь бы кто-либо, неважно кто, спас её дочь. И в этом крылась разделяющая их с дочерью пропасть. Одна понимала всё, а другая понимала больше чем всё. Точнее сказать, это была не пропасть, а пространство, которое одна уже прошла, а другая должна была пройти. Это было не пространство болезни, а пространство понимания и мироощущения. И вот у Лены оно было иное. Она в свои двадцать лет была ближе к Богу, чем её мать, та была только на пути к нему. Но, это она поняла только потом.

Изменения в дочери происходили постепенно, а не вдруг. Анна Андреевна заметила, что дочь стала читать религиозную литературу. Что на столике рядом с её постелью всегда лежало раскрытое Евангелие и другие книги, но тогда её ум это не занимало. Более, её интересовали любые ниточки, дающие надежду на выздоровление дочери, и она хваталась за каждую соломинку, чтобы спасти дочь: ездила за тысячи километров к выдающимся врачам, металась по округе в поиске народных целителей- трав-

ников, а затем обращалась за помощью к экстрасенсам и откровенным колдунам. Но всё было тщетно.

Но потом у Анны Андреевны, когда это произошло, был провал: провал в памяти, провал в мироощущении. На какое-то время будущее для неё исчезло, а настоящее было мало узнаваемо. Она жила больше по инерции, не ощущая жизни. Она для неё остановилась, замерла в ожидании. Нет-нет, ожидание пришло потом, а в начале была тупая обречённость и всё. Жизнь для неё в одно мгновение кончилась. Она даже и не хотела её: зачем ей нужна была жизнь, когда было отнято самое сокровенное, чем она жила и для чего она жила. Всё мгновенно рухнуло. Жить было незачем, впереди была пустота, пустота равнины, а сзади, уже в далёком прошлом, оставались в памяти горы всевозможных жизненных коллизий.

– Что я? И что во мне? – спрашивала она саму себя и не находила ответа, – Почему я должна жить пожилая и больная, а она нет? Кто за этим стоит? Люди говорят, что всё в руках Божьих, но почему тогда он так несправедливо жесток ко мне и моему ребёнку? – Эти вопросы не выходили у неё из головы и злое, протестное несогласие затмевало её душу. Да – да, это был протест: протест против неписаных законов, царствующих в мире, против властей и против любой несправедливости, и, в конце-концов, против самой себя, которая жила не так, по-

ступала не так и даже мечтала не так, как в большей степени принято в этом мире, где счастье в добродетели, к которой стремилась она и чему учила свою дочь, иллюзорно, потому что она видела, что большинство людей живут по другим законам и ничего, живы и здоровы, а вот её дочери нет и её самой тоже можно сказать, нет.

О себе самой в то время она тоже говорила в прошедшем времени, потому, что не хотела жить. Жить как большинство – она не хотела, а жить как хотела – уже после небытия дочери она не ощущала необходимости. И, потом, был ли тот иной мир, о котором стало модно говорить? Нет, она его тоже не ощущала и, по большому счёту, в это мало верила. Правда, ей хотелось в него поверить, потому что это давало какую-то призрачную надежду, но верить просто так, без движения души не хотелось, да и стоило ли обманывать себя и знать, что обманываешь? Обмануть себя было нельзя... Но тогда она верила в существование своего внутреннего мира, она его чувствовала.

«Если мой мир внешний и внутренний рухнул, то зачем мне мир чужой, в котором меня ничего не радует?– Рассуждала она,– что мне в нём? Его радости – не мои радости. Его печали – не мои печали. Разве он печалился вместе со мной в моём горе? Нет, он грохотал под моими окнами, когда на меня надвинулось горе, он в пьяном угаре веселья плясал

вокруг и везде, когда, она, обняв холодное тело, провожала его в вечный покой. Мир тогда не внимал ей, а почему она должна внимать ему и долго терпеть его?– Его для меня нет», – решила она тогда, – захлопнув дверь души и замкнув её на все запоры, от непрошеного гостя.

В институте заметили резкую перемену в Анне Андреевне.

– Время всё излечит, – говорили коллеги между собой и старались относиться к Анне Андреевне более участливо. Но эта участливость её ещё больше раздражала, и она сказала об этом открыто. Коллеги по работе поняли и стали относиться к ней как обычно, стараясь своим поведением даже не намекать на её горе.

А потом в ней, к удивлению многих, произошли резкие перемены. Люди подумали, что время снизило кровоточивость раны, но они ошибались. Ошибались, потому, что не знали. Не знали того, что знала Анна Андреевна. Они, например, не знали, что своими переменами она обязана дочери. Они видели, что она стремится нисколько не задерживаться на работе, чего раньше за ней не замечалось.

«И вот теперь, когда ей нужно было срочно уйти, появился этот Миша», – подумала Анна Андреевна и осталась, потому что понимала, что если она

выставит Мишу за дверь, то ничего хорошего при встрече её с дочерью не ожидает.

– Низзя!– сказала она громко и улыбнулась.– А может быть «ЗЗЯ»?

Анна Андреевна закрыла программу, на экране появился отец Анатолий. Она не стала с ним разговаривать

– Поговорим завтра,– сказала она ему,– ты же знаешь, что мне некогда. В следующий раз поговорим,– добавила она, выключила компьютер и, одеваясь почти на ходу, вышла из кабинета.

На улице было ещё светло, но Анна Андреевна знала, что вот-вот начнёт смеркаться, и потому торопилась. Маршрутная Газель не заставила себя долго ждать и место в ней было самое подходящее, в сторонке. Ехать ей было далеко, а проще сказать,– до конца маршрута и потому Анна Андреевна старалась сесть так, чтобы не мешать постоянно входящим и выходящим пассажирам. Иногда ей доставалось самое неудобное место, вблизи водителя, где необходимо было передавать деньги за проезд. Но она считала это для себя испытанием, потому что передавать деньги водителю было неудобно, поворачиваться было трудно, а руки как следует уже не гнулись и бывало, что мелкие денежки улетали за сиденья, откуда их было невозможно достать. Анне Андреевне всегда было стыдно за свою неловкость, она мирилась с таким положением и незаметно,

докладывала свою мелочь и передавала водителю. Потом, она боялась причинить людям неудобство, за которым последует дочернее «НИЗЗЯ». И этого «НИЗЗЯ» она страшилась больше всего.

Она страшилась этого «НИЗЗЯ», но и одновременно любила его, потому, что это «НИЗЗЯ» вернуло её в мир и вдохнуло в неё жизнь. И эта жизнь была уже совсем другая, даже не та, что была до болезни дочери, она была другой потому, что сама Анна Андреевна была иная, и она чувствовала в себе эту новую народившуюся в ней жизнь, как чувствует мать народившееся в ней дитя, которое с каждым месяцем всё активнее вторгается в её жизнь, подчиняя с каждым часом её желания, своим желаниям.

Всё произошло несколько незаметно и можно сказать обыденно. Анна Андреевна продолжала ежедневно ходить к дочери на могилку, на которой был установлен гранитный памятник с высеченным на нём рельефным портретом дочери. На кладбище она бывала подолгу, особенно в выходные дни. Анна Андреевна разговаривала с Леной, гладила её лицо рукой, пока не заметила, что выражение лица в разные посещения, было различным. Оно, то как бы хмурилась, то как бы обижалась. Иногда по лицу её тонким лучиком скользила улыбка, а то проскальзывала озабоченность и даже тревога.

Сначала, мать подумала, что ей это показалось. Но потом, присмотревшись и понаблюдав, Анна Андреевна поняла, что это действительно так. И когда она это поняла, в этот момент и произошли в ней самые большие перемены. Она поняла, что её жизнь, не кончилась, и что её смерть, равно как и смерть дочери, это тоже не конец. Она от переизбытка возникших в ней чувств то смеялась, то плакала. И это были слёзы её обновления, это были слёзы счастья. Она обнимала памятник, гладила дочь по лицу и повторяла:

– Милая моя деточка. Это правда, правда! Я не ошиблась, ведь мне не показалось! – и эти слова не были вопросами, а, по сути, были утверждением того нового мироощущения, которое в ней народилось и уже не отпускало её от себя. Её душа пела:

– Моя дочь жива..., жива..., жива!!! На этом свете есть Бог! Господи! Прости меня, дуру! Боже! Я вижу тебя! Ты есть. И я чувствую твоё присутствие. Я знаю, что ты есть, потому что чувствую Тебя в своей душе и мне не надо доказывать, что Ты есть. Наша жизнь нужна Тебе. И живём мы здесь для Тебя! И Ты знаешь нас! И она очень отчётливо видела улыбающееся лицо дочери. Она как бы говорила:

«Вот видишь, мама, я же говорила тебе, что у тебя будет всё хорошо, но ты до поры не понимала моих взглядов. И, вот, наконец- то, поняла, и я рада за тебя, рада, что Господь открыл для тебя неведо-

мое, и что ты терпением своим заслужила Его прощение. А ты и я, мы по-прежнему вместе. Мы теперь даже гораздо ближе друг к другу, чем были раньше, потому что видим дальше и понимаем больше. Ты, мама, преодолела то пространство, разделяющее нас, ты молодец. Ты снова со мной, и я с тобой. Мы вместе. Это же здорово. И я говорю тебе «низзя грустить», «низзя тосковать», «низзя не любить». Мир создан для наших испытаний, это полигон, где проверяются и испытуются наши души. Без этого, мама, нельзя. Я, хотя и моложе тебя, но раньше сумела пройти всё, что мне надо было пройти. Мой каждый день в болезнях и мучениях засчитывался за три или даже четыре дня. Вы же жили медленнее, чувствовали медленнее, да и вообще, мама, без меня и моего ухода не было бы сейчас и тебя такой, какая ты есть. Возможно, что ты была бы ещё, где-то, в середине пути и между нами была всё та же пустыня недопонимания».

Анна Андреевна ловит себя на мысли, что уже боится вернуться в прошлое, потому, что боится потерять сегодняшнее. Она боится, что расстроится тот неведомый музыкальный инструмент с невидимыми для обыкновенного человека струнами, и она перестанет слышать ту музыку, которую слышит сейчас, перестанет видеть то, что видит сейчас. И она понимает, что это уже, в какой-то мере, уже не она и что она уже меньше принадлежит этому миру,

чем тому, в котором живёт её дочь. Что в ней живёт Тот, который её понимает и знает лучше, чем она знает себя. Её понимает Он, живущий в ней, и её понимает её дочь. Но её не понимает и не поймёт мир. Главное, что она ничего не может никому доказать. Впрочем, ей и не хочется никому и ничего доказывать. Каждому дано своё время и свой час.

Всё это пронеслось в её голове мгновенно, пленив сознание. Анне Андреевне показалось, что это был удар молнии, удар, который был направлен именно в неё. В мгновение она всё поняла и больше уже ни о чём не спрашивала. Она просто смотрела на дочь и повторяла:

– Ладушка ты моя, умница ты моя, радость неизречённая. Да я тебя сейчас ещё больше люблю и понимаю, нежели при твоей жизни на земле. Я не могу сказать:– что «когда ты была рядом», потому что это не так. Ты для меня сейчас намного ближе, чем была раньше. И я помню все твои детские словечки. Хочешь, разговаривай со мной, и я буду понимать: хорошо ли я поступила, или дурно.

Анна Андреевна понимала, что дочь всегда употребляла, чтобы развеселить мать свои некоторые детские словечки типа «НИЗЗЯ», «ЗЗЯ» или «НЕМОЖНО». И теперь она ясно чувствовала их и если раньше они наводили только на грусть, то теперь воспоминание о них несли с собой радость.

И ей было так хорошо, что она не замечала ни январской стужи, ни сброшенного на оградку пальто, ни голосов подошедших людей, которые участливо надевали на неё пальто и застёгивали пуговицы.

– Вишь ты, как надсадилась, – слышала она хрипловатый мужской голос.

– В больницу её надо, ополоумела она, – вторил мужскому голосу женский.

– Да посадите вы её на лавочку, вот на мою сумку!

Это был командный мужской голос, и она почувствовала, как именно руки этого человека крепкие и заботливые усадили её на лавочку и, поддерживая, стали чем-то мягким вытирать её вымокшее от слёз лицо. Это были слёзы недавней горести и слёзы неожиданно возникшей радости. Эти слёзы перемешались на щеках. Да это и не были слёзы, а сама прошедшая и нарождающаяся в ней новая жизнь переплелись в её сознании так, что были уже неотделимы и составляли одно целое. Прошрое, настоящее и будущее в едином потоке, в едином стремлении. Она обессилела от вошедшей в её душу перемены и обмякла. Именно в этот момент и подошли к ней люди.

– Да перестаньте вы давать советы, – услышала она опять командный голос. – Сами вы ополоумели. – Не видите, что она просто ослабла от пережи-

вания. Пусть немного отдохнёт,— и добавил,— ну ладно, милая, поднимайся потихонечку и пойдём к автобусу, скоро последний рейс.

Нет, Анна Андреевна не была в бессознательном состоянии, как это было с ней не раз на могилке. Наоборот, её сознание было как никогда ясно и каждая её жилочка ощущала новую жизнь, народившуюся в ней здесь на кладбище, но ноги почему-то отказывались идти, не слушались.

— Вот и хорошо, вот и ладненько,— говорил поддерживающий её под руку мужчина, вот церковь, а за ней и автобусная остановка. А ты уже совсем молодец.

Мужчина, чьего она даже не запомнила лица, проводил её до дома. Она могла уже идти сама, но он видимо опасался за её состояние и стоял, пока она не скрылась в дверном проёме старого, разделённого на квартиры, купеческого дома.

Такие воспоминания могли продолжаться весьма долго. Анна Андреевна любила их. Но тут газель неожиданно остановилась, все стали выходить, мысль Анны Андреевны прервалась, потому, что была уже конечная и надо было подниматься с сиденья.

Анна Андреевна шла быстро, она торопилась. Не заметила как миновала церковь, как нашла нужный ряд могил и... . Этого «и» она всегда ждала с

большим нетерпением. Потому и подходила к могилке не с боку, а всегда шла дочери навстречу, прямо на памятник, пытаясь разглядеть выражение её лица ещё издали. Последние метры к памятнику она просто бежала. Она не могла рассмотреть рельеф дочери ближе чем за пять метров, потому что уже посадила зрение работой на компьютере и теперь, когда Анна Андреевна приближалась к памятнику, дочь её выплывала как из тумана.

И тут глаза её наполнились слезами, день был прожит не зря, дочь смотрела одобрительно, с мягкой улыбкой на лице.

– Вот я и пришла, – сказала Анна Андреевна, тяжело опускаясь на скамейку. – Значит, я сегодня была молодец? Ну, ну – вижу что молодец. А вот третьего дня ты была не довольная мной. Я знаю почему, потому что ссорилась с отцом. Но я ссорилась потому, что он не пускает меня к тебе. И тут она спохватилась, что, сказала это, в своё оправдание и сказанное немножко не понравилось дочери. Улыбка на её лице как то потихоньку исчезла и лицо стало равнодушно – молчаливым.

Такое выражение её лица говорило о том, что дочь не разделяет мнения матери, но и не спорит с ней.

– Ладно, поговорим потом, – сказала Анна Андреевна, не зная, что сказать дочери. Она понимала, что завтра обязательно согласится с Леной, что она

права, но сегодня она была ещё не готова осмыслить её ответ.

Анна Андреевна пыталась объяснить мужу то, что выражения лица на рельефе меняется, но муж даже разительно разные выражения различить не мог. Он считал, что у жены это галлюцинации от частого хождения на кладбище и что он, инженер, не понимает, как гранит может меняться. Анна Андреевна попыталась ещё несколько раз объяснить мужу, явно видимое ей, но тот совершенно не реагировал на её доводы.

Тогда она поняла, что они с мужем так же далеки друг от друга, как когда то были далеки они друг от друга с дочерью. И что потребуется время и много времени, чтобы её муж изменил своё мнение. А пока, пока она говорила с дочерью одна. Она говорила с ней, на только им понятном языке и была этим счастлива. Это было общение в невесомости. И тут Анна Андреевна вдруг поняла, что нашла точное слово для выражения своего душевного состояния и состоянии их общения с дочерью. Это было хорошее слово «невесомость». Она очень обрадовалась этому слову.

«Верно, – рассуждала она, – здесь, в бренном мире всё весома, а вот там, за паутиной сеткой бытия всё по-другому. Там всё невесома и более тонко, и этого нельзя не увидеть, как нельзя не увидеть

улыбки дочери хоть немного не уподобившись в душе и сознании этой невесомости. А чтобы уподобиться, нужно переболеть, и тогда что надо увидишь и услышишь».

И тут Анна Андреевна неожиданно поймала себя на мысли, что уже боится вернуться в прошлое, боится впасть в мирскую суету, боится очерствить душу и сердце. Ей стало дико от того, что она никогда не увидит невесомой улыбки и взгляда дочери и что многое не будет понимать из того, что понимает сейчас. И вдруг её резанула невесть откуда появившаяся мысль:

«А ведь в том дебелим мире была бы жива её дочь... Хочу ли я вернуться к той прежней, пусть неизлечимо больной дочери?» В мозгу её стучало, а виски сдавило словно железным обручем. Вернуться в прежний, её мир ей явно не хотелось, это было всё равно, что одеть туфли на размер или даже два меньше. Ладно, она, может быть ради Леночки и согласилась бы, но захочет ли этого она? Это был вопрос, бьющий наповал. Она явно этого не хотела, но как мать, ради дочери она бы сделала это. Ведь стал Бог человеком ради людей. Этого вопроса она одна разрешить не могла и ей потребовалась срочная поездка на кладбище. Но как дожить до завтра с такой ношей на сердце?»

Итак, Анна Андреевна вошла в калитку, привычно открыла ключом дверь, разделась и прошла в зал. Она села в темноте в кресло, желая немного отдохнуть, но, взбудоражившая её сознание, мысль не уходила. И тут ей стало как-то немного не по себе. Было такое ощущение, что кто-то наблюдает за ней. Она дотянулась до выключателя и зажгла свет.

На неё смотрела с большого портрета дочь Лена, она была очень встревожена, на глазах её навернулись слёзы, и выражение глаз просто кричало «НИЗЯ», «НИЗЯ» «НИЗЯ»! Такое с портретом происходило впервые. Анна Андреевна откинулась в кресле и будто огромная тяжесть упала с её души.

– Низзя, – проговорила она тихо, – ты права, этого делать нельзя. И тут раздался телефонный звонок. Анна Андреевна взяла трубку. Звонила младшая дочь из другого города, где она жила с мужем и годовалой дочкой. Оля рассказывала по телефону, что Настенька научилась говорить кроме ма-ма, па-па, ба-ба, де-да и ещё кое-что.

Настенька в этом возрасте очень была похожая на Леночку и Анна Андреевна частенько называла её не Настей, а Леночкой. А тут на тебе, уже говорит.

– Ну-ка, Настенька, скажи бабушке в трубку что-нибудь, – говорила на том конце провода младшая дочь. Послышалось какое то шуршание,

затем в трубке слышались слова произносимые внучкой:

– па-па, ба-ба, ма-ма, а затем слышалось кряхтение, видно от неё чего-то требовали, а затем Анна Андреевна услышала в трубку громкое и протестное «низзя». Больше Анна Андреевна ничего не слышала, она заливалась слезами, а когда подняла голову, – то увидела на портрете большие смеющиеся глаза старшей дочери.

Саратов, 2007.

Облака

(рассказ)

– С ней мы встретились ещё раз.

– А поточнее, можно?– спросил товарищ.

– Встретился я с той женщиной, помните, рассказ про загоревшуюся свечку на могилке,– вот с этой женщиной я и встретился, Верой её, оказывается, зовут, только после первой встречи, не запомнилось. Наверное, не до того было,– оба были поглощены случившимся. Да, я и в мыслях не держал, что мы когда-либо увидимся. Встретились, разошлись, случайность, вот и вся недолга.

Только, разве это был случай? Конечно, я зря употребил это словцо. Чудеса не случаются, тем более не рукотворные, они происходят. И таят они в себе огромный смысл. Чего люди зачастую не могут понять. Это им не дано. Зачем знать все тайны царствия Божия? Нам дано знать главное – если чудо произошло, то оно произошло для нас и ради нашего спасения. И не надо думать, что вас Бог особо любит, потому и произвёл чудо. Господь всех любит и

обо всех печётся и подаёт то врачество, которое для человека в данный момент полезнее.

– Встретились мы опять на кладбище, – продолжил я. – Хоронили моего хорошего знакомого и мне случилось идти по той же дорожке, что и в прошлый раз, только день был летний и солнечный.

Голубое - голубое небо струилось в вышине пучками божественных нитей и проливалось ими на кладбище, делая этот унылый уголок радужным и просветлённым. Нити спускались с небес тончайшими световыми паутинами и повисали над царством могил и оград. Нити эти были не только с оттенками голубого, но вмещали в себе все цвета радуги. Голубые, синие, бирюзовые, лиловые, со всевозможными оттеночными разводами и вкраплениями. Они проливались на землю нескончаемым потоком и высвечивались подобно северному сиянию, Они, то вспыхивали в полёте чарующими фейерверками, рождая каждый раз совершенно иную гамму цветов, то, соединяясь с другими подобными всполохами, давали иную, более чудную картину, и это было бесконечно. Я шёл и зачарованно смотрел на пляску света над царством мёртвых.

– Здравствуйте! – услышал я рядом с собой, мне показалось, знакомый голос. Поворачиваю голову и вижу улыбающуюся пожилую женщину. Я сразу как-то и не узнал её, а потом вспомнил. Да и

как было узнать в этой жизнерадостной с искрящимися глазами женщине, ту, с потухшим взором, опущенной головой и плечами, измотанную промозглой непогодой, посетительницу кладбища.

– Вы что, не узнали меня?– спросила она, заглядывая в глаза, и продолжила говорить не ожидая ответа.– Не правда ли, такое чудо можно увидеть только на кладбище?

Мы поняли друг друга, и я продолжил:

– Вы правы. Чудеснее проявления природных сил в их радостном состоянии нигде нельзя встретить кроме как на кладбище, равно как и более удручающего пейзажа в ненастные дни.

– А почему так? – спросила она.

– Думаю, что всё зависит от расположения человеческой души. Здесь она более открыта, более чувствена.

– А я думаю,– сказала она тихо,– что Господь этот уголок, эту лестницу в небо особо убирает, когда желает, чтобы мы и возрадовались и, когда надо, в меру поскорбели. Бывает и то, и другое вместе, как сегодня. Вот я, побывала на могилке сына, поскорбела, а сейчас душа моя поёт, глядя на такое величие и, потом, посмотрите... вон в ту сторону,– она кивнула в направлении высоких деревьев.

Я посмотрел, но ничего не увидел. Вера Николаевна поняла, что я ничего не заметил необычного, и уточнила:

– А вы на облака посмотрите, на облака и на деревья.

Я посмотрел: небольшие, редкие облака белыми шапками плыли высоко в небе и скрывались за верхушками деревьев. Да, красиво, может быть, красивее, чем когда-либо, но ничего необычного в этом нет.

– Вы, что, не видите? – спросила она, заглядывая мне в глаза.

– Простите, Вера Николаевна, но ничего необычного я не вижу.

– Вы что, не видите этих прекрасных букетов роз?

– Каких роз? – переспросил я машинально.

– Да вон же, вон! От самых небес до земли, а точнее, до могилки моего сына спускается овальная широкая белая полоса, а по этой полосе, по овалу с равными промежутками прикреплены букеты белых роз. Вы это видите?

Я этого не видел. Кроме игры света и причудливого переплетения солнечных лучей моя сетчатка более ничего не улавливала. Я понимал, что этот белый овал и розы, видит только Вера Николаевна, и мне не хотелось ей этого говорить. Ведь она думает, что это вижу и я, и множество других людей не только на кладбище, но и все, чьим глазам доступен этот отрезок голубого неба.

Я помедлил с ответом, подыскивая слова. Но она уже, по выражению моего лица обо всём догадалась, хотя надежда, что это, сотканное из облаков, чудо видят и другие, её по-прежнему не покидало.

– Не надо всматриваться, розы белые, на фоне голубого неба, очень отчётливо видны. Один из букетов как бы зацепился за верхушку самого высокого дерева, а ниже букеты и лента видны уже на фоне деревьев. Нижний букет на овале, растёт, как-бы, из земли. Она вопросительно посмотрела на меня.

– Нет, не вижу, – сказал я.

– Я так и знала, – ответила Вера Николаевна тихо.

– Чего вы знали? – спросил я так же тихо.

– А то, что это чудо вижу только я одна. Она как бы в бессилии опустилась на лавочку около рядом стоящей оградки и задумалась. Видно в ней боролись два чувства: ей хотелось, чтобы этот венок из белых роз видели все или, по крайней мере, очень многие, и все бы восхищались той благодатью, которая была ниспослана ей и её сыну. С другой стороны, ей уже довольно было видеть то, что видит она одна.

– Да вы не расстраивайтесь за меня, – сказал я, стараясь вывести женщину из лёгкого оцепенения.

– Я не расстраиваюсь, – и Вера Николаевна приветливо улыбнулась. – Это уже не первый раз, – продолжила она, медленно выговаривая слова. –

Замечала уже не раз – я вижу или слышу, а люди нет. Вот и вы не видите, а у меня хоть и зрение не важное, а я вижу. И вижу всё очень отчётливо. Розы – лепесточек к лепесточку, а ведь они из облаков, или, по крайней мере, очень похоже, что это так. Вот и сейчас, сколько прошло времени, а ничего не исчезает, не рассеивается и не становится менее резким. Я, именно это, вижу впервые.

– Значит, это чудо, дано только вам и больше никому, – сказал я.

– Может быть, и ещё кому-то дано это увидеть... – сказала, а не спросила она.

Я посмотрел вокруг. Те, кто был на кладбище, спокойно копошились около родных могил, и ни один человек не смотрел в сторону больших деревьев.

– Да нет, не им, – Вера Николаевна кивнула на ближайших посетителей, – может быть вообще, кто-нибудь на кладбище видит это?

– А вам, что, так хочется, чтобы это видели многие, или все?

Она не стала сразу отвечать на вопрос, посидела, подумала и, глядя себе под ноги, сказала:

– Раньше хотела, а теперь не хочу. Чудо сделано для меня, не для сына. Я это поняла. Если бы для сына – то было бы прославление, и увидели бы все. А это не прославление, это для моего воцерковления. Она подняла голову и стала смотреть в сторону

больших деревьев, затем перекрестилась и заговорила :

– А вы верите, что я ничего не придумываю, а это чудо есть на самом деле?

– Да, верю, – сказал я, нисколько не колеблясь.

– Как же вы не видите, а верите? – спросила она снова.

– Потому, что я верю, что Господь для спасения нашего может сотворить всё.

– Вот видите, как вы это твёрдо говорите, – заметила Вера Николаевна, – а я вот не знаю, поверила бы я или нет, будучи на вашем месте. – Может быть, женщина, то есть я, ополоумела от горя, вот оно ей и мерещится?

Я не знал, что ответить и молчал. В голову лезли разные мысли, но, ни одной не было подходящей, чтобы сказать. Философствовать не хотелось, а ответить просто, как-то не выходило. Паузу прервала она.

– Да вы не жалеете меня, говорите как есть, – баба – дура, нафантазировала невесть что и теперь пристаёт к людям со своими фантазиями...

Вместо ответа я спросил:

– И как долго вы наблюдаете венки из роз? –

По существу, этот вопрос и был ответом на её вопрос, она его ждала. В нём было сокрыто желание знать, что я вижу тоже самое, что видит и она. Вера Николаевна сразу оживилась, глаза её немного по-

влажнели, и она заговорила быстро-быстро, будто боясь, что её перебьют, и она не скажет самого главного:

– Уже с час наблюдаю. Я и могилку убрала, и ещё две сходила, убрала. Эти две могилки дальше туда, за поворотом дороги, но и оттуда я хорошо видела букеты роз. Я поначалу думала, что это мне вержится. Но, когда, что вержится, то и сразу пропадает, по крайней мере, быстро, а здесь - нет. – Вера Николаевна замолчала и посмотрела на меня, будто я знаю ответ на всё происходящее с ней.

Но я такого ответа не знал. Хотя, я очень верил этой женщине, тем более, что видел на могилке её сына загоревшуюся саму по себе свечку. Оснований ей не верить у меня не было. Я просто не знал, как Веру Николаевну успокоить, но и разделить её радость в полной мере, я тоже не мог, так как не видел предмета её восторга. И она поняла мои мысли.

– Да, конечно. Вы счастливее меня, – проговорила она немного с надрывом.

– Почему? – недоумённо спросил я.

– Потому, что вы верите в то, что не видите. По большому счёту от нас это и требуется. А я вот так, наверное, не могу. Я даже вижу и сама себе не верю. Вот и вас стала спрашивать, а ведь догадывалась, что вы ничего не видите. А ведь этого не увидеть нельзя. Этого не увидеть просто невозможно...

Она немножко помолчала и добавила:

– Фома я неверующий, вот Господь и показывает мне, укрепляя во мне веру. Это чудо было лично для меня и не для кого больше. Я это хорошо поняла. Простите меня, что ввела вас в заблуждение.

– Помилуйте! Да в какое вы меня заблуждение ввели? Никакого заблуждения и не было. Просто вы видите, а я нет. По грехам моим мне и видеть этого не положено, – сказал я.

– Вы мне немножечко льстите, – сказала женщина, но уже не так скованно. – Мне не надо льстить, – добавила она твёрдо.

– А я и не льщу.

– Нет, льстите, – её голос приобрёл металлический оттенок, – а мне не надо льстить. Это меня убивает. Потому что я из слабоверия попадаюсь на крючок самообмана. Если я этим прельщусь, то там и гордыня голову поднимет. Я это знаю, борюсь с этим и, в который раз попадаюсь на один и тот же крючок.

Мы расстались с ней так же неожиданно, как и встретились. Вера Николаевна просто меня проводила, сказав «до свидания», пообещала мне доброго пути, и попросила прощения. Я всё понял. Для Веры Николаевны сейчас было необходимо одиночество. Одиночество, размышление и сопоставление своих мыслей и поступков было одно из основных черт её характера.

– Увидимся, – сказал я и, пошёл по дороге.

Я шёл, не оглядываясь, хотя чувствовал, что она смотрит вслед.

– Зачем оглядываться, – думал я, – что я могу: успокоить, вразумить, ответить на вопросы? Она ведь в этом ни в чём не нуждается. Она задаёт себе вопросы, сама ищет на них ответы. Задаёт иногда вопросы другим, но не ради получения ответа для неё столь насущного, а только ради того, чтобы сверить чувства своего сердца, с чувствами другого. Более того, она задаёт свои вопросы для возбуждения другого сердца, чтобы непосредственно от него слышать ответ, а не то, что скажет её собеседник.

Вот они православные характеры, со своим самокопанием в чувствах, с жизнью по сердцу. Прошла тысяча с лишним лет после крещения Руси, а по сути ничто не изменилось. Они всё такие же. Стоит только затронуть душевные струны и эти струны, невзирая на то, кто их затронул, отзовутся. Я шёл и думал о не увиденном чуде с розами, а о женщине – его главном восприятеле; и мысли уносились далеко-далеко, а мягкие, шелковистые, с золотистым и серебристым оттенками световые нити всё струились и струились с неба, играя в вышине и опускаясь перед глазами на землю.

– Вот оно чудо, – думал я в порыве душевного подъёма, – зачем человеку иное чудо и знамение, когда вот оно, проливающееся на каждого из нас. Смена времён года, засыпающая и просыпающаяся

природа, благоухание при цветении и пение жаворонка всё это, по большому счёту, необъяснимо и таинственно, как и сам человек с его душевной глубиной и мириадами импульсов в его сердце. Что ты ищешь, человек, когда ты самая страшная тайна и чудо на этом свете, украшенная разумом и всевозможными чувствованиями? Почему тебе спокойно не живётся на этом свете и ты всё время куда-то устремляешься в беспокойстве и надежде?

В таком расположении духа, я подошёл к кладбищенским воротам, около которых спокойно торговали искусственными цветами бабушки и никто из них, прикрывши глаза рукой, не всматривался в небо по направлению высоких деревьев. Прикладбищенская жизнь шла своим чередом. Я посмотрел ещё раз в сторону высоких деревьев и мне показалось, что на какое-то мгновение я увидел один из букетов белых дымчатых роз, а может быть это была игра света на ресничке, на которую, душа выдавила из своей глубины чувственную росинку.

Юркая Газель вобрала в себя пассажиров, быстро отъехала и, влившись в поток машин, засуетилась меж ними, выискивая более удобный путь. Я смотрел в окно: белые, жёлтые, голубые и иных цветов машины струились по дороге, обгоняя друг друга, и переплетаясь в неумолимом беге. Это неким образом напоминало отдалённо небесные, разноцветные струи. Но это были далеко не они.

Саратов, 2007.

Колдуны

(рассказ)

– А посмотри-ка, Михан, вон туда, – прозвучал в ночной тиши тихий мальчишеский голос, перешедший тут же на шёпот.

– Тише ты..., – раздалось в ответ, – Чай не слепой, сам вижу. – Мальчишки замолчали, всматриваясь через входной проём шалаша в ночную мглу.

– Что это? Вроде огоньки какие-то? – спросил испуганно Сережа. – Он был на год помладше своего брата Миши, с которым они приехали к дедушке в деревню на каникулы. Дедушка сторожил, в двух километрах от деревни арбузное поле и мальчишки напросились с ним на ночное дежурство. И вот теперь дедушка, взяв старое охотничье ружьишко, отправился в обход плантации, а ребяташки остались в шалаше.

Миша был рассудительный и спокойный мальчик. Он отличался от Серёжи бесстрашием и был склонен к анализу. Серёжа же, в отличие от брата, имел более художественную, эмоциональную натуру и мог придумывать всевозможные игры. Он был

впечатлительные и теперь, при взглядывании в темноту, в его голове рождались всевозможные фантазии, переплетаясь с прочитанным и увиденным по телевизору.

– А вдруг это воры за арбузами идут, – прошептал он.

– Говори нормально, а не шипи, – ответил Миша, – до этих мерцаний не меньше километра, если кто и есть, так тебя всё равно не услышит. А за арбузы не беспокойся, пойдёт тебе вор ночью воровать с фонарём, как же. Сторож сразу увидит, а у него ружо. Ты уж скажи, Серый, что сдрейфил, вот и всё.

– Сам сдрейфил, – сказал Серёжа обиженно и замолчал. В это время из-за облака вышла луна и осветила долину, в самой низине которой поблёскивал полукруг пруда, и чернела плотина с высокими вёслами по сторонам. Вечером мальчишки в этом пруду купались и ставили на ночь с дедушкой ивовые вёрши на карася. Они знали, что за прудом начинается косогор с кустарником наверху. Туда они не ходили, но знали, что если идти прямо, подняться на косогор и миновать небольшое поле, то можно оказаться на краю их деревни. Так это если пешком, напрямки, а их дедушкин сменщик привёз на мотоцикле по окружной дороге.

Луна мерно распределяла свой матовый свет по округе, проявляя лес, низину, косогор, ничего не выделяя и не показывая в полную силу. Мерца-

ния огоньков по ту сторону пруда на косогоре как-то прилѣкли, потерялись, но стоило луне спрятаться за облако, как они тут же проявлялись и, слабо колышась из стороны в сторону, двигались как бы по кругу, то соединяясь, то разъединяясь. Иногда отдельное мерцательное пятнышко уплывало в сторону и тут же возвращалось к другим таким же пятнам.

– Может это волки?– спросил Серѣжа.

– Где ты видел одноглазого волка?– спросил Миша.

– Почему одноглазого?

– А потому,– объяснил Миша,– огоньки разъединяются и даже остаются по одному. Это откуда же столько одноглазых волков взялось?

– А что, разве такого не может быть,– отстаивал Сережа свою версию,– охотник выстрелил и попал в один глаз, потом другому и третьему.

– И у всех выбил по одному глазу,– съѣрничал Миша. Серѣжа надулся и замолчал.

– А если это инопланетяне?– сказал Миша.

– Не-е-е-т,– протянул Серѣжа,– Над этим местом была бы летающая тарелка.

– И совсем не обязательно,– перебил его Миша. Мальчики заспорили. Но спорили не долго. Место и время не располагали к спору и он затих.

Какое-то время пацаны молча наблюдали за огоньками.

– А что, давай сходим, посмотрим,– предложил Миша.

– Далеко,– немного испугавшись, сказал Серёжа.

– Где ж далеко? – ответил брат.

– Сам же говорил, что километр.

– Это я прибавил,– сказал Миша, – чтоб ты разговаривать не боялся, а то шипишь как дедушкин гусак.

Серёже не хотелось быть боякой в глазах брата и он согласился. Оба потихоньку выбрались из шалаша и пошли по знакомой дороге вниз к пруду. Миша шёл первый, а Серёжа за ним, то и дело выглядывая из-за его плеча и стараясь рассмотреть огоньки.

– Мы только до плотины,– говорил он,– посмотрим и назад.

– Молчи уж, а то все огоньки распугаешь,– приструнил Миша брата.

По мере приближения огоньки становились всё отчётливее и отчётливее. Когда братья спустились к пруду, то на какое-то время их не стало видно. Около пруда было прохладно. Высокие вётлы немного шумели макушками и мальчикам было чуть-чуть страшновато. Но это было знакомое место. Здесь мальчики легко справились со страхом и стали подниматься по косогору на возвышенность. Какое-то время они не видели блуждающих огонь-

ков и, пыхтя, взбирались, то и дело натыкаясь то на бурьян, то на какие-то коряги.

Огоньки появились перед ними внезапно. Мальчики остановились. Впереди, метрах в семидесяти, они явно увидели какие-то палки, кусты и скользящие между ними тени с прилипшими к ним огоньками. Мальчики стояли как вкопанные, затем стали медленно пятиться, а потом обратились в бегство.

Первым не выдержал Серёжа.

– А-а-а-а !!! – прокатилось в ночной тишине и он первый, а затем и Миша кубарем скатились к пруду, а потом уже молча, обгоняя друг друга и падая, неслись к заветному шалашу.

Около шалаша их встретил дед Иван.

– Где шлялись?– спросил он сурово мальчиков.

– Ходили смотреть огоньки,– Виновато ответил Серёжа.

– Светлячков что -ли?– спросил дедушка.

– Не-е-е-е,– протянул Миша,– огоньки там, за плотиной,– и он махнул рукой в сторону пруда,– на бугре.

– И что это были за огоньки, рассмотрели иль нет?– спросил дедушка как-то озабоченно и мягко.

– Нет, мы не рассмотрели, забоялись,– продолжил Миша,– подумали, что это инопланетяне, такие высокие по бугру ходят.

– Инопланетяне, говорите, ну-ну,– проговорил дед сурово,– только непонятно: чего это инопланетянам ночью на кладбище делать?

– Какое кладбище?– спросил Миша.

– Та-а-а-м были только кусты и палки, а кладбища мы не видели,– пролепетал испуганно Серёжа.

– Эх, вы – горе-наблюдатели!– сказал дедушка уже весело,– палки и кусты, это и есть кладбище. Ладно, ложитесь спать, утро вечера мудрёнее. После этого мальчики юркнули под одеяло и над шалашом повисла тишина. Только эта тишина была относительной. Где-то в траве шуршала полевая мышь, свистело какое-то насекомое, а в шалаш глядела похожая на апельсин луна. Душистое сено, на котором лежали мальчики, действовало успокоительно и они через некоторое время заснули.

Когда мальчики проснулись, солнце уже было достаточно высоко. За шалашом был слышен говор – это приехал дедушкин сменщик. Братья быстро выбрались из шалаша и, протирая глаза, бросились к ведру с водой, чтобы умыться. Потом их дедушка усадил за самодельный, сколоченный из нетёсаных жердин стол, и угостил сладким арбузом.

– Так, что в деревне новенького?– спросил дедушка сменщика – дядьку Григория.

– Так чё там может статья,– медленно проговорил сменщик. Разве что Васька – колдун ключи от склада потерял.

– Как это?– спросил дедушка.

– А то не знаешь как? – проговорил дядька Григорий,– приехали за подкормкой, а он лыка не вяжет, и ключей нет. Так бабы его чуть из штанов не вытряхнули: «Мы,– говорят,– тебя, экстрасенс проклятый, сейчас по своему экзаменовать будем»,– и бах его головой в бочку с водой колодезной. Так хмель моментально прошла. А как ещё два раза окунули, так и ключи вспомнил, где находятся. Оба рассмеялись. Мальчики не знали кто такой этот Васька, это было им не интересно.

– А, чем будешь сегодня заниматься?– спросил дядька Григорий.

– Сейчас отдохну, а к вечеру пойду, покошу траву малость.

После вкусного завтрака дед Иван заторопил мальчишек домой, а сменщик вызвался немного дедушку с внучатами подбросить на мотоцикле, но дедушка отказался, сказав:

– Ты, Григорий, карауль, а мы потихоньку, дойдём. Мне тут ребятам ещё одно место надо показать,– и они, распрощавшись с дядькой Григорием, пошли в деревню. Знакомой дорогой дед не пошёл, а свернул к пруду.

– Мы что де-да, разве не по дороге пойдём,– спросил Серёжа.

– Да нет, сначала на ваши огоньки посмотрим,– ответил дед Иван.

– Де-да! А кого мы вчера видели?– спросил Миша.

– А вот сейчас и посмотрим, кого вы там вчера видели,– и они, сойдя с плотины, стали подниматься на холм.

И действительно, едва они поднялись на самую вершину холма, перед ними раскинулось старое деревенское кладбище с крестами, холмиками, оградками. Кое- где на крестах не было поперечин и они стояли похожие на вбитые в землю колья.

«Вот какие палки я увидел»,– подумал Серёжа и уселся на поросший травой холмик, чтобы потряхнуть из ботинка попавший камешек. Дедушка же попросил его сесть рядом с холмиком, объяснив, что это тоже погребение, только крест давно упал и сгнил.

– Я не знал, деда,– оправдывался Серёжа.

– Знаю, что не знал,– сказал дед Иван, направляясь к земляному холмику с крестом. На этом холмике не было травы, видно его соорудили совсем недавно, даже земля не высохла.

Они подошли к холмику, дедушка, подобранной по дороге суковатой палкой, стал рыхлить на холмике землю то и дело приговаривая:

– Так-так-так... А тут попробуем... вот эдак.– Дед Иван долго рыхлил холмик, пока из -под суковатой палки не вылетела какая то белая картонка.

– Вот и причина ваших страхов,– проговорил весело дедушка и перевернул картонку. Это оказалась фотография красивой улыбающейся молодой женщины. Но тут с него весёлость, как ветром сдуло, он встал на колени, прочитал шёпотом какую- то молитву, размашисто трижды перекрестился, перекрестил фотографию и, достав из кармана спички поджѐг её. Фотография горела, потрескивая и разбрасывая искры. Дедушка не уходил. Наконец последняя превратилась в пепел. Пепел упал на траву, дедушка стукнул по нему с силой палкой и пошёл от могилы прочь, громко говоря:

– Вот сволочи! Вот сволочи! Никак им неймѐтся. Теперь решили Маришку извести. Надо зайти сказать, чтоб поостереглась: дом осветила, молитвы почитала, причастилась.

– Кого это ты ругаешь, дедунь?– спросил впечатлительный Серѐжа. На что дедушка с содроганием от нервного напряжения ответил:

– Да колдунов вы вчера видели на кладбище, кол-ду-нов, понимаете?

– Мы огоньки видели,– сказал Сережа, а не колдунов.

– Так это они свечи в руках держали,– проговорил дед,– как только свежая могилка, так они тут как тут со своими прибабасами.

– Дедушка, расскажи...– попросил Миша.

– Да чего тут рассказывать,– ответил задумчиво дедушка Иван,– схоронят человека, так это отродье старается кому-нибудь пакость сделать. Фотографию того человека найдут, свои колдовские заклинательные молитвы прочитают и вот так на могилке зароят, а как фотография тлеть начнёт, так и на человека болезнь находит.

Какое-то время они шли молча. Серёжа даже раза два потихоньку, чтоб никто не заметил, оглядывался, не бежит ли за ними колдун. И когда они уже отошли от кладбища на значительное расстояние, а с косогора стала видна деревня, дедушка остановился около старого обрубка полугнилой лесины, сел передохнуть. Уселись рядом и ребята.

– А что, деда, расскажи нам ещё что-нибудь про колдунов,– попросил любознательный Миша.

– Эх, Мишуня!,– сказал дед,– портят они людей, скот;

– Как это портят?– перебил Миша.

– Да так,– у коров молоко отнимают, животное болеет, на стену лезет, глаза бешеными становятся, в стаде не ходит. Если человек, то с ним разное происходит: чаще болеет беспричинно, а то и говорит что-либо несуразное.

– А как же врачи?– спросил Сережа.

– Нет внучек, этих болезней врачи не лечат и даже не распознают. Это болезни чисто духовные, их только в церкви Христовой лечат, другого пути нет.

– А что колдуны, они такие всеильные?– спросил Миша.

– Нет, внучек, не всеильные, верующему человеку они зла сделать не могут.

– А что, эта Маришка... неверующая?

– То Бог знает, а предупредить всё равно надо.

Ответил дед.

– А ты, дедушка, у себя в деревне кого из колдунов знаешь?– спросил Серёжа, опередив этим вопросом Мишу. Бабушка какого-то Ваську- колдуна поминала и вот дядя Григорий тоже. Наверное, он фотографию закопал?

– Да есть тут один,– сказал дед весело и рассмеялся.– Он не колдун, это у него такое в деревне прозвище. Дедушка немного помолчал и продолжил:– По молодости лет он колдовскому делу учился, да только экзамена их бесовского не выдержал, Господь спас.

– А что это за экзамен такой?– допытывались мальчишки.

– Он сам мне рассказывал,– продолжал дед,– Так вот выучил, говорит, я их колдовские заклинания, изучил их колдовские штучки, и тут настал

день экзамена, а точнее ни день, а ночь. Завели меня, по-тёмному, в баню, поставили одной ногой на хлеб, а другой на соль, дали в руки ружьё и велели выстрелить в икону Божьей матери. Это полное отречение от отца и матери, и светлых небесных сил. В глубине бани огромная жаба сидит с открытым ртом. После того, как я выстрелю, жаба должна меня пожевать и выплюнуть. Вот тогда я и стану настоящим колдуном. Я, – говорит он, – уже и на хлеб и соль встал, ружьё поднял, а вот выстрелить не смог. Как глянул на Матушку владычицу, да как увидел её пресветлый образ, да как закричу:

«Матушка владычица... помилуй дурака!!!» – бросил ружьё и убежал. Домой прибежал и к иконам, затем батюшке исповедался. А как исповедался, так и народу всё рассказал, и перед жителями повинился.

Колдуном он не стал, а вот прозвище приклеилось. Сначала звали Васька-колдун, а теперь более модным словом заменили. Теперь говорят – Васька - экстрасенс. Так теперь, как этому «экстрасенсу» выпить захочется, так идёт к какой-нибудь жалостливой бабёнке и давай ей рассказывать, как чуть душу дьяволу не продал. А рассказывать он мастак. Так разжалобит, что уж поднесут, это точно. У нас народ сердечный. Может и привирает малость для красного словца, да Бог ему судья. Народ всякое го-

ворит. Только я так не думаю. Ни один горький пьяница на себя такое наговаривать не будет.

Мальчишки притихли, слушая дедушку. И теперь, когда дедушка умолк, они уже не задавали ему никаких вопросов. Каждый сидел и думал о рассказанном. Серёже было жалко красивую тётю Маришку, а Миша пытался понять, каким образом запанная фотография может повлиять на здоровье человека?

– Чего ещё надо людям?– удивлялся вслух дед Иван,– вон красотища какая, паши, сей, коси; нет надо чем-то досадить, ан сегодня не вышло, не повезло им. А Маришку я всё-таки предупрежу.

Погода была великолепная. Вдали, почти около деревни, тарахтел трактор. На лугу чинно паслись пёстрые коровы, а высоко в небе кружил, выискивая добычу, коршун. С каждым кругом он всё более снижался, пока не замер на секунду, и камнем не упал в подножие холма. На этот раз ему удача не улыбнулась. В его клюве и когтях ничего не было. Коршун чёрной стрелой проскользил над зелёной поляной, над коровами и, редко взмахивая крыльями, стал снова набирать высоту.

Саратов, 2007.

Красная яма

(рассказ)

На деревенском кладбище четверо роют могилу. Отпыхнувшая от мартовского солнышка земля, копалась уже не так как зимой, полегче. Снег сохранился только по балкам, посадкам и оврагам. И то лежал ноздрястый, как сыр, изъеденный по краям заботливыми мышами. Четверо: это дед Антип, покуривая козью ножку, сидит на старом бушлате и пощипывает редкую, давно не бритую бородёнку. Он так привык курить козьи ножки, что и теперь, достав сигарету, тут же скручивает из газетного листа козью ножку и пересыпает в неё табак из сигареты.

Второй, это Лёньша. По прозвищу «Угости». Прозвали его так потому, что часто своих папирос не имел, а стрелял их у односельчан. Лёньша, кое-как закончил школу, дальше учиться никуда не пошёл, а жил с древней бабушкой.

В деревне он был незаменимым. Ему было сорок лет, без малого, но семьи он своей никогда не имел и жил так: день придёт, – и ладно, там видно

будет. Нрава он было весёлого и беззаботного. Чего он делал в деревне? – а всё, чего попросят. Попросят кто коров там отпаста или овец, когда очередь подходит – он отпасёт, колорадского жука потравить – пожалуйста, дров в баньку наколоть – в чём же дело, скотину зарезать – его работа. В общем, на все руки от скуки. Только скучать ему никогда не приходилось.

За его услугами в селе всегда очередь. Много он за свою работу не берёт – стакан самогона, закусь что-либо и опохмелка за счёт работодателя. Тем и жив. Спал зачастую там, у кого последнюю дневную работу выполнял, потому, как до дома его ноги не доносили. Теперь он копал могилу и знал, что без хорошей выпивки, и притом светленькой, здесь не обойдётся, а там ещё будут наваристые щи.

Сельчане Лёньшу не обижали и никогда голодным не оставляли. Если он даже у кого и не работает, всё равно пригласят пообедать, только уже без стакана.

Третьим был Савл. Он был то-ли грек, то-ли турок, из приезжих. Приехал из какой-то горячей точки. У него была куча детей. Он просто вселился в пустой дом на закате советской власти, когда деревня совсем обезлюдела, да так и жил. Мужик он был работающий и в селе его приняли за своего. С кем он ближе сошёлся, приглашали на свадьбы или какие ещё гулянки, на которых он пел под струнный, не-

много похожий на балалайку, инструмент, весёлые песни и пристукивал в повешенный на шею крохотный барабанчик мелодию: «трум бара-ра, трум-бара-ра, трум, трум...».

Савл не очень хорошо говорил по-русски, но сельчане его понимали. Из детей у него были одни дочери. Когда девчурки были совсем маленькие, то казались костлявыми, нескладными, с тонкими с горбинкой носиками. А когда вошли в пору юности, то расцвели и от женихов не было отбоя, потому как были воспитаны в строгости и почитании родителей и старших.

Четвёртым из копателей был Алёшка, по прозвищу «Чеченец». Говорили, что он воевал в Чечне, попал там в какую-то передрагу, чудом выжил. Работает в городе, охраняет какой-то офис и ездит туда, за восемьдесят километров через каждые три дня. О себе он никогда и ничего не рассказывает, ведёт тихий и замкнутый образ жизни. Живут они с сестрой, которая раза три выходила замуж, прижила от трёх мужей трёх детей и теперь они вдвоём с братом их ставят на ноги.

Свою семью Алексей заводить не хотел. Одни говорили, что его невеста, пока он был в Чечне, вышла замуж, а он оказался однолюбом, другие судачили о каком-то стрессе, якобы из-за которого он и не может быть семьянином. В любом случае, так говорят, а как там на самом деле, кто знает? Алексей,

после Чечни, стал молчаливым и даже замкнутым. Так и живёт весь в себе, и ничего наружу. С Савлом у Алёшки особые отношения. Поговаривали, что Савл что-то знает об его службе, или даже к этой истории причастен. Впрочем, когда старшая дочь Савла, влюбилась в Алексея, то отец сумел охладить её порыв и свадьбы не допустил. С тех пор у Савла с Алёшкой сложились особые отношения, они как-бы не замечали друг дружку, однако и открытой неприязни не выказывали.

Алексей молча копал красную жирную глину, раздевшись по пояс и играя красивыми сильными мускулами. Остальные, наверху ямы ждали своей очереди копать, потому, как в яме двоим находиться было неудобно, это не начало, когда копали по двое. Яма была уже глубокая и пора было делать подкоп в сторону, так принято.

– Могила, ещё не могила, а просто яма,– рассуждает дед Антип, покуривая козью ножку.– Вот как подкоп готов, тогда это уже могила. И вообще, могилы должны руками копаться, а не как в городе трактором. Выкопают ковшом траншею, метров сто и пихают туда гроб... ко гробу, пока не заполнят. Срамота одна. Персональной могилы нет, не заслужил человек за жись на земле, последний приют – общая траншея. А у вас там как?– обратился он вдруг к Савлу,– на родине вашей?

Савл не торопился отвечать, он водил прутиком по земле и чего-то рисовал.

– У нас нэ так,– сказал он медленно,– хотя многое уже тоже не соблюдаэтца или соблюдаэтца, но уже бэз должного вниманья., но чтобы трактором... такого нэт.– Дети его учились в школе и говорили по-русски чисто, без акцента, а он не мог.

– Вот, вот... я и говорю, что не так, – у нас у одних всё не как у людей. Так ладно могилу трактором, то есть яму, тут я допускаю, но персональный подкоп надо делать руками, лопатой. А то, так и закапывают бульдозером. Что, нельзя лопатами закопать что-ли? По-человечески. Столкнуть землю в яму и то трудно,– кипятился дед Антип. – Это, можно сказать, уважение человеку оказать. Человек, вить, не труба водопроводная...– Ему было лет семьдесят, но он был ещё крепкий старик и копал со всеми наравне, хотя ему и предлагали отдохнуть.

– Всё, – сказал Алёшка и, подтянувшись, легко выбросил своё тело из ямы,– осталось подкоп и баста. Можно и отдохнуть.– Они расположились, за столиком около соседней могилки, выпили одну, другую рюмку водочки и стали закусывать. Теперь можно было не торопиться.

– Подкоп рыть, это не яму долбить. Раз-два и готово, – поддакнул дед Антип.

– И то верно,– согласился Лёньша, подставляя солнцу свой конопатый нос и блаженствуя как кот на крыше.

– Коротка жизнь человеческая, коротка-а-а... – подхватил дед Антип, наливая ещё по полстаканчика.

– А откуда тебе знать?– вдруг спросил Алексей. Все немного, после такого вопроса опешили. Дед был старше всех, и говорить ему это в глаза было как-то неприлично.

– Откуда тебе знать?– проговорил опять Алексей чётко и ясно, отрывая слова друг от друга.

– Так ведь года,– промямлил дед недоумённо.

– Ну и что, что года?– не унимался Алексей,– проспал со своей бабкой на печи пятьдесят лет и даже в армии не служил по причине плоскостопия, а рассуждаешь.

Дед Антип совсем опешил, растерялся и не знал что сказать.

– А ты расшифруй, если можэшь,– проговорил Савл.– Стариков обижать нэ хорошо. Старики сами тэбэ поклонятца, кол достоин.

– И, правда,– поддержал Лёньша.– Ты в начале обоснуй право на такое заявление. А так, что, так каждый может. Вон Федот до сих пор рассказывает как у самого Жукова в ординарцах был, а сам дальше Татищевских лагерей нигде и не был.

– Я тебе не Федот, – осклабился Алексей. – Раз уж на то пошло, расскажу я вам о чём и помнить, и знать не хочу. – Он, взял бутылку, долил стакан до верха и махом выпил, не закусывая, а только понюхал луковичку и положил на стол. Все не сводили с Алексея глаз. Видно задели слова Лёньши и Савла за самую печёнку. А может время пришло, сказать то, что носил он в своей памяти и сердце. Человек – это тайна.

– Наша рота, заняла оборону по левой стороне ущелья, начал говорить Алексей, – крупных боёв уже не было. По горам бегали мелкие группы наёмников, да в схронах отсиживались местные боевики. Дембиль был не за горами, и я немножко расслабился. Помню весна, солнце, жить хочется. В горах в это время чудно. Ты видел когда-нибудь горы, дед? – обратился он к деду Антипу, – и, не дожидаясь ответа, сказал, – откуда ты их видел, ничего не видел, кроме своей Фёдоровки и обгаженного телятами выгона.

Дед промолчал. Он действительно кроме своей родной и теперь на ладан дышащей Фёдоровки, ничего толком и не видел. Ездил иногда в город на рынок, чтоб продать живность. И то, это было давно, ещё при Советской власти. Теперь этого нет – ездят по деревне скупщики и берут мясо прямо со дворов, затем перепродают его втриморога. Теперь деда Антипа к базару и близко никто не подпускает.

Так он и ездить прекратил. Был, правда, года два назад в райцентре, справку выправлял, вот и всё.

– А я видел дед, как люди живут, – продолжил Алексей, – красиво живут. Песни свои поют, под барабан пляшут. Понимаете? Их наполовину поубивали, а оставшиеся со слезами на глазах пляшут. Они за свою землю и веру горы перегрызут. Я их дед видел – ты нет. И рассуждать потому, никак не можешь. – он смотрел куда-то выше голов слушающих и говорил, говорил. – У нас церковь была – где она? У нас в деревне не только мужики, бабы некоторые поспивались, лазают в грязи, под заборами пьяные слёзы льют, да срамные песни поют. А там этого не увидишь. Там себя народ уважает, и других заставляет себя уважать. Да, там тейпы и кланы, но там дисциплина. Дисциплина, основанная не на тупой боязни, а на почитании законов предков. Там это в крови у каждого.

Алексей немного помолчал и продолжил, все слушали его молча, не перебивая.

– А мы, как я понимаю, решили свои исконные, внутренние законы сердца, заменить правами человека, – он криво улынулся. Дерьмо из этого получилось. Прав, как не было, так и нет, а остальное за ненадобностью выбросили. Вот поэтому я чеченцев и зауважал. Сильные они, можно всех до одного убить, но не одолеть. Внутренняя сила в человеке, она многого стоит.

– А от чего сила-то?– Спросил Лёньша,– ковыривший палкой в глине. Рассказчик посмотрел на него, иронично улыбнулся, и продолжил говорить. – Истории там разные бывали, война – есть война. Много историй рассказывать не буду, а вот одну расскажу. Сопровождали мы однажды груз. Да так, груз пустячный, а сопровождать надо. Ну и обложили нас в ущелье, а мы стараемся машины с грузом вывести, ну как же, военный груз, приказ... Я говорю лейтенанту: «Ребята гибнут, ведь не боеприпасы сопровождаем и не документы секретные!». Мы могли ещё прорваться, капкан совсем не захлопнулся, а он: «Ни шагу назад!». В результате, шага назад не сделали, а два шага вперёд, запросто.

Отстреливались мы, как говорится, до последнего патрона. Я ещё одиночными из-за колеса стрелял. Машины горят, копоть, а больше ничего не помню. Ударило видно меня чем-то сзади. Очнулся, связанный, в пещерке лежу. Свод надо мной каменный, а за пещеркой с одного края пропасть открывается, а дальше не видно, туман. «Вот,– думаю, – и конец твой солдат пришёл. Не полных двадцать лет, а ты уже свои часы меряешь».

Так вот лежу, в голову мысли всякие рою: то мать заплаканная передо мной, то отец, то сестрёнка с жалостливыми глазами. В общем, всё пронеслось перед глазами, как в калейдоскопе, отдельные моменты и ничего связанного, целого... Голова моя

гудит, руки, ноги, чувствую, целые. Не зря же меня чечены связали, значит, по их мнению, могу бежать. У них в этом деле глаз намётанный.

Обрадовался я немного этим мыслям. Хотел руками и ногами пошевелить. Руки и ноги чувствую, целые, а вот пошевелить не могу, связанные. В этом деле они хорошие специалисты, не развяжешься. Стал осматриваться потихоньку. Смотрю, в стороне наш лейтенант лежит, а рядом ещё двое солдатиков наших же валяются, тоже связанные. Лейтенант стонет, видимо, раненый. Я хотел было с ним заговорить, голос подал. Тот не ответил, зато в пещерку заскочил старик-чеченец, глазами злобно сверкнул, чего-то говоря, видно разговаривать запрещал. А я не понял, да и переспросил его, чего, дескать, ты хочешь. Вместо ответа, получил удар по голове и снова в темноту погрузился.

Очнулся, в пещерке светло. За пещеркой снаружи солнышко играет, видно, как облака белые, как бараньи чеченские шапки по ущелью плывут. Присмотрелся, а это не облака, а туман так плывёт. На противоположной стороне ущелья лес видно. Деревья, так и поднимаются в горы, по обрывам карабкаются. Где-то козы кричат; то-ли на пастбище, то -ли селение недалеко. В общем, лежу, скопил глаз на лейтенанта, а его нет. Двоих наших, тоже. «Один, значит, я», – подумал. Тут, заметил – с потолка в одном месте капли капают. И до того мне пить захоте-

лось, спасу нет. «Будь, что будет, – думаю, – хрен с ними с этими чеченами, убьют, так убьют, а я хоть водички напьюсь». И потихоньку перекатился к этим каплям, рот подставил. И до того мне эта вода вкусной показалась, что так бы и лежал около них и никуда не уходил.

Перекатился я, а никто в пещерку на моё шевеление не заскочил и не стукнул. Стал я осматриваться. Смотрю, в сторонке валун лежит, а из-за валуна на меня ствол автоматный смотрит. Над стволом лохматая чёрная шапка и два глаза, глядят и не смигнут даже. «Вот тебе раз, – подумал я, – а решил, что я один здесь». Лежу, молчу, в автоматное очко смотрю, не шевелюсь. За валуном тоже молчание. Затем шапка лохматая зашевелилась, приподнялась и я увидел лицо мальчика. «Ах, вот кто меня охраняет! – подумал я, но от этого легче мне не стало, – этот выстрелит не задумываясь, как старик сказал, так и сделает».

Стал я ещё осторожнее. «Ты мой охранник?» – спрашиваю, а у самого мысль в голове крутится: «Что, если разговорить, и что-нибудь выведать? ведь удалось же Жилину из рассказа Льва Толстого «Кавказский пленник» выбраться. Только он там всякие поделки делал, а я что сделаю, коли связан? «Нет, – думаю, – там ситуация другая. Там человек долго в плену был, в яме сидел, подружился».

Спрашиваю я его этак осторожно всякое, чтоб разговорить, а он молчит и только шапка над валуном колыхается, да пара чёрных глаз в упор смотрят. Потом я спрашивать его перестал. «Наверное, не понимает по-русски, – думаю, – что толку языком молоть?» Долго мы в этом состоянии находились – он караулит – я лежу. Я разговаривать бросил и уж подрёмывать стал, ожидая своей участи. А тут меня, как будто кто в бок толкнул – глаза открываю, и перед моими глазами змея со свода свисает, головой из стороны в сторону водит, в аккурат над мальчишкой. Я не кричу, а ему знак подаю головой, «посмотри, мол, вверх». Мальчишка смышлёным оказался, посмотрел в верх, да так сходу в змею весь магазин и разрядил. Змея в ключья, мальчишка на валун сел, глаза смеются, лопочет чего-то радостно.

На выстрелы старик прибежал, а с ним ещё двое молодых чеченцев. С виду боевики. Увидели меня связанного, успокоились. С мальчиком разговаривают; он им на змею убитую показывает; они её палкой поворачивают – разглядывают как пули прошли, смеются, парнишку хвалят. Мальчишка доволен, показывает соплеменникам, как он увидел, да как стрелял, они его по плечам похлопывают.

По поведению мальчика я понял, что он обо мне ни слова родичам не сказал. Молодые чеченцы ушли, один старик остался; у входа сел и стал о камень нож точить. Сидит, точит и чего-то мурлычет

под нос. Потом увидел, что я за ним наблюдаю, говорит:

– Большой суд будет. Тех увели, а за тобой тоже придут. –

А у меня руки затекли, терпежу нет. Я ему и говорю, всё равно терять нечего:

– Ты, верёвку-то поправь, руки затекли, – а он в ответ засмеялся и говорит:

– Недолго осталось; и так полежишь, не сдохнешь. – Понял я, что недоброе что-то боевики затевают, а у самого мурашки по коже, аж в рубашку упёрлись. Одно – слышать о зверствах, или читать, а другое – связанным их ожидать.

В общем, немного погодя, молодые боевики приходят. Развязали на ногах верёвки, подняли и повели под руки. Тут у меня опять голова закружилась, тошнить стало. Привели меня на лужайку, за скалой была. Там боевиков человек пятьдесят, полукругом расположились: кто сидит на корточках, кто стоит; все вооружённые. Посреди лужайки яма выкопана. На краю ямы наши солдатики связанные. Мне руки развязали, в яму спихнули и лопату вслед бросили, говорят: «Копай!». Понял я, что они меня самому себе могилу заставляют копать. Взял я лопату – копаю. Чуть поработал, руки отошли, слушаться стали. Земля, желтоватая с рыжим камнем, песчаником. Копая я и думаю: «хорошо хоть в зем-

ле лежать будем, не в пропасть сбросят, и за то спасибо.

Я на штык углубил, тут боевики что-то кричать стали. Оказывается, кто-то на машине приехал, приветствуют, автоматами над головами потрясают. Тут меня из ямы за шиворот вытащили, руки связали и на землю бросили. Ударился я головой о камень, в глазах потемнело, на какое-то время отключился. То-есть не так, чтобы совсем, а слышать слышу, что вокруг, а в глазах темнота кругами разноцветными пошла. Тут уж мне не до чечен и не до чего на свете стало, только бы на земле полежать. Для меня в то время полежать – самая отрада была.

Тут чечены успокоились, видно, своего командира слушают, что говорит, и изредка что-то хором вскрикивают одобрительно. Потом слышу, команды раздались на русском, подниматься требуют, а я встать не могу. Пусть, думаю, меня застрелят лежащего, не буду я их поганых команд слушаться. Ударили меня в бок сапогом раз и второй – Я не шевелюсь. Немного погодя, принесли ведро воды и вылили мне на голову. Мне легче стало, за руки меня подняли и в строй поставили.

Стоим мы неподалёку от этой ямы связанные. Каждого сзади за верёвки чечен держит. Командир их под деревом в тени на камне сидит, рядом с ним старик стоит, что меня охранял. Тут командир их платочком махнул, боевики загудели, заликовали.

Схватили чечены крайнего из нас и поволокли к яме. Рядом с ямой чечен, обнажённый по пояс стоит. Рослый такой, бронзовые мышцы на солнце переливаются, видно от пота, или намазался чем, кто его знает. В общем, полоснул он нашего парня большим ножом по горлу и, в яму. Чечены орут, автоматами над головами потрясают. Второго к яме поволокли. Он верещит, пробует упираться, да куда там. И его ножом по горлу. Только отпустили, чтоб он в яму упал, а он вдруг с перерезанным-то горлом так быстро, быстро вокруг ямы побежал. Из горла кровь хлещет, а он согнулся и бежит. По периметру яму обежал и снова к ним, они его в яму и направили.

Страхи-то какие, – проговорил Лёньша и спросил, – а ты что же?

Алексей, не обращая внимания на его вопрос, продолжил:

– Я стою, будто окаменелый. По-моему, если бы тогда развязали и сказали: «беги», то навряд-ли бы смог ногами пошевелить. Тут очередь офицера, нашего командира, настала. В это время их главный встал с камня, к лейтенанту подошёл и говорит по-русски, чисто без акцента: «Так, что, лейтенант? Ржавые кровати, что везли, пожалел, а солдат тебе было своих не жалко. Что скажешь?» – а сам так криво улыбается в чёрную бороду, зубы большие белые показывает.

Зубы-то на фоне чёрной бороды особой белизной отдают. «Ладно,— продолжил чеченский командир,— за то, что ты нам праздник помог устроить, тебя не зарежут как барана, а я лично тебя расстреляю. Два шага из строя!»— лейтенант вышел, оглянувшись на меня, сказал: «прости», в это время в него борода из пистолета и выстрелил. Он тоже в яму упал.

Рассказчик вдруг замолк, на глазах у него вернулись слёзы. Чувствовалось, что ему было очень трудно говорить, но он продолжил, играя желваками и покусывая губы:

— Подтащили и меня к той яме. Людей в ней не вижу, а то, что стены жёлтые кровью облитые, в глазах стоят. «Вот тебе,— думаю,— и красная яма с железом». Почему я так подумал? Потому что, когда нас в армию забирали, на вокзале цыганки были, солдатам гадали. Одна из них гадала, солдаты около неё кучкой. А я так подхожу и говорю: «Чего вы, с мозгами не дружите, они вас дурят и свой бизнес на вас делают». Цыганка, что гадала, и говорит мне: «Я тебе, касатик, бесплатно погадаю, — бойся красной ямы и железа.— Я плюнул и пошёл от неё, а она мне вслед кричит,— бойся красной ямы и железа, каса-тик!».

Вот так стою я перед ямой, то-ли живой еще, то-ли уже мёртвый, сам не знаю, чечены меня сзади держат. Уж казнитель меня за волосы схватил и

вдруг... тишина образовалась. Меня от ямы отдёрунули, лицом к бородачу повернули. А он жестом велит меня к себе подвести. Подводят меня к бородачу, рядом старик стоит и уже совсем не зло на меня смотрит. Бородач спрашивает меня: «Правда ли ты, урус, мальчишку о змее предупредил?– Я в ответ головой кивнул, а сказать ничего не могу, скулы свело.– Доброе дело ты сделал, урус,– говорит он,– добро добром кроется. Я тебе дарую жизнь. Пойдёшь к своим и расскажешь про эту яму».

Завязали мне глаза, старик с мальчишкой вывели меня за пределы кишлака и отпустили. После этого, я больше в боевых действиях не участвовал, долго лежал в госпитале, а потом меня демобилизовали. Такая эта история,– сказал Алексей и посмотрел в упор на деда.

– Вот это да,– проговорил Лёньша, и восхищённо посмотрел на Алексея,– да ты же герой. А мы тут раскукарекались.

– Какой это героизм, сказал Алексей, сконфузившись,– один приказ не по уму выполнял, а другим горло резали. Разве это героизм? Глупость одна.

Так, вы же выполняли приказ,– встрял дед Антип,– вот ты сейчас, я чувствую, лейтенанта обвиняешь, а ведь он тоже приказ выполнял. Или приказы можно выборочно выполнять? Этот нравится – выполню, а этот не нравится – не выполню...

– Да отстань ты от человека,– перебил Лёньша,– выполню, не выполню. Когда тебе уполномоченный сказал перед домом мусор убрать, ты не больно-то спешил законное требование выполнить, какую канитель поднял вокруг этого смехотворного дела.

– Из-за моей мусорной кучи никто ни в кого не стрелял,– парировал дед Антип.

– А ты мог подождать, когда змея ужалит твоего охранника?– Что бы как-то попытаться сбежать,– спросил его, до этого молчавший, Савл.

– Не знаю,– сказал Алексей,– как получилось, так получилось.

– Он побоялся, что змея сначала мальчика, а потом его,– вставил дед. Все замолчали, как бы на себя примеривая ситуацию.

– А ты, что на это скажешь?– спросил Савл.

– Оправдываться я не буду,– сказал Алексей. У каждого своя точка зрения. Только учтите – никто из вас там не был, и не вам меня судить.

– Что ж ты дисциплину у чеченцев хвалишь, а когда тэбэ твой командыр приказ отдал, ты его за этот же прыказ и хаешь! Так выходит,– сказал Савл.

Их глаза встретились,

– Тебе всё не по уму,– продолжил Савл.– Ты там с иноплеменниками воевал, а свою дэревню не любишь и своего народа не знаешь. На западэ, там подчинэние закону, на югэ – подчинение законам

внутриродовым. Ты вот складно рассказывал, а что-то я не слышал, что бы ты хот раз Христа помянул. Чеченцы под крики «Аллах акбар» помирают, а ты что твердил, когда на смерть шёл? – После такого вопроса все опешили и посмотрели на Алексея. Его глаза налились кровью:

– Ты моего Бога, чурка, не трожь, – проговорил он сквозь зубы и потянул к себе лопату. Лёньша, – предусмотрительно наступил на её черенок и развёл руками, дескать, знать бы хотелось? – Ты тоже Бога вспоминаешь, когда тебе подносят, быдло колхозное? – обратился он к Лёньше. Но Лёньша нисколько не смутился брошенным ему оскорбительным вопросом или произнесённым ему приговором.

– А как же, всегда благодарю Бога, когда и угощают, и когда опохмеляюсь. Я-то хорошо знаю: если не поблагодаришь – то и не поднесут, и не накормят. – Ответил он.

– Вот, посмотрите на него, – засмеялся Алексей, – он и Бога к себе в собутыльники записал, в со товарищи. Попросил, – так тот ему и налил шкалик. Неплохо устроился. Как компания-то называется?

– Зря ты смёешься, солдат, – сказал Савл, – нэ знаешь над кэм и над чэм смёешься!

– А ты, значит, у них адвокат, – засмеялся Алексей с сарказмом, кивнув на деда и Лёньшу, заодно и мой судья, так что ли?

– Я тэбэ не судья, но когда над Богом смеются, – не люблю.

– Успокойся, над твоим Богом никто не смеётся.

– У всех людей Бог один, он тебе жизнь спас.

– Мне бородатый чечен жизнь спас. Вот кто мой бог. Прорицательница сказала, а ничего не исполнилось. На краю ямы был, а чечен всё по – своему исправил, – и он засмеялся.

– Жалко мне тэбя, Алексей, очень жалко, – проговорил Савл, народ тэбэ, в котором родылся, – плохой, дедушка, который на своих плечах вытянул не только перестройку, но и Сталина, и Хрущёва, и всю эту кутерьму, тоже ныкудышный. А на Лёньшу бабы, особенно одынокие, в деревнэ молятца, бабка Катэрина его карточку у себя на стэнэ повэсила. Он выпил на стакан, а сдэлал?.. Он, можно сказать, нэ которым людям жизнь спас, – Савл запнулся и не стал дальше говорить. Потом справился со стрессом и продолжил. – Вот ты мэня чуркой назвал. А я что, хуже тэбя? Ем нэ так? Пью нэ так? В Бога взрю нэ так? Работаю нэ так?

– Ты уж про Бога молчи, – сказал Алексей, схватил Савла за грудки и изо всей силы толкнул, тот ударился об ограду и стал медленно оседать на землю. Все разом, и дед, и Лёньша подхватили Савла и положили его на дедов бушлат.

– Ворот ему расстегните, ворот!– кричал Лёньша. Дед никак не мог справиться с застёжками. Ярость тут же ушла из Алексея, он понял, что сотворил, может быть, непоправимое, перемахнул через кучу земли, отпихнул деда и рванул у Савла ворот рубахи. Затрещала материя, звякнув отлетели пуговицы и обнажилась волосатая грудь. Алексей отпрянул. Среди буйной волосатой поросли на груди Савла висел маленький деревянный крестик. Алексей тяжело опустился на землю.

– Дышит!– закричал радостно Лёньша, отнимая ухо от Савловой груди, и стал прикладывать ко лбу Савла снег.

– Слава тебе, Господи!– проговорил дед и, глядя на небо, широко перекрестился. Услышав, что крикнул Лёньша, Алексей поднялся с земли и, видимо, чтобы успокоиться, спрыгнул в яму и мощными ударами лопаты, стал делать подкоп. Рыл он долго и методично. С лопаты, то и дело слетали увесистые комки красной глины и шлёпались на высокий холм, выроставший рядом с могилой.

Савл пришёл в себя, сел и, почёсывая затылок, перекрестился. В это время лопата Алексея, звякнула о камень. Он попытался его вытащить сходу, но тот был большой и не поддавался.

– Лом дайте!– прохрипел Алексей. Подали лом. Двумя мощными ударами тяжёлого лома Леонид развалил рыжий песчаный камень на части. За-

тем выкинул из могилы лом, тот упал на самую вершину насыпанной земляной кучи.

– Может подменить?– спросил дед участливо, заглядывая в яму.

– Сиди ты,– не сказал, а выдохнул Алексей, хватаясь за песчаник руками и пытаясь вывернуть половинку камня. Наконец это ему удалось и он выбросил половинку из могилы, а сам тут же ухватился за оставшийся кусок, пытаясь его раскатать. Выброшенный им прежде камень, падая, ударился о лом и откатился к ногам Савла.

– Отойдите, мужики, он не в себе и зашибить может,– проговорил дед Антип и стал отодвигаться. Лом же, что лежал на куче, от удара вдруг накренился и, набирая скорость, быстро заскользил вниз, в яму. Увидев это, Лёньша щучкой бросился к нему, пытаясь схватить его рукой, но не дотянулся.

Удара никто не слышал. В яме было тихо. Все молча придвинулись к яме и увидели, стоящего на коленях Леонида, обнявшего руками рыжий песчаник и прижавшегося к нему щекой. Лом острым концом вошёл ему в шею. Лучи клонящегося к западу солнца, резко высветили красные стены ямы и на дне её только что погибшего человека. Савл пошёл заявлять в милицию, дед ходил вокруг могилы и хозяйственно поправлял землю лопатой. На куче земли сидел Лёньша и плакал.

Послесловие.

Через три года после известных событий, на том же самом месте и в тот же самый час происходило следующее:

– Лиза! Соня! Валентина! – кричит средних лет женщина, поглядывая во все стороны и выискивая глазами детей. – Куда вы запропастились, негодницы такие? Куда-то сбежали... – говорит она извиняющимся голосом, по всей видимости, подруге, или хорошей знакомой, которая приехала на деревенское кладбище, чтобы навестить родных. Первую звали Даша, а вторую Марина.

– Брата давно не стало? – спросила Марина.

– Три года уже.

– А что же следователи?

– Протокол составили и уехали.

– А говорили, что Савл?

– Раз не наш человек, значит, на него и свалить можно?

– Да, я так спросила.

– Ближе всех к яме стоял мой муж – Лёня. Он лом не успел схватить. До сих пор этим мучается.

– Как, Лёньша твой муж?

– Представь себе.

– Как же это ты в очередной раз замуж решила выйти, – спросила Марина.

– Лучше бы ты спросила, почему десять лет назад не решилась.

– Это что-то уже интересненькое,– сказала испытующе Марина.

– Да нет тут ничего интересного,– просто раньше дура была, да не одна я такая. Свои в деревне ребята были, а мы от них нос воротили. Потом, как чужих пирогов наелись, о своих пряниках вспомнили. Вот мой Лёня. Мы с ним в одном классе учились, в пятом классе за одной партой сидели, он даже за мной ухаживать пытался. А после гибели брата, когда одна осталась, он первый мне и помогать стал. Добрый он, только пил. Вот раз он мне дров привёз, а я ему и говорю: вот что Лёня, хватит тебе по деревне ходить, да рюмки сшибать, оставайся-ка ты у меня. Вот и всё, с тех пор и живём. Дочка у нас ещё одна народилась. Уже три годика.

– А как же ты говорила, что он пил?

– Пил, разумеется. Я его и кодировала, и ампулу ему зашивали – ничего не берёт. Потом мне священник подсказал: «Поезжай,– говорит в город Серпухов, там есть икона Божьей матери «Неупиваемая чаша», помолись, поклонись и по просьбе твоей будет тебе». Денег заняла и в Серпухов. Добрые люди помогли – всё отыскала. Сколько я плакала перед иконой, не знаю, только вывели меня на крыльцо прихожанки тамошние и помогли уехать назад. Вот такая история.

– И что же, не пьёт?

– Теперь он её в рот не берёт. Слава тебе, пресвятая Богородица!– и она несколько раз перекрестилась.– Да вон он с косою идёт, а мы ему обед принесли. Очень он детей любит. Только вот, что пьяного дома не видели, что трезвого – одно и то же.

– Что так?

– Да, ему всех жалко, всем помогает,– женщина видно, застеснялась своей откровенности и добавила,– помогать не водку пить. Пусть, раз душа просит. Если это доброе в нём водка не заглушила, то без водки и подавно.–

Подошёл Лёньша с косою и брусом, поздоровался. Он был такой же, как и прежде, с пучком встрёпанных волос и в мелкую конопушку лицом, только усы отрастил.

– А дюшки где?– спросил он Дашу. Он девочек звал дюшками.

– Вон за кустом прячутся,– кивнула она.– Ты, Лёнь, долго на косьбе не задерживайся, дед Антип просил зайти.

– Што так?

– Хуже ему, Лёнь стало. «Пусть,– говорит, зайдёт, поговорить надо, а то до утра, можа и не доживу?».

– Чего это он тебе сказать хочет?– спросила, играя глазами, Марина.

– Исповедаться он хочет,– ответил Лёньша просто.

– А ты что, в попы по совместительству записался? Поделись секретом,– сказала, улыбаясь, Марина.

– Священника у нас нет,– ответил Лёньша,– а крестьянской душе о грехах своих рассказать надо. Вот друг другу и говорим.

– Не друг другу, а его все бабки зовут,– поправила Даша,– мы твоему Леониду, говорят, всё рассказываем, как на духу.

– Поделись, Лёня, секретами, может тебе проклад тайный кто рассказал?– проговорила со смешинкой в глазах Марина.

– Только языками молоть,– сплюнул Лёньша, и взял у Даши узелок с обедом, показывая этим, что болтать попусту не намерен, отошёл в сторону; Марина, попрощавшись, ушла к машине и тут же уехала. Девочкам надоело сидеть за кустами и они, выглядывая оттуда, кричали:

– А-у, где мы?!

Дядя Яша

(рассказ)

Зима. Холодно. На улице свистит ветер и гонит по селу жёсткую колючую крупу. Я – ученик пятого класса восьмилетней школы, сижу на табуретке около окна и пальцем протаиваю на замороженном стекле маленькие лунки, чтобы через них посмотреть на улицу в направлении Крюковской дороги. Крюковка – это моя деревня, в семи километрах отсюда. А я нахожусь в Фёдоровке, учусь в школе и стою, вместе с сестрой, в зимнее время, на квартире у своей тётки, которую мы зовём Няней.

Мне, говорят, повезло – я живу у родственников. А мне от этого не лучше. Домой хочется и я вместо того, чтобы учить уроки, смотрю и смотрю в протаянную лунку на дорогу между домами на той стороне улицы – не едут ли родители. Нет – не едут, не скрипят полозья саней, не фыркает карий мерин, не скрипят в сенцах промёрзшие валенки отца. Моя лунка потихоньку затягивается ледешком, затуманивается и я вижу уже в ней не дорогу меж домами, а какие-то странные фантастические образы,

которые вдруг оживают и начинают дразнить меня: «не приедут, не приедут, не приедут.» Я снова про- таиваю в лунке образовавшуюся наледь и мерзкие рожи исчезают, а вместо них, прямо напротив вижу дом дядя Яши.

Дядя Яша живёт один, а если точнее – то вдвоём, с непутёвой дочерью. Только, когда он живёт один, а когда вдвоём никто не знает. Дочь постоянно выходит замуж, уезжает куда-то, затем снова появляется и снова исчезает. А дядя Яша живёт, как и жил: задаёт корове сено, расчищает лопатой снег, продельывает в сугробе дорожку к колодцу и ещё он подолгу с кем - нибудь из прохожих разговаривает и потому знает все деревенские новости. По вечерам он приходит к нам. К этому все привыкли, хотя баба Даша – свекровь моей тётки, услышав в коридоре знакомое покашливание, ворчит по-доброму: «Вот, опять тащится... Сидел бы дома на печи и сидел».

По-доброму может ворчать только баба Даша. У нее это здорово получается, ведь я знаю – она ни капельки не сердится на дядю Яшу и даже жалеет его, а вот чтобы не поворчать, никак не может. Я только не понимаю – почему они всегда потихонечку бранятся с моей тёткой. То из-за сковородки, что не там стоит, то из-за какого-нибудь ведра. При этом баба Даша всегда смотрит на нас с сестрой, как бы ища поддержки, и часто повторяет: «Нет, не уго-

дишь, никак не угодишь» и, всплёскивая руками, хлопает ими по бёдрам.

Вообще, они по-крупному не скандалят, а так, ворчат от скуки. Внуков у бабы Даши нет – один сын и сноха. Нас с сестрой баба Даша любит. Я это чувствую. А ещё, на селе, я знаю, бабу Дашу зовут колдуньей. У неё чёрные с проседью волосы и такие же чёрные глаза. По рассказам я знал, что колдуны все злые, недобрые люди, а баба Даша, какая же она колдунья, когда она о нас так заботится!

И не только о нас она заботится, а как увидит в окно, что какой-то кульдюшонок, не по погоде одет, так обязательно это дело постарается исправить. Выйдет, остановит, спросит: «Дома ли родители?..» и так далее. Нет, таких колдунов не бывает. И зря одноклассники говорят, что пятёрку по литературе мне баба Даша наколдовала. Врут всё. Мне литература даётся, они этого ещё не поняли. А если бы знали, то и о колдовстве бы не говорили. А «кульдюшатами» баба Даша всех зовёт, кто в младших классах учится.

Я сижу у окна и по-прежнему смотрю в проталину. Смеркается. Уже тёмным пятном смотрится дяди Яшин дом, но старик ещё со двора не уходит, что-то там копошится, только видно на белом снегу мельтешит его высокая сторбленная фигура, да торчат в разные стороны уши от шапки. Я знаю – дядя

Яша так будет копать до позднего вечера, чтобы потом сразу прийти к нам.

Я люблю дядю Яшу, он добрый и не совсем старей. Я сижу и думаю о том, что вот если бы он посватался к бабе Даше, то, наверное, ладно бы жили. Баба Даша никогда не забывает угостить его блинами или ещё чем. Мне всегда кажется, что они друг другом премного довольны. Было бы очень хорошо, если б они вдвоём жили напротив нас, и мы бы ходили к ним. Но, почему-то время идёт, а ничего в этом плане не происходит. Я знаю, что у бабы Даши муж погиб на войне и она после ни разу замуж не выходила, хотя её и сватали, боялась за сына.

Немного погодя пришёл с фермы Братка, это муж моей тётки. Его в деревне любят все: и взрослые, и дети, и старики. И в соседних сёлах тоже любят. «Сейчас будет проверять тетрадки», – думаю я. Эта процедура всегда немного омрачает вечер. Но вот приходит дядя Яша и всё внимание переключается на него, про меня забывают.

Дядя Яша долго в сених обметает веником валенки от снега, потом стучит ими друг о дружку, затем, пригнувшись, входит в низкую дверь и садится у печки на приступок. Это его излюбленное место. Отсюда он потом медленно начинает переключиваться ближе к столу и останавливается на уровне

печного чела. Здесь он, держась за задоргу, потихоньку разоблачается, садится на пол и подсовывает под себя свою незабвенную шапку. Сколько ему раз говорили, что надо раздеться – не соглашается. Сидит молча и смотрит, иногда кивает, или дакает, поддерживая таким образом разговор, и не больше.

При нём начинают играть в карты. Дядя Яша не играет. Мы садимся кругом на полу и начинаем резаться в дурака. Братка нас всегда немного обманывает, да он и не скрывает этого. При игре его широкое с румянцем на щеках лицо, всегда улыбается.

– Натолька, мухлюешь, – говорит баба Даша, притворно сердясь.

– А какие ж это и карты, если их не передёрживать, – говорит Братка, нисколько не смущаясь. Он весело проигрывает, а ещё более весело выигрывает.

У моей сестры – Анны «лошадиная память». Так говорит Братка. Именно она всегда его ловит на разных афёрах, потому как помнит – какие карты выходили, а какие нет. Я же обычно играю азартно, игра захватывает меня гипнотически и я легко просматриваю даже самый грубый Браткин сброс. В карты мы играем недолго – Братка бросает карты и говорит – «баста». Затем на столе появляется противень с калёными подсолнечными семечками. В этот момент может зайти на огонёк лесник. Он живёт через дом и нередко заходит поговорить о том, о

сём. Но если его и нет, то это ничего в корне не меняет – настало время дяди Яши.

Он кряхтит, усаживается поудобнее, или просто меняет ногу, на которой сидит, и начинает рассказывать. Рассказывает он всегда об одном и том же – о колдунах, привидениях, мертвецах, змеях и прочей нечисти. Тема одна и та же, а вот рассказы разные.

Дядя Яша почти никогда не повторяется. Говорит он размеренно, не торопясь. В его рассказах главное действующее лицо – он сам. Иногда он выступает в качестве пересказчика или стороннего наблюдателя.

– Собираюсь я к вам сегодня идти... «Схожу, – думаю, – вечер длинный, дома одному скучно, с Филимоновной поговорю», с Бабой Дашей значит. – Только вышел на улицу, глаза-то поднял, а от моего-то дома кладбище хорошо видно, оно на бугре. Над кладбищем ореол, как северное сияние, только пониже и с красноватым оттенком. «Батюшки, – думаю, – знамение что-ли какое?» Вспоминаю – «такое же было перед тем, как моей бабке помереть».

– Дядь Яш, – прерывает его Братка, улыбаясь, – поди, когда к нам шёл так и придумал эту историю?

– Да ты што, Натолій, – искренне возражает дядя Яша, – взаправду видел, да нешто я когда не-

правду...– и он покачал из стороны в сторону головой,– разве можно... грех.

– Так-то оно так,– вдруг соглашается Братка и хитро нам подмигивает,– так что это было, как ты думаешь?

– Да што я думаю, тут и думать нечего – ведь мы лампы зажгли, их дело. Вот как баушку Мотрю похоронили, так и начались на кладбище всякие не-суразности.

– Правда, что ль? – сделал серьёзную-пресерьёзную мину Братка.

– Спрашиваешь тоже, покуролесила старая, чтоб ей. Хотя о покойниках и не принято говорить плохо, а я скажу – людского горя на ней не меряно. Собственного мужа со свету сжила и дочь тоже.

– Про дочь-то я не слыхала, – говорит баба Даша,– о муже всё разговор по селу шёл.

– Ей что, чужих людей разве было мало?– вдруг спросил совсем серьёзно Братка.

– Мало, не мало, а как их бес мучить начинает, чтобы зло делали, так они первого встречного портят: мать, отец, брат, сват... ни с кем не считаются.– И дядя Яша победоносно посмотрел на Братку.

– Ну и ну!

– Вот тебе и «ну и ну!». Я сам видел, как она за сараем в полночь килы пускала. С Сергуней Баринным засиделись вот так же. Иду от него, глаза к темноте пообвыклись, глядь, а за Мотриным дво-

ром человек стоит. Я поначалу думал, что это бельё на морозе сушится, ближе подхожу и остолбенел – Мотря. То стоит, то начинает крутиться на одном месте и аж повизгивает. «Ну, – думаю, – вляпался. Увидит, что я её за таким занятием застал и, пиши пропало». Схоронился за световой столб, стою, жду когда чародействовать кончит. Мёрзнуть уж стал, а она всё подпрыгивает. Пока дождался, куда уйдёт, думал насквозь проморозился. После этого я к Сергуне ни шагу, а ведь дружаны. Он меня пытается: «обиделся, или что?». Я всё молчал, молчал, а потом не вытерпел и говорю ему: «Или что!» Он догадался, что дело не во мне – перестал спрашивать. Только когда бабка убралась, я ему и рассказал. Ей потом осиновый кол в могилу забили.

– А что это за килы такие, – спрашиваю я, а сам уже жмусь поближе к сестре. Страшно. И представляю бабушку Мотрю, что за сараем чародействует, и дядю Яшу, схоронившегося за столбом.

– Килы – это их слуги, – с видом знатока поясняет дядя Яша. – Как стрелы. Они их по ветру пускают. Попадёт в скотину – скотина мается. В корову – молока там не даёт, а то мычит и на стену лезет. В человека – значит человек сохнет, или болезнь какая приключается ни с того, ни с сего. Врачи природу болезни не определяют, и вылечить не могут.

Все слушают дядю Яшу внимательно, даже Братка перестал отпускать свои шутки. Баба Даша,

чтобы не сидеть без дела, взяла свою прялку и стала прядь шерсть. Няня с ручкой в руках, тут же что то высчитывает, она учётчик и краем уха слушает дядю Яшу.

– Давно она померла? Мотря эта? – спросила Няня. Она в эту деревню была отдана три года назад и всех историй и людей не знает.

– Померла то давно, только вот как помирала, страхи Господни. Кричит, мается, всё лицо ногтями изодрала; говорит на третий день: «Стащите с крыши набалдашник, что на коньке прикреплён, в нём моя смерть». Мужики тут же вдарили по нему прямо с земли оглоблей – набалдашник в щепки, а из бабки дух вон.

Я гляжу на дядю Яшу во все глаза и потихоньку отодвигаюсь от тёмного окна. Мне кажется, что сейчас из окна, протянется ко мне старухина рука и... В это время дядя Яша потихоньку начинает двигаться мне навстречу. Мы сидим напротив и я вижу каждое его движение. Он тоже, сильно уверовав в то, что говорит, начинает побаиваться. Однако форса не теряет и своё передвижение от двери маскирует то под затёкшую ногу или под смену уставшей руки.

– Я, Натолый, всегда правду говорю. Всю жись только за неё стою и её держусь...

Он помолчал. Дядю Яшу никто не торопит. Потому как знают, сам всё расскажет и вечера ему на рассказы не хватит.

– Нечисти в нашей жизни много, – начал он, глядя в пол. – Вот я ещё парнем был. Пошли мы с ребятами в Кошаровку вечером к девкам. Сами знаете, сельцо маленькое, а девок там было – пруд пруди... Вышли за крайние дома и откуда ни возьмись свинья... бегаёт вокруг нас и хрюкает за ноги укусить норовит. Мы и так, и этак, а она не уходит и хода не даёт. Тогда мы решили её поймать. В общем, бегали мы за ней, бегали по полю, поймали. Сёмка в нашей компании был, он её и ухватил за заднюю ногу. Отчаянный парень. Навалились мы на свинью кучей, держим, а Сёмка вытащил перочинный нож и чирк ей по уху, так кончик и отхватил. «Это ребята для заметки, – говорит, – чтоб больше не попадалась».

Сходили мы в Кошаровку. Больше свинья нам не встретилась. Наутро Сёмка к своей бабке пошёл, мать послала. Пришёл, а бабка на печи с перевязанным ухом лежит, стонет и ругается. Кровь на повязке запеклась. Увидела внука, зло на него посмотрела и молчит. Понял Сёмка, что это он собственной бабке ухо ножичком резанул.

Дядя Яша помолчал и добавил.

– Бедовый был парень, этот Сёмка в японскую погиб.

– Как же это человек и свиньёй становится? – Недоверчиво спросила Няня.

– Ведьма просто так в свинью, или кого ещё, не превратится. Ей надо в лунную ночь через двенадцать ножей перекинуться. – С видом знатока заключил дядя Яша. – Ещё могут кожу свиную одевать. Точно никто не скажет, как это у них там происходит, только против фактов не пойдёшь...

– У нашей Пеструшки, у коровы, молоко отнимали. – Проговорила тихо баба Даша. Все повернули головы в её сторону. – Вечером пошла корову доить, а молока в вымени ни капли. Села на крыльцо и не знаю, что делать, хоть в голос плачь. Только коровой и жили в то время. Сижу, смотрю, какой-то белёсый шар по двору прокатился и в торец бревна ударился. У нас брёвна на постройку сарая во дворе были сложены. Пошла посмотреть. Глядь, а это масло. Соскребла его в плошку, захожу в дом и говорю мужикам. У нас они всегда собирались по вечерам. Мой муж простой был, весёлый. К нему и липли. Два соседа за столом Турик Иван, Семён – сосед, да мой среди них. Я рассказываю и плачу. Турик, мужик бывалый, мне и говорит: «Не плачь. Клади это масло в сковороду и на огонь, а сама режь его крестообразно с молитвой. Кто молоко у твоей коровы отнял – тотчас здесь будет, а ты этого человека ругай».

Я всё делаю, как Иван сказал. Немного погода приходит соседка и говорит Семёну: «Пойдём Сёма

домой. К нам гости приехали». А я и давай её бранить за содеянное. Соседка в ответ ни слова. Ушли они, а следом Турик ушёл. Я вышла на улицу, глядь, а в окнах у соседей ни огонька. Вот тебе и «гости приехали». После этого молоко появилось у коровы.

– А я о чём говорю, – встрепенулся дядя Яша. – колдунов в нашем селе много было. Это они сейчас повымирили и то не все...

Я дядю Яшу не слушаю, я представляю клубок масла, что катится по двору и что он не сам катится, а вокруг него мелькают какие-то тени с длинными и тонкими руками и направляют этот клубок на брёвна. Мне страшно.

Особенно мне страшно, когда дядя Яша начинает рассказывать про летающих и сыплющих искрами змей, что летают с кладбища к тем, кто убивается об умерших родственниках. Дядя Яша говорит, что перед домом того, кто убивается чрезмерно, змей падает на землю и рассыпается, как бы, жаром. А уж в дом идёт человеком, точно похожим на умершего и что они такого змея видели. Что этот змей летал к Матрёне, у которой сына автомобилем задавило, а она по нему уж очень плакала.

Дядя Яша рассказывал, что они с Федюхой в створку окна подсматривали. В дом вошёл вроде бы её сын и с Матрёной разговаривал, только не близко, а на расстоянии, от порога. Выходил из дома он

задом, потому как сзади у него хвост и шерсть, чего показывать Матрёне никак нельзя.

Когда змей первый раз прилетел, то у Матрёны соседка была, Марька. Она рассказывала про это так, что сидят они с Матрёной разговаривают, вдруг дверь входная открылась и закрылась, как бы сама по себе. Вроде вошёл кто-то, только Марька никого не видит, а Матрёна с кем-то разговаривает. Затем опять дверь открылась и закрылась и никого.

Два раза к ней этот змей прилетал, после чего знающие люди Матрёну предупредили о том, что как третий раз прилетит, то обязательно её убьёт. Порядок у них такой. Посоветовали ей свечи и лампадку перед иконами зажечь и молитву читать. Помогать читать ей Марька приходила. Прилетать змей в тот вечер прилетал, а в дом войти не мог. Когда увидел, что у него ничего не выходит, то так по углу дома ударил, что из крайнего окна даже рама вылетела.

– Неужели правда!?!– Восклицает, притворно удивляясь, Братка.

– А ты Федюху спроси, он скажет. После этого рассказа наступила пауза.

– Я и сама скажу,– прервав паузу, начала баба Даша. – В Ивановке на праздник мужики собрались, заспорили, а среди них Сысой был. Помните Сысой?

– Кто ж его не помнит, – подтвердил дядя Яша.

– Так вот, – продолжила баба Даша, – Это сваты рассказывали. Заспорили они и чуть ли не до драки. Вадим Парфёнов Сысой за грудки начал брать. А Сысой и крикни ему: «Полезай на столб!» и пальцем указал. Парфён, как бросится к столбу и мигом макушки достиг, а слезть не может. Это зимой в валенках и полушубке. Сысой ушёл, а мужики начали Парфёна со столба снимать. Столб высокий и гладкий. Пришлось две лестницы связывать, чтоб достать. Кое-как от столба оторвали... Потом ему литр ставили, чтоб на этот столб залез, а он

– А я о чём говорю! – Дядя Яша недовольно хмыкнул и продолжил. – Ладно, Натоллий, это давно было, а про Сергунькину свадьбу знаешь, всё совсем недавно произошло. Я на свадьбе не был, а у ихней колитки стоял, когда молодых увозить стали. Лошади в санки были впряжены правленские. Огонь, а не лошади. Федот на облучке. Тронул Федот вожжами коней, а они ни с места. Вперёд шага не могут сделать, только на дыбы встают, как перед стеной какой. Так и не тронулись. Других лошадей впрягли, тогда праздничный поезд и тронулся. Разве, Натоллий, ты про это не слыхал? На свадьбе той за молодых стали пить, гости стаканы к губам поднесли, а водка из их стаканов вся в потолок. Ещё налили – и та в потолок. Поняли хозяева что к чему. Гришуньку соседа из за стола за шиворот вытащили и давай ухватом охаживать, а он кричит: «Не бейте! Я больше

не буду!» После этого и вино из стаканов перестало в потолок вылетать...

Я верил в эти рассказы и мне было жаль себя, потому как я чувствовал незащищённость перед таинственными силами о которых говорит дядя Яша.

– А что, дядь Яш, – спрашивает Братка, хитрая улыбка опять появилась на его лице, – ты с кладбищем-то того – не пошутил?

– Вот удумал, – дядя Яша сделал доверительную мину, – видно я вам ещё не рассказывал, что со мной произошло по осени.

Он уселся поудобнее и ещё на четверть придвинулся к столу. Так вот слушайте.

– Темно было, луна хоть и светит щербатая, да толку большого нет, а кладбище-то на горе, там снежок не растаял, видно там ещё ветерком его обдувало, а в деревне напрочь весь сошёл, от речки тепло. Часов в десять вечера моя Стрелка залаяла, и всё за ваш двор бросается. Я пошёл посмотреть, вышел в проулок, глядь на гору и меня как током пронзило. А хорошо так видно гору-то, как на ладони. Снежок – не снежок, а так крупа тоненько так разбросана, как курам просо сыпят. А среди могил кто то в белом весь, ходит и в сторону деревни направляется.

Я до чего вроде небоязливый, а сердце холодком обдало, – в это время дядя Яша, переменял по-

ложение и ещё дальше отодвинулся от двери, но продолжает говорить.— Тут ещё соседский Тобик подбежал, пёс злобный и вдвоём со Стрелкой бросились к кладбищу. Стрелка рыжая, её хорошо видно, а Тобик серый, рядом пятном тёмным кроет. Только как собакам приблизиться, фигура в белом остановилась и вытянула в стороны руки, собаки разом осеклись, стоят как вкопанные, а потом с визгом назад. Я, хоть человек и неробкого десятка и много чего на свете видывал, а тут мурашки по спине побежали толпой.— Дядя Яша перестал рассказывать, обвёл всех взглядом и ещё отодвинулся от двери уже без всякого предлога ногу переменить, или ещё чего.

– Чё... замолчал-то, – спросил Братка.

– Тут замолчишь, – проговорил дядя Яша, – как вспомнишь, так перед глазами и стоит – руки вытянуты и только белое что-то с головы до пят немного колышется.

– Саван, – ахнула тётка.

– Можа и саван, я ближе не подходил, только собаки оттеля с поджатыми хвостами вернулись и уже не брехали. Стрелка, так та сразу в конуру заби-лась, будто её и нет.

– Покойник-то куды делся? – спросила баба Даша.

– Можа покойник, а можа и нечистая сила, – заключил рассказчик, и пододвинулся ещё немножко,

а баба Даша перекрестилась на угол.– Откель мне знать, кто это был? Тут луна за тучку зашла, покаместь она из-за неё выйdet? Только я дожидатца не стал, холодно, домой ушёл.

– Как же ты всё это помнишь? – Спросила Няня.

– Запомнишь, когда мурашки по спине побегут.– Многозначительно сказал дядя Яша. – Ты вот Натоллий, я вижу, не больно этому веришь, – обратился он к Братке,– а я не могу не верить, потому как сам много чего видел и поэтому не могу не доверять тому, кто мне про эти дела рассказывает. Вот, например, что мне дружан из Малой Крюковки рассказывал. Его мать заболела странной болезнью, похоже, как с головой что-то стало. Заговаривается, иногда просто несусветную чушь несёт, злится, нервничает, посуду бьёт... К доктору возили – он сказал, что понаблюдать надо, случай непонятный. А тут мужу больной, Андрияну, посоветовали в Старую Ивановку съездить, там, дескать, один старик живёт, он вылечит.

Запряг Андриян лошадь, поехал. Привозит этого старика с бородой, в дом ведёт. Знахарь этот перед тем, как в дом заходить, говорит Андрияну: «Сейчас, как в дом войдём, ваша баба бросится на меня с кулаками и с руганью. И бросать в меня будет всем, чем непопада. Я у вас должен прожить три дня. Сегодня она будет сильно буяннить, а потом тише станет.

Прошло три дня. Жена Андрияна вылечилась.

На четвёртый день повёз Андриян знахаря назад, в Старую Ивановку. Выехали за деревню, а этот знахарь и говорит: «Деревушка ваша, Андриянк, маленькая, а колдунов то в ней сколько-о-о!!.. Хочешь, они сейчас прибегут на этот выгон и раздерутся в пух и прах?!»

«Нет, говорит Андриян,— не надо. Ты уедешь, а мне здесь жить». Так и увёз он этого бородача.

— Это, наверное, был главный колдун в их округе?— заключила Анна,— если он может другими колдунами командовать...

— Не без этого.— Заключил рассказчик.

— Ну ладно, дядь Яш, на сегодня хватит, ребятам спать надо,— сказал Братка и поднялся. Дядя Яша тоже засобирился.

— Проводил бы,— сказала Няня Братке и кивнула в сторону дяди Яши. Тот это заметил и стал протестовать:

— Подумаешь, тут два шага шагнуть,— говорит дядя Яша, — одевая старый армейский бушлат, купленный когда-то по сходной цене у военных и открывая ногой дверь в коридор.— Ты, Натолій, не беспокойся, дорожки я прочистил, дойду,— и за ним захлопнулась дверь.

Братка вернулся из коридора. Но не успел он повесить фуфайку, как на улице раздался истошный вопль. Братка раздетый бегом выскочил в коридор, а из коридора на улицу. Через несколько минут, в коридоре раздались голоса и в открывшуюся дверь ввалились Братка и дядя Яша. Дядя Яша был бледный как полотно. Он стучал зубами и вращал ошалелыми от испуга глазами. Ему дали пить. У дяди Яши стучали зубы, вода в рот не попадала и проливалась на пол. Он продолжал дико вращать глазами и повторять:

– Оно это,... сам видел!!! Налетело сзади, я и в сугроб,... обняло будто верёвками обмотало,... вот силища... А! Если б не Натолька – мне бы конец.

Тут он немного отдышался, помянул крепким словом нечистую силу, будто ей от этого стало хуже.

– Так тебя простынёй накрыло,– сказал Братка весело, когда увидел, что дядя Яша в своём рассудке.– Ветром сорвало у Анки соседки с верёвки простыню, ей и накрыло.

– Я и без тебя знаю, что простынёй,– уже уверенно, и тоном, не желавшим пререканий, сказал дядя Яша.– А за простынёй что было?.. и он многозначительно поднял палец кверху,– То-то же...

– Можя у нас заночуешь?– робко спросила баба Даша. И увидев отрицательный жест дяди Яши проговорила,– Ты уж, Натольк, как следует проводи, прямо до крыльца, чтоб в сени вошёл.

Дядя Яша и Братка ушли. Я лёг спать на своей раскладушке и долго ворочался, потому, как в голове рождались и исчезали образы, то бегущих в ночь собак, то наводящей на людей порчу колдуньи, то образ летящего по воздуху ковра-самолёта из простыни. И почему-то на нём сидит дядя Яша смеётся и машет на прощание рукой. Я тоже машу ему рукой, и мне жалко, что он не взял с собою бабу Дашу, вместе им было-бы не скучно. Я засыпаю.

Саратов, 2007.

Сеня

(рассказ)

У Сени болит душа. Он ходит по дому и не находит себе места. Нет, ничего не болит, не болит явным образом, а вот в груди теснота какая-то. Даже объяснить толком не объяснишь. Пошёл Сеня к врачу, разделся, всё как полагается. Простукал его врач, прослушал, кардиограмму посмотрел, велел зачем-то открыть рот, в него заглянул. И ничего не нашёл. А чего в рот смотреть, когда в груди что-то трепыхнется и как бы живое вроде. И это живое не даёт Сене никакого нормального житья. Мужики после зарплаты, как обычно сбросились; отдал свои гроши и Сеня, а пить не стал, не по себе как-то, домой ушёл. Первый раз с ним такое, чтоб вот так не по-человечески... Пить не стал, а душа всё равно болит и это «оно», за грудиной, вроде как шевелится. И теснота везде: в сердце, в лёгких, в глотке даже. И ничего с ней Сеня поделать не может.

Идёт Сеня как-то с работы домой, смотрит бабушка Таня на скамеечке сидит, весна, тепло, солнышко, а она в валенках и в шубейке, совсем видно

кровь не греет. К ней-то и подсел Сеня. Так, мол, и так, душа, дескать, болит, а что делать ума не приложу. «Это тебя Господь к себе зовёт» – прошамкала старуха. Плюнул Сеня в сердцах: «Тебя,– говорит,– самую Господь к себе зовёт, а ты тут всё на скамеечке сидишь, на солнце шубейку греешь». Плюнул и ушёл. Ушёл-то он ушёл, от старухи немудрено уйти, а вот от себя как уйдёшь, когда оно вот тут ворохтается и житья никакого не даёт.

Жена Люба стала настои трав разные готовить, мужик-то совсем никакой стал, всё о чём-то думает, думает. Вон у Савосиной, так же вот ходил, ходил смурной, а потом раз – и повесился. Бабка Таня велела его святой водой попойть. Съездила в район, в церковь ходила, воды святой привезла. А он чего удумал – взял и на кладбище после работы попёрся. Чего, спрашивается, ему там делать?

– Никола-й!– прокричала она брату, что жил от них через дом,– сходил бы на кладбище, мой туда потопал, как бы чего не удумал.

– Ладно, сейчас. – И Николай, воткнув топор в колоду, пошёл на деревенское кладбище. Пришёл, смотрит, Сеня от могилки к могилке переходит и губами шевелит, вроде как разговаривает.

– «Совсем, видно, мужик с рельс съехал»,– подумал Николай и окликнул зятя. Сеня не удивился появлению Николая.

– Что, моя послала? – Николай кивнул. Оба сели на скамеечку возле оградки. Посидели, помолчали.

– О чём думаешь? – спросил Николай зятя.

– О многом я думаю Коля, ох, о многом, – он покачал головой и добела закусил нижнюю губу. Помолчали. – Вот Любаха боится, что я как бы не того, с собой чего не сделал, тебя сюда прислала. Она думает, что я как Савося голову в петлю суну, так что ли? – и Сеня в упор посмотрел на Николая. – Нет, дорогой, сейчас не суну. Раньше мог сунуть, а теперь нет, теперь мне хочется в самом себе разобраться, на самого себя посмотреть, как говорится, этим самым критическим оком.

– Так и разбирался бы дома, – буркнул Николай.

– Дома никак нельзя. Дома никак..., жисть она здесь, на кладбище начинается.

– Как это?! – опешил Николай.

– А вот так, Коленёвка, вот так... Я раньше тоже как ты думал: «Отнесли, закопали, бутылку на двоих проглотили и всё тут». Нет, жизнь она отсюда начинается, – и он указал пальцем на кладбищенскую землю. Почему так – я не знаю, но чувствует моё сердце, что отсюда и я до этого обязательно докопаюсь. Вот хожу я по могилкам, всматриваюсь в фотографии и думаю: «Как вы жили, милые мои? О чём вы думали? Кому свою жизнь посвяща-

ли?» Дед Захар сидел на Ямале, а дед Кирьян его охранял. Оба вот здесь и могилы по соседству. Я уж не говорю про ту, старую часть кладбища, там и белые и красные и зелёные, все бок о бок лежат. Так ты мне скажи: о чём они думали, ядрёна вошь, когда друг в друга пуляли? О чём? А ведь с одной деревни...

– А ты их и спроси?

– А я вот и спрашиваю. А они мне отвечают, что о душе своей они ни хрена не думали.

– А ты, стало быть, думаешь?

– А я, стало быть, думаю... Только что стал думать, раньше не думал. Раньше о достатке думал, чтоб семье было хорошо, детям опять же.

– А теперь, ты что, об этом не думаешь? – спросил с иронией Николай.

– Да, думаю я, думаю и об этом. Только не главное это в жизни. Еда, шмотки там разные. Я об этом раньше и не думал, а теперь вот думаю. И так думаю, что из головы просто не идёт. И всё это после того как душа заболела.

– Посмотрю вокруг – все дела какие-то делают, копошатся, спорят, ругаются, смеются и того не видят, что это не жизнь. Нет-нет, жизнь конечно, но только это не совсем жизнь...

– Что ты мне тут в уши дуешь, то тебе это жизнь, а то вдруг, уже не жизнь? – осердился Николай.

– Да жизнь это жизнь, только, как бы, не настоящая что ли? Это всё равно, что человек имеет много детей, стариков там ещё; купил большой дом, а живёт в одной половинке. Всем тесно неудобно, а терпят.

– Что ж они вторую половину не займут? – спросил недоумённо Николай.

– А вот не знай, не занимают и всё, как будто у них её и нет или они её не видят.

– Как это?

– А вот не знаю, сам бы хотел с этим разобраться.

Они помолчали.

– А здесь, – Сеня кивнул на могилки, – жизнь со смертью встречается. Здесь, под этой землёй, – и он топнул кирзовым сапогом, – тайна зарыта. Вот почему я сюда и пришёл. Без этой тайны, нам ни в политике, ни в экономике, ни в собственной жизни не разобраться!

– Так зачем ты сюда припёрся, и семью взбаламутил? раз сам говоришь, что не разобраться.

– Это я, Коленька, только здесь всё это понял, а когда я сюда шёл, то этого ничего и не знал.

– Вот, ешки – матрёшки... Ладно, пошли отсель, – сказал Николай, поворачиваясь к выходу. – Чё здесь делать, когда ты всё понял, да и семья опять же волнуется.

Они стали спускаться с кладбищенского холма.

– Ты, Сеня, когда сюда рванул, ты только о себе думал.

– Я што тебе, кошарь что ли какой, чтобы о себе только думать,– озлился Сеня.– Я, можа, как раз обо всех и думаю.

– А ты не о всех думай, а о себе, от этого толков больше будет.

– А как себя изо всех вычленить, ты мне скажешь? Как руку, ногу из своего организма вычленить и особое попечительство о них одних иметь, ты меня этому научишь?– Сеня неожиданно остановился, взял шурыка за плечи, встряхнул и, давясь словами, проговорил,– а я этому и учиться не хочу, и детей этому учить не желаю.

– Крыша у тебя, Сеня, едет,– сказал тихо Николай, освобождаясь от рук зятя.

– Она у всех в наше время едет, только у одних в правильную сторону, а у других прямо в противоположную. Скорости только разные. У тех, у кого в противоположную, так те аж галопом скачут.

– К психиатру тебе, Сеня, надо или к попу.

– Самому тебе к психиатру надо,– буркнул Сеня и, круто свернув к своему огороду, пошёл домой. Николай посмотрел ему вслед и покачал головой.

В этот день они больше не виделись.

На следующий день Сеня собрался и пошёл к отцу Пахомию. Отец Пахомий жил на самой окраи-

не села. Он не служил, был на пенсии, служить здоровье не позволяло. Дети купили ему в этом селе домик, и он здесь жил уединённо, словно монах в келье. Батюшка был добрый. Днём к нему ходила сь детвора и он с ними играл будто маленький.

Когда Сеня подошёл к дому батюшки, то увидел такую картину:

Батюшка в старом подряснике и в тапочках на босу ногу, строил с детишками из песка какое-то убежище, и о чём-то спорил с пятилетней Машей.

– Ты, дедуска,– говорила Маша,– неправильно звезду нарисовал. Она пятиконечная.

– А вот и, правильно,– парировал Пахомий, – у меня звезда Давида, у неё шесть концов.

– Неправильно... неправильно,– упорствовала Маша.

– Разве можно спорить с батюшкой,– сказал подошедший Сеня.

– Можно, можно,– стояла на своём Маша.

– Ладно, ты пока поиграй с Ниночкой, а я с дядей поговорю, – сказал Пахомий ласково, и, вытряхнув из тапочек песок, сел на лавочку. Он не стал дожидаться, пока говорить начнёт гость и начал говорить сам.

– Что, душа страждет? В груди теснота и нет тебе покоя ни днём, ни ночью?

– Ваша, правда, батюшка,– ответил Сеня.

Сеня раньше попов не сильно жаловал. Мог и анекдотец какой – никакой загнуть, или побасенку пересказать. И всё это, пока душа не заболела.

– Да я сам знаю, что моя,– ответил Пахомий не заносчиво, а даже как-то, по-свойски, просто.– Только и тебе, и мне этого не надо – чтобы была только моя правда. А вот, чтобы правда Божия и на мне, и на тебе, и на многих других почивала, нам это очень даже необходимо.– Так ли?– спросил он, испытующе и выжидательно глядя на Сеню.– Ты вот сегодня на кладбище ходил! Почему?

Услышав о кладбище, Сеня вздрогнул,– «На конце села живёт, а уже знает», – подумал он.

– А я тебе скажу, почему – правду Божию ты искал. Потому что, иное - правда Божия, а иное - правда человеческая. Тебе вот новопреставленная бабка Татьяна сказала, а ты не поверил. А ведь через неё тебе Господь тайну открыл.

– Что ж, помру значит скоро?– опешил Сеня, вспомнив слова бабки Тани – «Это тебя Господь к себе зовёт»

– Не к смерти Господь тебя позвал, а к жизни, потому и болезнование в душе имеешь. Потому и вопросы себе не простые задаёшь. Достигает значит тебя царствие небесное,– Пахомий перекрестился,– только человек в это царствие сам должен войти.

На верёвочке, как бычка, туда никто и никого не ведёт.

– Что ж у меня там ворохтается?– спросил Сеня, указывая на грудь.

– Сердце там, Семён. Сердце - центр всей человеческой жизни и центр души, А душа во всём человеческом теле находится сразу. Нельзя сказать, что в груди она есть, а в мизинце на ноге её уже и нет. А если сердце заболевает, то и душа заболевает, а значит и человек весь болен.

– Так кардиолог сказал, что сердце в порядке, – недоумённо пролепетал Сеня.

– То плотяное сердце, вещественное, а внутри этого сердца другое сердце имеется. Общение с Христом совершается прежде всего в этом сердце. В этом сердце человек и с Богом соединяется...

– Это что «Место встречи изменить нельзя» что ли?– пошутил Сеня.

– Нельзя, выходит... Духовное сердце – центр нашей личности, это престол Божий, это тайна. Это нечто, где действует нетварная энергия Божия.

Батюшка помолчал, повздыхал, перекрестился, – вот в тебе, что-то заворохтелось и ты в панике, что? Как? Откуда взялось? Ведь не было ничего, врачи болезни не видят, патологии нет, а «оно» есть, так?

– Всё так, – проговорил Сеня, пытаясь проникнуть в сказанное, – я корвалол пил – не помогает.

– Истинная жизнь течёт в глубоком сердце, и эта жизнь сокрыта не только от людей, но и от тебя самого. Это сердце не подчиняется законам природы, оно превосходит всё земное. А ты, – кор-ва-лол. Данное свыше корвалолом не вылечишь.

– А как же мне, батюшка, быть? – оцепил Сеня.

– Подобное лечится подобным.

– Что же подобное?

– Бог.

И вдруг, батюшка Пахомий соскочил с скамейки и с криками, побежал вокруг песочницы, изображая ястреба, который хочет утащить цыплят, которых наделили девочки. Маша и Нина захлопали в ладоши, замахали руками, пытаясь защитить цыпляток от коварного хищника, но батюшка, изловчившись, всё же схватил одного цыплёнка и, поднеся его к Сене, сказал, бойся, чтобы тебя вот так же не утащили.

С тех пор прошло три года. Отца Пахомия похоронили рядом с часовенкой. Эту часовенку, почти до конца, срубил Сеня. Рубил после работы в поле, рубил в холод и зной. Ему никто не помогал, но и явно не мешал. Зато к часовне приходил каждый

день отец Пахомий и наставлял Сеню, что и как должно быть. И если Сеня сетовал на нехватку материалов, то старый священник говорил: «Ты только верь, Семён, и всё будет, тебе даже и просить ничего не придётся. Верь, ведь это так просто».

Рубил часовню Сеня один, а вот класть верхние венцы и крыть крышу народу прибавилось. Пришёл с топором шурин, за ним пришли два сына бабушки Тани Фёдор и Артём, отец Маши и Нины, пришёл с того конца деревни, даже не зная, что здесь собралась целая артель.

– Нам такие длинные как раз и нужны, – пошутил Сеня, увидев Артёма. – Стойку как будем ставить – он её, в аккурат, и поддержит.

Перед тем как установить крест, на крышу стали поднимать стойку. По сути, стойка – это хорошо вытесанное бревно. Его поднимали верёвками.

– Ещё разок! Ещё взяли! – командовал Фёдор, ловко орудуя вагой и направляя комель в засеку. Наконец – нижний конец заправлен и начался медленный подъём. И в то время, когда стойка почти встала на своё место, то есть, заняла вертикальное положение, случилось ужасное – одна из растяжек лопнула и стойка, потеряв равновесие, накренилась и стала падать на стоящих внизу людей. «Поберегись! – кричал Артём, видя со стороны, как стойка падает прямо на братьев. Он, перепрыгивая длин-

ными ногами через доски, бежал к мужикам, понимая, что не успеет и что несчастье неминуемо. А что он мог сделать, разве только свою голову подставить.

Стойка падала медленно и тяжело. Сеня был на самом верху, он видел падающую стойку, видел внизу мужиков, на которых она падала, и бегущего к ним Артёма. Сеня не мог кричать, спазма перехватила горло и он только сипел. Но вдруг, когда до мужиков осталось не больше метра, стойка круто изменила направление, как будто её кто оттолкнул рукой, и упала в стороне.

– Я же видел! Я видел, что она падает на вас! – кричал и радовался Артём. Если бы не видел – не поверил бы. В это время из-за угла часовни появился с палочкой в руке отец Пахомий.

– Батюшка, – кинулся к нему на встречу Сеня, – стойка чуть мужиков не зашибла!

– Так ведь не зашибла же, – проговорил он, и добавил, – пока строятся часовня и церковь – никаких несчастных случаев не будет.

– Отец Пахомий умер зимой в крещенские морозы. Похоронили его около часовни. Николай и Сеня вытесали ему хороший дубовый крест. А через неделю на могилку пришёл Сеня и прибил дощечку с надписью:

«Верьте, ведь это так просто».

Подошёл Николай, спросил:

– Что ж, не имени ни отчества? Не по-людски как-то.

– Всё по-людски, имя его и так никто не забудет, а то что говорил, могут и забыть.

Через неделю он принесёт ещё одну табличку и прибьёт её рядом с первой.

О церкви в селе, пока не говорят.

Роботно

(рассказ)

У маленькой Ксюши нет Мама. Вернее она есть, но об этом взрослые не знают. Они думают, что они её закопали в могилке, поставили крестик, затем собрали поминки и всё. Нет, не так. Просто взрослые в этих случаях, похожи на совсем ещё маленьких детей, как Рита – её маленькая сестрёнка. Вот та действительно ещё ничего не понимает. Ей два года, она умеет говорить и набивать себе шишки и делать царапины. С ней постоянно возится бабушка. Рита её любит и завёт мамой. Глупая, она даже не знает, что это не мама, а мамина мама. И когда Ксюша говорит сестрёнке, что она глупая, то бабушка ворчит и поправляет: «Нельзя так говорить о сестрёнке. Она не глупая, а глупышка». Только какая разница между словами «глупая» и «глупышка» Ксюша не знает. Она вообще многого не понимает в жизни взрослых. Например, не понимает почему с ними не живёт отец, а ведь раньше, когда была жива мама, он был вместе с ними. Теперь он приходит раз в неделю, а то и реже, приносит какую-нибудь

игрушку Рите, спрашивает: «Как дела» у Ксюши и разговаривает с бабушкой.

Они, обычно, общаются на кухне, плотно закрыв за собой дверь. Однажды дверь не была плотно закрыта и Ксюша услышала, что речь шла о какой-то Веронике. Бабушка сидела за столом, обхватив голову руками, а отец ходил от двери к окну, не переставая курил и говорил:

– Вы, Елизавета Терентьевна, просто не понимаете. Вероника хорошая женщина, она любит детей, но ей просто не повезло, ошиблась.

– Это ты называешь словом «ошиблась», – перечит бабушка, – Кукушка она, вот и всё. Не повезло видишь ли ей. А мне, значит, зятёк дорогой, повезло по-твоему? Двое на моих руках, мал – мала меньше, а ты хочешь на мою шею, – и она, закрыв лицо руками, заплакала. Когда она плакала, отец ещё быстрее начинал ходить по комнате, тыкал сигаретой в пепельницу и говорил:

– Я вас прошу потерпеть ещё чуть – чуть, всё образуется. Мне должны дать хорошую работу, естественно, зарплату. Вы же не хотите использовать первый вариант? Вы же этого не хотите!?! – Дверь плотно закрылась. Больше Ксюша ничего не слышала кроме отдельных слов: «больница», «операция», «выплаты», «собес», «опекунство». Кроме слов «больница» и «операция», других слов девочка не знала.

О чём они говорят – Ксюша не понимала. Не знала, кто такая хорошая Вероника? И почему её называет бабушка кукушкой. У Ксюши есть книжка с разноцветными иллюстрациями и в ней изображена кукушка. Это птица, в небольшую полоску с рябинкой. «Наверное, Вероника, так одевается похоже», – подумала она, – и ещё у кукушки хвост длинный. Бабушка то же говорила про какой-то хвост, ничего у взрослых не понять. Но после таких разговоров ей очень хотелось увидеть эту самую загадочную Веронику.

«Наверное, на ней папа хочет жениться? – решила Ксюша, – а бабушка недовольна, вот они и спорят». Сделав такой вывод, Ксюша перестала вслушиваться в разговор и направилась в другую комнату к Рите. Рита тихо играла в кроватке с пластмассовым попугаем, увидев сестрёнку, протянула к ней ручки и запрыгала от радости.

Ксюша подошла к Рите и, обняв её, проговорила так как обычно говорит бабушка: «сиротиночка ты моя сиротиночка! Горе ты моё горькое!»

Мама у Ксюши, умерла полгода назад. После родов, она долго болела, часто лежала в постеле и лёжа кормила Риту. Ксюша тоже любила лежать вместе с ними и слушать всякие истории, которые рассказывала мама. Она была очень добрая и ласковая. Ксюша и сейчас помнит её руки и глаза. Вот и теперь, когда Ксюша засыпает, то чувствует, как эти

руки гладят её по голове. Этого прикосновения она ни с чем не спутает и потому ей больше всего нравилось засыпать... в это время приходит мама. Ксюша это чувствует, хотя этого и не видит. Но, она видит её, когда мама сидит у окна и что-то шьёт, но почему-то никогда не произносит ни одного слова. Ксюша наблюдает за ней из-под одеяла и молчит. Однажды она громко позвала её «Мама! Мама!» И это, как она поняла, маме не понравилось, она повернула к дочери лицо, приложила палец к губам так, как когда просят молчать, взяла со стола Ксюшино платье, и, покачав укоризненно головой, вышла в другую комнату.

В это время вошла в комнату бабушка с Ксюшиным платьем. Она повесила его на спинку стула.

– Баб, а ты не видела маму?– спросила внучка.

– Нет, не видела,– проговорила бабушка,– сегодня мне ни один сон не приснился.

– А ты разве сейчас с ней не встретишься, когда шла сюда?

– Нет, лапочка моя, не встретишься,– и бабушка испуганно приложила ладонь ко лбу внучки.

– А где ты взяла моё платье?– допытывалась девочка.

– Где ты его положила, там я его и взяла.

– А где, где?– уточняла Ксюша.– Но Елизавета Терентьевна посчитав, что внучка озорничает, не ответила и ушла на кухню.

«Странно,– подумала Ксюша,– бабушка её не видела, а ведь они должны были с ней обязательно столкнуться в прихожей. И потом, почему мама не разрешила звать её? Это было загадочно. Почему мама таинственным образом приходит в детскую, что-то делает с её платьем и при этом её в доме никто не видит, потом - это был не первый приход матери. Она приходила и раньше, поправляла одеяльце на сестрёнке и уходила, только тогда Ксюша думала, что это ей всё снится. И она иногда рассказывала бабушке про эти появления, но как про сон. А теперь, оказывается, что это не сон. И мама совсем живая... да-да... живая, только не живёт вместе с ними, а приходит, и у неё светлое и спокойное лицо и ничего не болит. Она ей сама однажды сказала: «У меня, дочка, ничего не болит, я здорова, только я не могу быть с вами».

В понедельник бабушку увезла скорая помощь, у неё сердце. Ночью с ними ночевала соседка, подруга бабушки, утром она разговаривала с кем-то по телефону и долго плакала. С кем она говорила по телефону? – Ксюша не знала. А через некоторое время пришёл отец. Он вполголоса разговаривал с соседкой, говорили о похоронах и поминках.

В комнатах, после смерти бабушки, повисла тягостная тишина. Даже Рита и то присмирела и потихоньку играла со своим пластмассовым попугаем. Соседка от них почти не уходила, она хлопотала на кухне, часто всхлипывала и говорила вслух: «Что же это такое, совсем осиротели, вот и Лизоньку Бог забрал. Думали, что она ещё поцыкает. Кому нужны чужие дети!?» – из кухни слышались вздохи и бряканье посуды. Когда соседка чем-нибудь была недовольна или расстроена, она всегда брякала посудой. К вечеру приехал отец. Он сказал соседке, что квартира продана и они переезжают.

Начали упаковывать вещи. Их упаковывали целый вечер, а утром к Ксюше пришла мама, пришла в последний раз. Больше она её, кроме как во сне не видела. Мама села рядом с девочками на софе и долго смотрела на них любящими и задумчивыми глазами. Рита проснулась и тоже уставилась на маму. Мама погладила её по головке и обращаясь к Ксюше сказала: «Будешь приходить ко мне на могилку, ладно». Ксюша ничего не успела ответить, как образ матери стал светлеть, светлеть, пока не разошёлся в воздухе как дым от папиной сигареты и его не стало.

Квартира, в которую они переехали, была больше той, в которой они жили с бабушкой, и эта квартира была в новостройке, на самом краю города. Рядом строились ещё дома, фыркали самосвалы,

отвозя грунт и привозя кирпич, скрипели, поворачиваясь, башенные краны, светились огоньки сварки. Ксюша подолгу наблюдает с девятого этажа за строителями. Папа ходит и радуется тому, как он удачно продал две квартиры и приобрёл вот эту. Ксюша его радости не разделяет. Ей вообще не нравится и этот дом, и это место, и визгливый лифт за стеной. Ей не нравятся эти дурацкие обои, дурацкая люстра и вообще ей хочется домой.

Рита домой не хочет, она весело играет в новой детской и ей всё нравится. «Глупышка, – подумала Ксюша и улыбнулась ей, как могла, – ты радуешься потому, что ещё совсем ничего не понимаешь. Не понимаешь, что мы больше не увидим бабушку и не услышим звякающей посуды рассерженной соседки. Мы много чего не увидим из прошлой жизни. И ещё, она – Ксюша не увидит мамы, потому, что она сюда просто не придёт. Ведь она же сказала – «Приходите ко мне на кладбище». А где это кладбище? Ксюша не знала. Может быть, надо ехать за три-девять земель, как в сказке. Спросить отца, она не решалась, а кроме него Ксюша никого не знала.

В окно она видела, как бегают во дворе ребята, но ей во двор не хотелось. Ей хотелось сидеть в комнате и чтобы к ней никто не приставал ни с советами, ни с расспросами, ни со всякими жалостями. В ней, вроде, всё окаменело внутри, и она,

подойдя и обняв сестрёнку, произнесла: «Сиротинушка ты моя, сиротинушка!»

Они приехали во второй половине дня. Они – это кукушка, то есть Вероника и двое мальчишек. Один был возрастом как Ксюша, а другой постарше. Они сразу стали ходить по всем комнатам, ковыряться в носках, и радоваться, говоря: «У нас теперь будет отдельный туалет и ванная комната и собственная спальня». Они совершенно не замечали девочек, ходили как хозяева и когда буквально натолкнулись на них, то вытаращили глаза и премного удивились: «Откуда такие?». Это были их сводные братья. Но Ксюша этого слова ещё не знала.

Кукушка, то есть, Вероника, наоборот, оказалась очень приветливой и разговорчивой, и совсем не была похожа на ведьму, которая «увела папу из семьи и лишила девочек счастья», так говорила бабушка. Но Ксюша не любит её. Она не любит её ещё больше за милость и приветливость. Ей кажется, что «милость» и «приветливость» стали причиной ухода отца из дома. И чем она была проще и ласковей с девочками, тем сильнее ненавидела её Ксюша.

А однажды она попросила отца сходить с ней на кладбище к матери. Отец согласился. В воскресенье они пошли на кладбище, оно оказалось не слишком далеко, можно даже было не пользоваться городским транспортом. Они пошли всей семьёй, хотя Ксюше этого и не хотелось. Ксюша думала, что

они сходят вдвоём и мечтала об этом, а тут: мальчишки с криками носятся по каким-то свалкам, залазают на гаражи, Вероника их ругает. Рита едет у папы на плече, а Ксюша идёт сзади. К ней никто не пристаёт и ей ничто не мешает запоминать дорогу.

Нет, это не было посещением кладбища. Это была экскурсия, с вскапыванием холмика, с покрашенной низенькой оградки вперемежку с бранью на мальчишек.

На следующий день она убежала на кладбище одна, никого не предупредив. Она повыдёргивала все цветы, что были посажены рукой Вероники и когда ярость улеглась, то упала на холмик, обняла крест рукой и дала волю слезам. Ксюша не хотела плакать, слёзы текли сами и она, выплакавшись, немного забылась. В дремотном состоянии она увидела как мать ходит вокруг могилки и собирает разбросанные Ксюшей цветы. «Мама, не надо!– хотела крикнуть ей девочка, – это всё она, она!» – но губы не слушались её, а мать всё поднимала и поднимала брошенные недораспустившиеся георгины и они неожиданно в её руках расцветали ярким необыкновенным цветом.

Ксюша не заметила как стал накрапывать дождь, и только после того как платье её промокло, она вдруг ощутила озноб, но встать не встала. «Лучше я умру здесь,– подумала она,– и буду как мама

приходить уже к Рите, ведь она помнит меня и любит, а меня никто не любит».

– Да вот же она!,- раздался прямо над её ухом женский голос,- плащевку давай, продрогла вся! – Вероника быстро стащила с Ксюши промокшее платье, укутала её в свою кофту и, прижимая к себе, понесла.- Девочка моя!- повторяла она, целуя Ксюшу в плечи и руки,- Господи, да что же это такое! Почему столько горя и ей одной!? Да какое же сердце всё это сможет вынести!? Девочка моя, не виноватая я перед тобой, крест поцелую, Богом поклянусь, если хочешь!? Взрослые куролесят, а детям достаётся. Господи! Как же это!?

Утром Ксюша проснулась, когда солнце было уже высоко. За перегородкой слышался неразборчиво голос отца. Его перебил голос Вероники:

– И когда вы успокоитесь? Мой первый счастье где-то ищет, ты доискался, что без слёз не взглянешь.

– Верунь, ну хватит тебе, всё успокоиться никак не можешь...

– Это ты дочь чуть не потерял, а меня успокаиваешь. Кто кого успокаивать должен?

– Почему ты ей не объяснил, что когда мы встретились, ты уже давно был в разводе? Молчишь! Ну, молчи, а я молчать не буду, я вот прямо

сейчас пойду и всё ей объясню. Послышались шаги.
Ксюша прикрыла глаза

– Не спишь ведь!– сказала Вероника, по-матерински, присаживаясь на край постели.

– Не сплю,– согласилась Ксюша. Только мне не надо ничего говорить, ладно.

– Ты всё слышала?

– Нет, мне мама сказала...

– Девочка моя... Как это?

– Просто... Сказала и всё. Там на кладбище. И я на вас ни капельки не сержусь. Просто обидно.

– Правда! А почему обидно?

Ксюша ей не ответила.

Саратов. 2007.

Солнышко играет

(рассказ)

Нет, это необыкновенный день, это замечательный день. Только вчера была пасмурная погода и жена Сергея Сергеевича Лена не знала куда себя деть. Она ходила по комнатам, обвязав голову платком, потому что та с утра трещала и под глазами были синие круги, а отёкшие веки на треть закрывали глаза. Ещё вчера, а вчера в Великую субботу было ещё и Благовещенье, она допекала со своей свекровью Полиной Ивановной куличи, готовясь к светлому воскресенью, и они обе то и дело склонялись над ведром с тестом, потому что было важно знать подошло оно или не подошло. В это время Старый кот Мусус свалил чеплашку с мукой и они немного расстроенные, не зло, а нравоучительно роптали на старого кота.

Полина Ивановна говорила:

– Эк, оказия! Глаза что -ли повылазили у старого, взял и забурдюжился сам не знает куда. Только вчера всё выскребли и на тебе.

– Мама, мама!– раздался из смежной с кухней комнаты голос снохи,– Чундрины не звонили?

– Не звонили, а что?

– А Жирновы не звонили?

– Да нет, никто не звонил.

– Странно, как будто все вымерли. Завтра Пасха... и никто...

– Давай раскладывать по формам, хочется по телевизру схождение святого огня на гроб Господень посмотреть.

– А что, он ещё не сошёл?

– Не сошёл, уже десять минут прошло, как дверь в куликвию закрыли, а огня пока нет,– озабоченно сказала свекровь.

– Может и не сойдёт?

– Что ты! Не сойдёт – это конец света. В самое последнее время огонь не сойдёт, а после этого миру конец.

– Страхи какие!

– Я Косте велела перед телевизором сидеть и следить; как огонь сойдёт, чтобы позвал.

– А кота тряпкой надо было проучить, чтобы не забывал.

«Мама, бабушка, огонь!»– раздалось из зала и обе, сноха и свекровь, не успев вытереть от теста руки, устремились к телевизру.

Всё это было вчера, а сегодня, с утра проезд заполнили люди. Сегодня самый долгожданный день в году – Пасха. Такое количество людей на проезде бывает только в этот день, потому, что через проезд – самая прямая дорога к кладбищу и по нему идут и идут люди. Идут по одному, вдвоём и целыми семьями, неся в руках и за спиной, набитые до отказа съестными припасами, сумки и рюкзаки. Кажется, что весь город сегодня собрался выехать на кладбище, оставив пустыми многоэтажные дома.

Что дома? Что улицы? Разве можно сегодня сидеть дома!? Солнце с раннего утра льёт на землю благодатный свет и хочется его лучи щупать руками. Люди подставляют под солнечные лучи бледные лица, и солнце лижет их тёплым языком. Хорошо! Божественно хорошо...

– Полина Ивановна! Вы идёте с нами на кладбище?– Суровцевы уже ушли. – Раздаётся за переборкой голос.

– Нет, я иду в церковь.

– А кладбище как же?

– На кладбище идут сын со снохой.

Вы значит разделились?

– А как же. Мы Пасху празднуем каждый по-своему. Я в церкви – они там. Когда жили в Малой Крюковке, то в этот день на кладбище не ходили, в яйца вся деревня играла на лужайках у домов.

Всё правильно – мы идём на кладбище... так оно и есть. Мы на кладбище, а мать в церковь, очень хорошо. У нас разделение. Мы без этого никак не можем. Нам надо обязательно поврозь. Потому что ей в церковь надо, а нам на кладбище требуется. Ладно, не будем отменять установившейся традиции. А где сумка? Ах, да – вот она. И чекушка в ней?

– И чекушка тоже.

– А Суровцевы значит уже ушли?

– Переделкиных я сам видел, как пошли, и кто-то ещё с ними.

– Может быть, родня приехала?

– Может быть и родня. Всё равно могилки рядом, там увидимся.

И вот, мы уже в потоке идущих и едущих людей. Едущих – это громко сказано. Легковушки без числа стоят тут и там вспарывая воздух клаксонами, и ни с места. Тронется какая-нибудь, прожужжит два метра и снова стоп. На людей-то не поедешь. И стоят эти автомашины, как изюм в кутье. Некоторые отчаявшиеся водители прижимаются к бордюру, запирают своих коней и вливаются в общую пешую массу. Только пять минут назад сидели они в авто распаренные и красные от возмущения, а то вдруг уже улыбаются и плывут, плывут по течению людской реки.

Сергей Сергеич старается держаться чуть левее, чтобы не проскочить поворот и вот он уже на пригорке среди родных могил. «Здравствуйте!– говорит Сергей Сергеич,– Христос воскрес!»

– Христос воскрес!– говорят ему знакомые и незнакомые, старые и молодые люди и все они улыбаются. Христос воскрес!– несётся в тёплом апрельском воздухе, разносится вширь и, когда на земле уже нет места – устремляется в небеса и через некоторое время эхом возвращается на землю и в нём слышится: «воистину-у-у воскрес-е-е-е!!!»

Сергей Сергеич устраивается около могилки, снимает с головы фуражку и подставляет лысину под благодатный поток света и тепла. «Христос – воскрес; Христос – воскрес» – выстукивает сердце. «Христос – воскрес-,- слышит он в собственном дыхании: «Хри-стос» – вдох и выдох – «вос-кресе» –вдох и выдох. И снова: «Хри-стос» – вдох и выдох, «вос-кресе» –вдох и выдох.

Сергей Сергеич и моя жена стоят около оградки и слушают свои сердца. Наконец, после небольшого отдыха, сердце сменило ритм и заработало более спокойно и он слышит уже на вдохе – «Хри,- и на выдохе,- стос»; на вдохе –«вос,- и на выдохе,- кресе».

– Какая здесь благодать – говорит Елена Ивановна,- воздух – дышать хочется. Слышишь – воробьи в терновнике чирикают?

- Бога славят
- Серёжа! Серёжа! Они тоже чирикают: «Христос – чирик, воскресе – чирик.»
- Умница ты моя, заметила.
- А как же, с гордостью говорит жена, – вот уж, заметила.
- Домовые воробьи всегда в этот день так чирикают.
- Правда! А другие звери и птицы как же Христа славят?
- На счёт всех, не знаю, а воробьёв мы слышим.
- Чудно всё устроено, – говорит жена и блаженно улыбается. – Вон и солнышко играет. Видишь, как играет солнышко.
- Сергей Сергеич посмотрел на небо и зажмурился от яркого свечения. Он ничего не увидел но поддакнул.
- Да... да... Точно играет, – говорит он. – Вот здорово.
- А Чундрины уже стол накрывают.
- Сергей Сергеич! Христос воскресе, – послышалось рядом, – это Чундрин Константин Константинович. Они всегда встречаются с ним здесь.
- Вы один?
- Вдвоём...
- Ах! Да! Христос воскресе, Елена Ивановна. Не распознал, старческий склероз.

– Нет, Константин Константинович, не склероз, не склероз. При старческом склерозе, а глаза влюблённо-но-го!, – сойдя на игривый тон, сказала жена и погрозила Константину Константиновичу пальчиком.

– Что ж, милая, такой день; такой день. В общем, я зачем пришёл-то – прошу к нашему шалашу! – и он сделал широкий жест рукой.

– А вы уже прославили Христа перед вашими умершими? – поинтересовалась жена Константина Константиновича, когда мы подошли к их могилке.

– Они уже всё, Танечка, сделали, – пропел рядом Константин Константинович, – и мы тоже, нам остаётся только подняться на двадцать шагов выше, вон к той берёзке.

Там уже скатерть самобранка накрыта, внучка там о нас заботится, – потёр ладонь об ладонь Константин Константинович.

На бугорке, под берёзой, где ещё не было захоронений, на молоденькой зелёной травке, которая, смело лезла из земли, была расстелена под цвет травы плащёвка и на ней уже громоздились яблоки, соленья, варенья, окорочка. Главным же украшением стола были крашеные яйца. Ах! Что это за чудо – крашеные яйца. Это, можно сказать, особое чудо света. И как только люди не исхитряются украсить этот символ праздничного стола.

На этот раз яйца у Чундриных были расписаны Городецкой росписью. Бутоны райских цветов смотрели на нас с золотистого фона и весёлые люди сидят за пасхальными столами и улыбаются нам и приветствуют нас.

– И кто этот народный художник?– спросил, усаживаясь на рыбацкий раскладной стульчик Сергей Сергеич.

– А это Мариночка, внучка наша, расписала,– вставила жена Константина Константиновича, довольная тем, что изюминка стола замечена и оценена.

– Прошлый раз вы Хохломой радовали, сегодня Городец, а потом Урало-Сибирскую, думаю, надо ожидать?– спросил Сергей Сергеич.

– Если освоим, Сергей Сергеич, если освоим,– певучим голосом ответила Татьяна Ивановна.– Мариночка только учится. Наперёд говорить не будем. Присаживайтесь, пожалуйста. Вот два пенёчка, а на них дощечка. Правда, здорово! Константин Константинович так сообразил.

– Мы с собой тоже кое-чего принесли, – и Елена Ивановна стала выкладывать на стол приготовленную дома снедь.

– Ай, да красавицы, ай да умницы,– заулыбался Константин Константинович, увидев бутылку виноградного,– своё? С выдержкой? Или купленное?

– Обижаете...
– Да нет, всё в норме.
– Давай, открывай и по одной с дорожки.
– Марина! Марина! Ты куда запропастилась?
– Я здесь, мама.
– Куда ты поставила салат? Я чего-то его не вижу.
– Он под полотенцем!
– Ах, да, вот он. Да подождите вы с рюмками.
Вот, мужичьё...

– Татьяна Ивановна! Елена Ивановна! – мы ждём.

– Только вам и делов, что ждать...– Елена Ивановна! Они, оказывается, нас ждут... Что-то незаметно.

– Так-с, может кто-то чего-то скажет?... Сергей Сергеич! Может быть, вы?– обратилась Татьяна Ивановна.

Сергей Сергеич не стал себя уговаривать и, глядя на янтарный напиток, сказал:

– Я бы выпил... за надежду. Иисус Христос дал нам надежду, не так ли? Ведь чем отличается этот праздник от всех праздников в году? – верой в то, что мы не умрём, а воскреснем. И все здесь лежащие воскреснут.

– Bravo!.. Сергей Сергеич!

– Я ещё не окончил.

– Не перебиваю... не перебиваю...

– Я бы хотел выпить и за них. Ведь не зря же мы пришли сюда, правда?

– Сергей Сергеич! А говорят, на Пасху на кладбище не ходят, – проговорила Марина, – грех это.

– Вопрос понят и принят. Мы, Мариночка, старое поколение. Нас приучили власти справлять праздник тайком, то есть здесь. На кладбище ходить не запрещали, а насчёт церкви вопрос. Так, что люди шли сюда не плакать, а разделить свою радость с родными, друзьями и умершими; ведь у Бога все живы. Вот мы сейчас разве плачем? – нет, а ведь мы на кладбище. Грустить бы надо, ан- нет. Мы улыбаемся, и, Слава Богу.

– Посещение кладбища на Пасху, стало некоей традицией, – поддержал Константин Константинович, – поначалу даже вынужденной. Может поначалу, во время гонений, и была какая-то скорбь, я не знаю, наверное была, а потом это переросло в радость Светлого Воскресения. Да и потом мы же православные, нам ли убиваться об умерших! Это, по большому счёту, не по-христиански даже и в обычные дни. Мы скорбим, да, скорбим, но наша скорбь светла...

– Не знаю, – тихо проговорила Марина, – вроде всё хорошо и всё прекрасно, а чего-то не так. Вот Полина Ивановна пошла в церковь, почему? Значит её радость другая, нежели у нас?

– Мариночка, не забивай головку,– буквально пропел Сергей Сергеич,– тебе ещё замуж выходить. Ох, уж эта молодёжь.

– Нет, правда,– сказала Марина,– вот, когда я расписывала яйца, у меня были иные чувства и восприятия, сердце прыгало. А сейчас просто радостно и всё.

– У Мариночки сильно развито художественное воображение.– Ответил Константин Константинович,– у всех художников так. Повышенная, так сказать, эмоциональность.

– Мама, разрежь кулич, страх как кулича хочется.

– А я хочу отведать Городецких бутончиков, – проговорила весело Елена Ивановна, любуясь цветами на яйце.

– Господа, друзья, товарищи! Ещё по одной, а то покойнички обидятся.

– Ты, Константин Константинович, придержи коней,– встряла Татьяна Ивановна.

– Да, побойся Бога, Танюш, всё чисто символически. Мы скоро все здесь будем...

– А я не хочу умирать,– проговорила Марина, обнимая ствол берёзы и прижимаясь к нему щекой,– пусть люди живут долго-долго и я с ними. Ведь так хорошо вокруг, зачем эти могилки?.. Вы как хотите, а я не могу понять, каким образом вос-

креснут наши тела? Вот у меня болит коленка, она что, так и потом будет болеть? После воскресения.

– Как раз это очень просто, – спокойно и размеренно ответил Константин Константинович, – человек не воскреснет в том теле, какое имеет сейчас. Это дебелие тело он получил в результате грехопадения. Человек воскреснет в том теле, в котором был создан – ангелоподобном, а это тело превратится в землю, вот и всё, а ты говоришь, коленка у тебя болит.

– Прекрасно говоришь! Очень хорошо говоришь! – поднялся Сергей Сергеевич. – Люблю! Это так витиевато, со знанием дела. Вот так, раз, бац – и никаких сомнений в воскресении. Всё просто. Это гениально...

За бугорком слышались мелодичные распева. Мужской голос пытался взять нужную ноту, но срывался и начинал снова.

– Петя на кладбище!? Сделала круглые глаза Татьяна Ивановна.

– Сегодня не только можно, но и нужно петь везде, особенно на кладбище, – сказал Сергей Сергеевич, но договорить не успел, – из-за ближайших оградок, появилась взлохмаченная голова рыжего мужичонки, который держал в одной руке половину бутылки пива и пытался, что-то сказать кому-то, но у него это не совсем получалось, потому как был из-

рядно выпивши. Через пару минут он достиг нашей лужайки, остановился, посмотрел на сидящих затуманенным взором и сказав «Христос воскрес», тут же бухнулся рядом на траву.:

– Я Славик. Я не нарочно, я не хотел. – Проговорил он заплетающимся языком. – Меня почему-то ноги не совсем слушаются. А вообще мне хочется сказать, что и вы и я, и все кто здесь есть, люди, хорошие люди. Хорошие, и всё. Мы просто хорошие, но не верующие. Это может быть немножко неприятно, хочется считать себя верующим, хочется быть на высоте... Я слышал о чём вы говорили, я лежал вот за этими кустами, но это нас не оправдывает, ни вас ни меня. Вы вот очень хорошо говорили, про Пасху, и про всё это самое. А я вам скажу мы не Христиане, мы не христиане, а крестоносцы. Крестоносцы все здесь, а христиане в церкви, верующие на Пасху сюда не пойдут. Я извиняюсь премоно. Я слабый человек. Я грешнее вас всех, потому, что я понимаю, но я самый несчастный здесь из всех, что я знаю и я пьяный, и я здесь... Но, Господь, может быть, просветит и наши души, и я не буду сидеть на могилке и пить горькую. Господи, прости меня! – и он залился пьяными слезами, – окаянный я! Господи! Не хочу я на себя такого смотреть. И вы не смотрите, зачем вы смотрите на слабость человеческую. Мне, может быть, дано больше чем вам всем... А, я!?... Ух!.. Ненавижу я себя. Сколько раз

давал я себе зарок, на Пасху ни-ни. И опять я здесь, грешный и несчастный, – он сидел и тихо плакал.

Марина подошла и стала платочком вытирать Славику лицо.

– Не тужите, Господь всё уладит, – говорила она нежно, – я понимаю вас. Вы слабый человек, но в отношении к самому себе вы честный человек.

– Золотые слова, – проговорил Славик, – дай я тебя поцелую, – и он чмокнул Марину в щёчку, и заговорил снова. – Не жалейте меня, потому, что я не достоин жалости... Мне надоело сидеть и я пошёл посмотреть, а все ли радостны и все ли довольны!? Вот вы довольны и радостны? Может быть, у вас чего-то нет? Я принесу. Чего вам принести? Могу курицу, жена вчера тушила... могу кулич...

– Ты себя жене принеси, – улыбаясь, сказала Татьяна Ивановна.

– Нет, себя я принести никуда не могу, – помотал мужик головой, – кстати я - Славик. Славик и всё, без отчества. Хотя отчество есть. В общем, должно быть, я сейчас вам скажу, если конечно вспомню... Ладно, Славик... – это проще. И если у вас всё есть, то я не буду вам мешать и пойду провожусь к другим. У них, может быть, не всё есть...

Он попытался встать, но это у него плохо получалось и он снова падал. В этот момент из-за кустов окации появились две молодые крепкие женщины.

– Вот она – радость наша, – проговорила одна из них и легко подняла Славика с земли.

– Да не швыряйте вы меня, что я вам сделал? – проговорил Славик. Я просто хотел людям помочь.

– Вы, извините его, если что не так, – сказала вторая женщина и, подхватив Славика с другой стороны, они втроем стали спускаться с бугорка.

– Я хотел помочь людям понять себя и меня тоже. – Говорил Славик удаляясь. – Я хотел... – Дальше чего он говорил было уже не разобрать.

Народ гуляет, – сказал весело Константин Константинович, и наполнил рюмки доверху. А, вобщем, по большому счёту, он прав, хотя и пьян.

– Не надо обращать на пьяного внимание, – сказала Татьяна Ивановна.

Кладбище шумело. Кое- где поднимался синеватый дымок от костров, на которых что-то подогревалось, или жарились шашлыки. Дымок устремлялся в лазурное небо и тут же смешивался с другими дымками, плывя по воздуху и переноса от могилки к могилке, от одной кучки сидящих к другой, пряные ароматы. Чудно устроен мир. Чудно устроены люди. Промыслительная благодать разливается в поднебесье. «Хри-сто-с воскресе»-, шелестит над головой ветерок, «Хри-сто-с воскресе», - пробегает по стволу берёзы до самой макушки и слышно как напудренная мятными ароматами береста тихо-

хонько насвистывает праздничную мелодию, под звон которой оглушительно с треском и шумом лопаются берёзовые почки, и дурманящий аромат молодой зелени словно пыльца обволакивает дерево и нас, и близлежащий холм, и туманом стелется до самого горизонта. «Пасха, пасха, пасха» – шуршат под дёрном в земле скромные её обитатели, выползая наружу и вдыхая живительную ясность. И где-то на горизонте по мосту через Волгу идёт тепловоз и слышно перестук его колёс и как гудят рельсы, и как бьёт в толще земной прохладный ключ. Нет ничего удивительного в этот день и нет ничего невозможного.

– Нет, праздник совершенно удался,– говорит Константин Константинович, пытаюсь шагать в ногу с впереди идущими, но тут же сбивается, и отирая шею платочком говорит, – Со-вер-ше-нно, очень даже совершенно. Давненько мы так отлично не сживали, можно сказать с прошлой Пасхи.

– Иди ровнее, не мотыляйся по дороге,– говорит ему укоризненно Татьяна Ивановна.

– Люби меня хо-ро-ша-я!.. Люби меня кра-са-ви-ца!– вдруг ни с того ни с сего запел Константин Константинович.

– Постыдись людей, «красавица»,– урезонила его жена.

– Пусть поёт, мама,– вступилась за отца Марина.

– И правда, пусть,– поддержала её жена.

Народ, как полноводная река, уже тѣк и тѣк с кладбища по тем же улочкам и переулкам и изумлённые собаки смотрели сквозь штакетник и не лаяли, и только словоохотливые воробьи, перелетая с одних кустов на другие, росших на обочине, с весёлым гомоном сопровождали подгулявшую толпу.

– Одно слово - Пасха, – сказал дед Антип, сидя на лавочке щуря, подслеповатые глаза и вслушиваясь в затихающий гомон праздничного дня.

Саратов, 2007.

Андрюша

(рассказ)

Андрюша – это мальчик, лет пяти- шести, с полными щёчками, выразительными карими глазами, одетый в зелёный комбинезон с начёсом. На круглой голове его красуется фуражка с длинным козырьком. Он важно и деловито ходит с лопаточкой около большой кучи земли и то и дело тычет ею в кучу, пытаясь то -ли вырыть ямку, то -ли почерпнуть рыжего глинозёма. Капроновая лопаточка, рассчитана на песок, и потому не может сделать ни того, ни другого. Малыш кричит, приседает, пыжится. Но вот голова его от тёплого весеннего солнышка вспотела, он сдёрнул с головы фуражку, обнажив упрямый затылок, а затем и всю лобастую голову с немного оттопыренными ушами.

Сообразительный мальчик вскоре понял, что орудие труда его крайне несовершенно, нашёл тут же в куче земли что-то наподобие длинного гвоздя и стал им ковырять. Рядом с кучей земли зияла большая яма, которую только что выкопал ковшом трактор «Беларусь». Он выкинул последний ковш

земли, поднял опорные лапы и укатил, заботливо урча мотором.

Через дорогу от кучи выкопанной земли виднелся ряд новых захоронений. Многие могилы были без оградок. Покосившиеся кресты, от проседания оттаявшей земли, сиротски торчали из земли. Красно – рыжие холмики тут и там были усыпаны увядшими цветами, да от небольшого ласкового ветерка шелестели листьями зелёные искусственные венки. Здесь ещё нет никаких насаждений, хотя через дорогу уже поднимается молодой лесок. Без насаждений могилки выглядят сиротливо.

На одном из таких красно-рыжих холмиков лежит молодая женщина. Она намертво схватила оттаявшие комья земли широко раскинутыми руками. Растрёпанные русые волосы скрывают лицо, а плечи её то и дело вздрагивают от всхлипов. Иногда она тихо причитает, часто повторяя одну и ту же фразу: «На кого же ты нас оставил?»

По всей видимости, это мать хозяйственного карапуза, которого зовут Андрюша. Андрюша продолжает ковырять землю, совершенно не обращая внимания на мать и нисколько не надеясь на помощь.

Что произошло с ними - Бог ведает. Ясно только одно, что в могилке, над которой убивается женщина, схоронен очень дорогой ей человек и, по видимому, муж. Женщина же пришла, чтобы вы-

плакать горе. Она живёт сейчас только памятью о нём и отдаётся скорби вся без остатка.

– Ну, поднимайся, милая, поднимайся, – слышался рядом участливый женский голос. С дороги свернула пожилая женщина и, подойдя к могилке, стала поднимать лежавшую. Та, почувствовав, что о ней заботятся и сострадают, буквально завывала, хватаясь за оттаявшие комья земли.

– Сядь..., сядь, – вот на дощечку, – уговаривала плачущую старушка, – не гоже на сырой земле валяться, так можно простудиться и болезнь какую подцепить. Ему не поможешь, из гроба не поднимешь, а тебе здоровье ой, как ещё пригодится. Всё образуется, милая, Бог он всё видит и обязательно поможет, ты в этом не сумлевайся.

– Ы-ы-ы-ы, – тянет молодая, – никто ещё оттуда не вышел, никто не воскрес. Закопали и всё...

– Мёртвых ещё Бог не судил, а живых он к себе постоянно призывает. Живым надо воскреснуть, милая. Хотя и мёртвые то же могут.

– Правда? – спросила молодая с надеждой.

– Конечно, правда, в мире всё было... У меня, милая, было горе немереное. Думала, что горше его и не бывает, ан... нет – живу и жизни радуюсь. Да так радуюсь, что до горя этого такой радости и не знала.

– Бог, Бог! Где же он был ваш Бог, когда моего Серёжу убивали? Что же он с неба смотрел и паль-

цем не пошевелил, чтоб человеку помочь?— и она вновь залилась слезами.

На темы христианской философии и домостроительства, с ней было говорить бесполезно. Сейчас она воспринимала мир только с высоты своего горя и старушка это поняла.

– И-и-и-и ник-то ничего не видел,— продолжала причитать молодая,— дело закрыли, а свидетелям рты заткнули. Шесть человек свидетелей, шесть и никто не пикнул, вы понимаете? Кого задарили, кого запугали... А его задавил пьяный, крутой, прямо на пешеходном переходе, при горящем зелёном свете светофора, средь бела дня.

– У вас, кто здесь, муж? – спросила старушка. – Плачущая кивнула и снова завывала.

Эту женщину, давили два горя: горе потери мужа и горе властвующей несправедливости. И если с первым она, понемногу смирялась, то второе полностью обладало её душой. Мозг женщины требовал возмездия. Видя, что дело развалили, она хотела тогда сама наказать убийцу и даже был подходящий случай в милиции, в коридоре, когда её в очередной раз вызвали к следователю.

В коридоре был ремонт, и она помнит лежащий гвоздодёр и идущего мимо ухмыляющегося убийцу. Мысль у неё сработала моментально, остановить её никто не мог, до гвоздодёра было три шага и пять шагов до уходящего врага. Она хорошо

помнит его бритый затылок и мясистые маленькие уши на большой голове. Почему она тогда этого не сделала? Зло должно быть наказано. Почему в тот благоприятный момент для мести у неё отнялись ноги и она, кусая губы от ярости, опустилась на стул, пожирая взглядом удаляющийся затылок. Да, мозг и сейчас продолжал требовать справедливого возмездия и, опустошённая горем душа, не находила в себе сил бороться за справедливость, не могла она освободиться и от гнетущей тяжести – потери близкого человека. Всё было больно, куда не ткни – везде рана.

– Как зовут- то тебя, милая? – спросила старушка, когда женщина, сидя на дощечке, немного успокоилась.

– Мария, – послышалось в ответ.

– Вот и хорошо, вот и прекрасно, а меня Валеёй зовут, Валентина Михайловна, – добавила старушка, видимо, сопоставив возраст. Обе немного помолчали. – Ты, Мария, на Бога - то не надо. Он поругаем не бывает. А вот о себе и о сынишке подумать требуется, законы жизнеустройства никто не отменял. Эвон, какой у тебя богатырь! – и она кивнула на Андрюшу. В это время тот перестал копать и пристально посмотрел на мать и на незнакомую тётю. – Скажи - как тебя зовут?, – обратилась Валентина Михайловна к мальчику.

– Андрюша,– произнёс тот, чётко выговаривая каждую букву.

Похвала сыну подействовала на Марию и она сквозь слёзы улыбнулась.

Мальчик улыбнулся тоже, отчего на его щёчке образовалась небольшая симпатичная ямочка. У Валентины Михайловны спёрло дыхание – как же он был похож на её сына в таком же возрасте: большой лоб, безмятежный взгляд, и эта ямочка на правой щёчке... У сына была точно такая. Валентина Михайловна усилием воли справилась с нахлынувшим на неё чувством и сказала:

– Запомни, Мария,– у тебя есть сын, это всё. Тебе есть, для кого жить.– Тут она запнулась, губы у ней задрожали. Мария почувствовала, что у новой знакомой тоже проблема. Она поняла, что с её сыном тоже что-то случилось. И, возможно, в этом возрасте.

– Вы, глядя на Андрюшу, вспомнили своего сына?– спросила Мария.

Валентина Михайловна кивнула,

– Да вспомнила, его тоже звали Андреем и он был как две капли похож на твоего сына.

– Вы потеряли сына в этом возрасте?

– Да нет, мой вырос, а в 20 лет его не стало,– и добавила,– сердце остановилось.

– Может быть, внуки есть? – участливо спросила Мария.

– Он не был женат.

– Так и что, что не был, а вы бы друзей поспрашивали. Современная молодёжь, она ведь другая, у неё всё проще.

– У Андрея не было проще, у него было всё сложнее,– задумчиво ответила старушка и добавила,– да, я интересовалась, спрашивала, на меня глаза квадратные: «Что? У Андрея? Вы своего сына, мамаша, не знаете». Только я знала своего сына, очень хорошо знала, но мне очень хотелось и я не удержалась. Девственником он был, девственником и скромником,– заключила она.

– Да, страшно вот так. А если б был внук или внучка, это уже другое дело...

– Нет, так было бы всё просто,– сказала старушка,– а Господь ведёт нас своими путями, он нас испытует и показывает нам, как надо... Если бы было так, был внук или внучка, то было бы всё очень просто. Я бы сейчас на это не согласилась.

Мария, подумав, что Валентине Михайловне этот разговор неприятен, спросила:

– Вы сейчас уходите?

– Не, не ухожу,– старушка отрицательно покачала головой.

Она никогда не уходила с кладбища рано. Она приходила, как и некоторые её знакомые, на весь день. Её самые счастливые минуты жизни были

здесь, на кладбище. Сначала, после смерти сына, она была здесь по велению скорби. И эта сила была столь велика, что буквально приковывала Валентину Николаевну к надгробию. Ей казалось, что свет померк и жизнь остановилась. Ничто не радовало её, ничто не могло взорвать её улыбку.

«Жизнь кончена, – думала она, – зачем она мне, совсем одинокой и несчастной. Разве теперь я нужна в этом мире? Зачем этот мир? зачем в нём я?» – думала она. А потом, потом стало всё не так. Да, счастливые минуты жизни, были здесь, на кладбище, они переместились сюда из страшного в неудержимом беге города и мира. Здесь можно было полностью отрешиться от него с его страстными законами выживания и страшным оскалом зубов наживы и выгоды. И потому кладбище – это был её мир, её пансионат для отрезвления души. «В общем, кладбищенское пространство, этим и ценно, – думала она, – что делает человека более свободным и разумным. Люди в мире похожи на взмысленных коней, которые тяжело водят боками и испуганно фыркают, когда их ведут в конюшню. А там, в тёплой конюшне, в стойле они, уткнувшись мордой в колоду, будут стоять, успокаиваясь и мерно пережёвывая овёс».

Валентина Михайловна улыбнулась этим мыслям и этому случайно пришедшему на ум сравнению. Это сравнение было немного грубовато, но

другого в голову не приходило. Потому, что слово «конюшня» ассоциировалось с большим количеством неубранного навоза, это был литературный штамп, берущий своё начало с Авгиевых конюшен. Но родные могилы не были стойлами. Для умерших это было место последнего земного приюта после странствий; а как для живых?

С живыми было сложнее. Если не для неё, а для Марии, то это было место пока не успокоения, а тяготы. Если же для неё – то она перешла через этот пресловутый рубеж - и для неё кладбище стало прибежищем страждущей души. Оно для неё оказалось началом новой жизни. Кладбище, в какой-то мере, стало горнилом переплавления её страстей. Это место опаляло их и переплавляло до тех пор, пока последние не переставали нести в себе разрушительное начало. Нет, её страсти, как присущие человеку, от его грехопадения, совсем не исчезли и не могли исчезнуть, они стали другими. И в меру их перерождения и переориентации менялась сама Валентина Михайловна.

Не все страсти меняли вектор своего движения сразу. Одни, опалённые страданием души, меняли направление движения моментально, другие долго не хотели сдаваться и мучили Валентину Михайловну, но, в конце концов, постепенно уступали.

Полностью ли перегорели её страсти? - она не знала. Предполагала, что ещё не полностью. Одна-

ко, что-то в ней в корне изменилось. Не мир стал другим - добрее или злее,- а она стала другой, она переменялась, а, следовательно, переменялось и её отношение к миру. Нет, Валентина Михайловна не стала на него зла или равнодушна к нему... Она смотрела на мир как на больной организм, которому необходимо лечение и одна из процедур оздоровления человека в миру, это пребывание на кладбище.

Ещё Валентине Михайловне пространство над кладбищем виделось в виде некой стеклянной, невидимой трубы, которая доходит до самого неба, где живут ангелы, архангелы, силы и власти, где находятся души умерших и души угодников Божьих. Что два мира: этот - видимый и тот- невидимый соприкасаются именно в этой точке, называемой кладбищем. Что, именно, по этой трубе приходит за кладбищенскую ограду аромат потустороннего мира. И она была твёрдо уверена в том, что, бывая здесь, она иногда слышит ангельское пение и даже небесные церковные звоны. И от этих звуков у неё всегда было сладостно на сердце. И она радовалась уже тому, что так чудно устроен человек, что так промыслительно чудно устроен мир, даже тому, что сын ушёл из жизни девственником и глубоко верующим человеком. Сейчас это было самым главным, а не то, совсем не то – оставил после себя сын потомство или нет? Это было не только не важно,

это была чисто мирская мыслительная категория и о ней Валентина Михайловна даже и не вспоминала. Она и себя не вполне ощущала земным жителем, потому как с каждым днём она всё больше и больше отдалялась от мира с его мирскими страстями и медленно переходила в мир с думами уже надмирными.

«Сын там, – ликовало её сердце, – он с Богом, – ликовала давно укоренившаяся мысль, – я люблю это кладбище, – стучало в висках, – я люблю этот мир, который рано или поздно придёт сюда в виде успокоившихся людей и это будет торжество правды, в которой нет ни зла, ни зависти, а есть только любовь и желание созидать эту любовь».

Валентина Михайловна жила в этом новом для неё мире, сотканном из новых ощущений, и вполне была им довольна. Андрей с Богом – и это было для неё самым главным. Об этом и священник говорил, когда отпевал. И теперь ей хотелось, чтобы и она была с Богом, и миллионы других людей.

– Что Бог не делает – всё к лучшему, – говорила она про себя, и потеря сына, когда он с Богом, для неё было же не потерей, а великим приобретением, за которое она уже должна благодарить Господа. Но, как это объяснить Марии? Как освободить её голову от тех скорбных мыслей, которые когда-то пленили и её, пленили так, что не хотелось жить. Наверное, для этого нужно время, просто время,

живя в котором, ты не должна уповать только на свои силы, но более всего подчиниться промыслу и уповать на безграничную Господнюю любовь ко всем, живущим на земле.

Валентина Михайловна уже привыкла смотреть на все события, происходящие вокруг неё, с позиции веры. Это было очень удобно, потому как православие давало ответы на все вопросы. И если что-то сразу не укладывалось в голове, то потом, это что-то, обязательно давало о себе знать, и ответ находился сам собой. Нет, это происходило не потому, что в религиозном плане на него не было ответа, а потому, что человек не мог принять этот ответ, потому как не был готов к его приёму.

Валентина Михайловна прекрасно помнит своё душевное восприятие всего, когда она была в мире и жила для мира, то есть она помнила суету и вечное стремление к тому, что сейчас в её понимании не стоило и ломаного гроша. И она помнит ту бурю мирских низменных страстей, которые охватывали её и волокли подалее от божественной правды. И потому, она очень хорошо понимала Марию с её жизненными интересами. Её нужно было просто успокоить, чтобы страсти несправедливости, потери, боли перестали в ней бушевать, ибо организм мог просто не выдержать накала страстей.

– Жизнь твоя, Мария, на этом не кончилась, – говорит Валентина Михайловна. Она не кончится ни сегодня, ни завтра, ты ещё очень молодая. Пока ты меня не поймёшь, пока ты просто поверь моим словам. Почему ты мне должна поверить? Потому как я понесла тоже большую в мире утрату, и я знаю, что говорю. У меня так же разрывалась грудь, а потом оказалось, что жизнь совсем не кончилась, а она только, только начинается. Вот и у тебя, раз Господь тебе дал такое испытание, жизнь только начинается. До этого ты жила по-иному. У тебя была другая жизнь, жизнь летящая на крыльях веры в будущее. Только у будущего этого была граница, а теперь Господь тебя зовёт к жизни не оканчивающейся на кладбище, к жизни без границы.

– «Нет, этого она ещё не поймёт, – подумала старушка, – надо полегче, чтобы это вместить нужно время. Ведь у нее только наступило время выбора: остаться в мире прежнем – колготном, обманном или начать стремиться к другому миру, к миру с Богом в душе. Отдаться в его власть и, живя на земле, служить только ему и думать только о нём».

Валентина Михайловна опять спроецировала эти мысли на себя. Ведь, эта, новая жизнь поглотила её полностью: поглотила её сознание, поглотила её душу и даже тело. И она уже не представляла себя вне этой новой жизни, и она радовалась ей, радова-

лась Богу, ибо он показал ей эту жизнь и она благодарила Бога за внимание к ней.

В материальном плане Валентина Михайловна жила очень скудно. Коммунальные платежи за большую трёхкомнатную квартиру в кооперативном доме съедали почти всю пенсию, и поэтому она очень скромно питалась, не позволяя себе никаких лишних и даже зачастую не лишних расходов. Так ей было необходимо вставить зубы, но она тянула с этим мероприятием.

Валентина Михайловна отказывала себе буквально во всём, чтобы жить в той квартире, где жили они с сыном. Её квартира – это особая история и особое испытание. В жильё старушка вложила все лучшие годы жизни. Она сразу трудилась в трёх местах: В детском садике посменно, на скорой помощи между смен и ещё уборщицей в остающиеся узкие промежутки времени. Тогда, молодая, она очень хотела иметь большую квартиру и потому вкладывалась до последнего. Она мечтала, что сын вырастет, женится и приведёт в квартиру жену и их семейная жизнь – станет и её жизнью. И что это будет одно большое целое, потому и тянула из себя жилы, мечтая о небольшом рае в отдельно взятой квартире.

Но Бог судил иначе. В расцвете сил сын умер и квартира на какое-то время превратилась в укоризну её прошлой жизни, когда она надеялась только

на себя. На Бога она тогда тоже не во всём полагалась, – бурлящий поток жизненных сил заставлял забывать о промыслителе и жизнедавец. Смерть сына была как снег на голову. Старый мир в одночасье рухнул, а новый ещё не народился. Он родился в ней с болью, криком, плачем, а зачастую даже и кратковременным отчаянием.

Эти роды были мучительны. Слезы горя и слёзы радости, то и дело сменяя друг друга, прокатывались по душе. Рождаясь, она видела новое солнце и новые звёзды. И если раньше, до этого рождения солнце и звёзды воспринимались Валентиной Михайловной совсем иначе – это была просто неодушевлённая материя, великолепная в своей бесстрастной красоте, которая радуется глаз, проникает в душу, создавая в ней волны удовлетворения, волны спокойствия, волны мечтательности. Это было тогда хорошо. Да, да! Хорошо ей, но не сегодняшней, а той давнишней, и уже почти забытой.. Она понимала, что её ту и теперешнюю разделяет целая вечность.

И теперь в себе она ощущала волны, и теперь они были в душе, но не катились по ней как встарь, наподобии весеннего потока, а уходили к сердцу, докатываясь, обнимали его и устремлялись в его глубь. И сердце откликалось на эти волны, потому, что волны – это мысли. Чистые, они уходили вглубь сердца и там проникались иным нетварным

светом и как эхо возвращались назад, облагораживая собой всё тело.

Прежние волны могли только стимулировать чувства брэнного тела, но не могли принести им свет новой жизни, свет нового торжества, поднять человека на высоту нового осмысления Господней правды и Божьего величия. И тогда, в прошлой жизни, совсем земной, ей было жалко, что она часто не понимала сына, который уже знал об этом истинном свете и говорил ей о нём, который исходит из глубинного сердца. Но ей, тогда понять сына и увидеть новый свет, было не дано. А теперь она ощущала этот свет и ей хотелось о нём рассказать.

Первым, кому она пыталась рассказать, были родственники. Однако родственники не слушали её, и Валентине Михайловне было обидно, что она знает, а они нет. Впрочем, всё это прошло. Родственники так и остались на своих позициях неверия. Обида сменилась жалостью, а потом успокоением. Это был мир с Богом. Это был её сегодняшний мир, где она каждый раз понимала, что ничего ещё не достигнуто и что всё только начинается.

Так она не могла переступить через себя и решить вопрос с квартирой, хотя уже далеко не как раньше относилась к этой теме. Она по-прежнему не хотела менять большую квартиру на меньшую, чтобы меньше платить, а на вырученные деньги жить. Потому что мир, каким-то своим концом всё ещё

удерживал её. Одним таким удерживающим концом была квартира и это была, как понимала Валентина Михайловна, сохранившаяся, непереплавленная страсть. Она мучила Валентину Михайловну и не отпускала. Вести борьбу с ней было сложно, потому как она всегда напоминала о себе при решении всевозможных дел в квартирном кооперативе. Получалось, как получалось.

Нет, Валентина Михайловна по – прежнему не могла выехать из этих стен и, не потому что эти стены – были её мозолями. Об этом она совсем не думала, а думала о том, что здесь жил её сын и в этих стенах она изменила свой образ жизни, изменила понятие о мире и в этих стенах она впервые почувствовала любовь к Богу. И любовь к сыну, была уже иной, не как прежде. Его комната и беседы в ней с ним о вере, о Боге и душе были дверью в её глубинное сердце. Это через сына в этой комнате ей был открыт новый мир, с иной жизнью и иными ценностями, без знаний о котором и некоторых ощущений, явленных ей, она уже не могла существовать. К этим ощущениям она стремилась, а они появлялись и уходили. Она стремилась – а они ускользали.

Потом эта квартира начала её понемногу тяготить, она сковывала её волю. И Валентина Михайловна стала просить Бога, чтобы он помог разрешить ей этот трудный вопрос наследования. Потом Валентина Михайловна опасалась, что всё новое в

ней, с переменной квартиры, может уйти, а ей не хотелось, чтобы возвращалось старое. Разумеется, она понимала, что это не так, но всё равно рисковать не хотелось.

Она понимала, что без этих ощущений, давно бы превратилась в злую, измученную жизнью старуху, недовольную не только всем окружающим, но и самой собой, утонувшую в бесплодных осуждениях и разговорах о ценах, льготах и тарифах с такими же обездоленными людьми как и она. Да, Валентину Михайловну это тоже интересовало, но это носило несколько отвлечённый характер. Отвлечённый – значит отвлекающий её от главного в жизни, от разговора с Богом. Родные, как и прежде, не понимали её. Сначала, они уговаривали её поступать благоразумно – разменять квартиру, или сделать завещание, чтобы через это получить помощь. Но она отвергла всякие притязания и те решили, что у неё что-то с головой.

Больше всех с ней по поводу обмена квартиры говорила родная сестра. Она, то же была одинокой и свою квартиру подписала на племянницу. Однако, хоть она и решила свой вопрос заранее, но не совсем удачно, потому как племянница считала это тёткиным долгом, а не актом доброй воли. Соответственно, к старушке ехать не сильно спешила и она в свои семьдесят с хвостиком лет со всеми делами управлялась сама, благо пенсия была гораздо боль-

ше, чем у Валентины Михайловны и можно было нанять соседей, чтобы сделать какую-то работу.

Всё это видела Валентина Михайловна и не спешила с решением в пользу племянников, но вывод для себя сделала. Вывод её был прост – нужно, чтобы после неё в квартире жила настоящая крестьянская, то есть, верующая семья. Найти такую семью оказалось не совсем просто. Среди родственников были почти все атеисты. Правда, верующим человеком был её двоюродный брат. Он был весьма одарённым человеком – писал стихи и один из циклов посвятил ей. Но Валентина Михайловна подумала – «не этим ли способом он хочет подобрать ключи к её душе и завладеть квартирой?».

Были у неё кроме родных и хорошие знакомые, искренне верующие люди. Но вера есть вера, а характеры, есть характеры. Сама она решительно не знала, что делать и надеялась только на Бога, что, в конце концов, он разрешит её вопрос. Приняв такое решение, Валентина Михайловна успокоилась и, если ей никто не напоминал о нём, то она сама и не вспоминала. «Пусть Господь сам решит этот вопрос» – жило в её душе, – ему виднее.»

Однако, немало времени уделив непростым душевным устроениям Валентины Михайловны, мы как-то упустили из виду её новую кладбищенскую знакомую – Марию и её прекрасного малыша. А де-

ло здесь принимало трагический оборот. Старушка увидела, что Мария стала морщиться, присела и вдруг ни с того ни с сего повалилась на правый бок. Валентина Михайловна только и могла услышать от неё единственное слово «сердце». Ещё Мария попыталась улыбнуться, но у неё это плохо получилось.

Старушка побежала в административное здание, чтобы вызвать скорую. По дороге ей попала женщина с мобильником и они сумели вызвать неотложку. Когда Валентина Михайловна вернулась к Марии, то та уже ничего не говорила. Андрюша сидел около матери и чего-то у неё просил. Мать не отвечала, и Андрюша просил всё настойчивее, теребя мать за рукав. Валентина Михайловна успокоила малыша и стала ждать врачей.

Скорая приехала на удивление очень быстро. На месте была снята кардиограмма и Марию повезли в больницу. Валентина Михайловна и Андрюша поехали вместе с ней.

Из больницы Валентина Михайловна забрала мальчика к себе. Андрюша не упрямился. Он видел, что с мамой случилось что-то непонятное, её зачем-то оставили у себя люди в белых халатах. Валентина Михайловна накормила малыша и уложила спать. Мальчик долго не мог заснуть, ворочался, а потом попросил рассказать сказку.

Почти целую ночь Валентина Михайловна не спала. Она, то молилась о Марии, то сидела около Андрюши, смотрела, как он чмокает во сне и вспоминала своего сына. И, в какое-то время, ей даже показалось, что это её сын и что нет на свете никакой Марии.

Когда они с Андрюшей пришли на следующий день в больницу, Мария под действием лекарств ещё спала, и им не удалось с ней поговорить. Валентина Михайловна попросила врача, что когда проснётся Мария сказать ей, что с мальчиком всё хорошо. Дома Андрюша играл в старые Андреевы игрушки, ползал под столом, изображая из себя паровоз, и называл Валентину Михайловну бабушкой.

– Ах, ты, моя радость, – говорила Валентина Михайловна, – а сама думала о том, что хорошо бы, если бы это был её внук и что эта женщина оказалась её не состоявшейся снохой. Эти мысли ею настолько завладели, что от них ей даже не легко было отказаться. Она, встречаясь с Марией в больнице, боялась задать свой непростой вопрос. Там в больнице она и встретила с другом мужа Марии, который и рассказал Валентине Михайловне историю её подопечной.

Они оказались беженцами из Таджикистана. Там, в Таджикистане, осталась их квартира и всё нажитое. Здесь они жили на квартире у него, у

школьного товарища, который сам с семьёй ютится в однокомнатной.

Через месяц Марию выписали. Они втроем сели в старенький «Москвич» друга.

– Поедем ко мне,– сказала Валентина Михайловна.

– Не понял,– сказал водитель и вопросительно посмотрел на Марию. Та молчала.

– У неё бабушка наплась,– сказала старушка,– вот к бабушке и поедем, так, Андрюша?,– и она крепко прижала мальчика к себе.

Саратов, 2007.

Улыбчивый Саня

(рассказ)

Никто не знал, где он жил, куда уходил и откуда приходил. Но на городском кладбище он появлялся каждый день. Досужие старушки, завсегда на кладбище, что торгуют перед входом живыми и искусственными цветами, говорили, что у Сани есть комнатка в коммуналке, на краю города, откуда до кладбищенской ограды рукой подать. Потом ссылались на показания кладбищенского сторожа, что он, дескать, знает, что Саня живёт в старом заброшенном склепе под землёй. Склеп пустой, потому что в революцию большевики, дабы отомстить уехавшему за границу генералу, вытащили его родственников из склепа и бросили кости на поругание. Кости потом захоронили отдельно, а склеп остался незаселённым. Рассказывали и другие байки. Байки байками, только Саня в одно и то же время появлялся среди могил и не было ни одного человека, посещавшего кладбище, чтобы его не видел.

Саню все, из часто посещающих кладбище, любили и обязательно приносили для него еду,

одежду или обувь. Саня не был похож на закоренелого бомжа. Иногда ему из одежды что-то и было не по росту, но всегда имело чистый вид и сам он был ухоженный и постоянно весёлый. Глаза его так и светились радостью и источали доброжелательство к кому-бы то ни было.

Бывало Саню кто-то и ругал в горе, по злобе, дескать, чего ты щеришься, когда у людей несчастье и даже замахивались на Саню, а он всё равно улыбается и старается помочь. Его так и прозвали – «Улыбчивый Саня».

– Ты бы, Саня, всем-то не улыбался, небесная твоя душа. Люди-то разные, со зла и зашибить могут, – говорили ему, жалеючи, старушки.

– Небушко на всех дождь проливает, и на злых, и на добрых, – отвечал Саня. – Под этим дождичком и пырей, и пшеничка растёт.

Он никогда не отвечал прямо, а всегда выражался туманно. И ещё Саню, хоть он и целый день был на кладбище, нельзя, например, попросить полить на могилке цветы. Проси не проси – не сделает. А обязательно сделает то, чего не просишь.

– Ты чего, Саня, такой строптивый? – спросят. А Саня размахнёт в стороны руки и скажет: «Кладбище ух, какое большое, а Саня вот какой маленький!» – И присядет, показывая какой он маленький; дурачок да и только.

– Некоторые махали на него рукой и говорили:
«Чего с обиженного Богом возьмёшь!»

Я тоже знал о существовании Улыбчивого Сани, но как-то, близко с ним сталкиваться не приходилось. И вот однажды судьба нас с ним свела, и я после этого изменил к нему отношение. Было это в июле. Пришлось мне ехать в рейс на грузовике, километров за двести, везти бетонные блоки. Следом должен был подойти автокран, чтобы эти блоки сгрузить. А тут соседка: «Завези, да завези к моему мужу на могилку сумку». А в сумке краска, растворитель, цветочная рассада, инструмент; в общем набралось. Женщина пожилая, нелегко ей с тяжёлой сумкой по автобусам и троллейбусам мотаться. Я согласился завезти и спрятать сумку в растущих около креста розах. В общем, это по-моему – розах. Очень уж похожие на них, только выются, точного названия их я не знаю. В общем, взял сумку – повёз. Выехал рано, впереди путь неблизкий, а тут надо на кладбище заскочить, хоть и по пути, но всякое бывает.

К кладбищу подъехал ни свет ни заря. Иду по аллейке. Утро ясное, на небе ни облачка. Солнышко уже над деревцами поднялось. Лучи его молодые, сильные легко просвечивают всё вокруг. Странно, но даже листва для них не помеха. Лучи не обтекают листья и ветви, а проходят сквозь них, оставляя на

земле призрачные тени с узорами и прожилками, и кажется, что эти лучи уходят дальше в землю, проникая до самых подкопов, и играют тенями трав на лицах усопших. А если хорошо присмотреться, то высоко в небе можно увидеть порхающих ангелов. Их крылышки трепещут и серебрятся в бирюзовом пространстве и не каждая птица может достигнуть этой высоты. Потому что это не дано многим птицам, а только голубям, которые поднимаясь и кружа, устремляются в бесконечную высь и достигают того, чего не возможно человекам. Ей, Господи! Ей! Хорошо, чудно во владениях твоих под утренним светилом. А ещё лучше вот здесь, в месте свиданий, где, временное встречается с безвременным, старость с молодостью, тленное с нетленным.

Могилку нашёл сразу. Положил сумку в заросли цветов, так чтобы не было видно, травой ещё немного прикрыл и хотел, было уже идти назад к машине, как увидел Улыбчивого Саню. Идёт Саня по дорожке, рыжая кудрявая голова его с веснушчатым загорелым лицом горит ярким букетом и кажется, что это не Саня, а пылающий костёр движется среди могил, то пропадая за памятниками, то возникая вновь. Лицо у Сани восторженное, глаза горят и сам он, какой -то воздушный и будто по земле совсем не идёт, а плывёт над ней, перебирая ногами в верхке от ярко зелёного подорожника и, конечно, улыбается.

Нет, вы не знаете Саниной улыбки! Даже если б я и очень постарался, то всё равно не смог бы вам её описать, и даже если бы за это дело взялись и более талантливые писатели, а не я грешный, и даже корифеи литературы прошлых эпох, то и они изобразили бы только вялое подобие того, что она на самом деле из себя представляет.

На вид ему было лет тридцать пять, сорок, не больше. У него не было настоящих усов и бороды. Их заменял белёсый пух, который как бы случайно клочками прилепился к лицу Сани и при небольшом ветерке сразу отлипнет и одуванчиком полетит, полетит, затем взовьётся в крещёную высоту и исчезнет.

Я смотрю на Саню во все глаза, а сам непроизвольно нагибаюсь за розы, чтобы он меня не заметил. Почему прячусь – не понимаю. Саня подходит ближе. Я уже отчётливо вижу его развевающуюся клетчатую рубашку, а оборванные ниже колен синие джинсы заканчивающиеся бахромой ниток. Саня лёгкой походкой, как бы играючи, подходит ближе, останавливается у заброшенной могилки и говорит: «Здравствуй, моя хорошая! Заждалась Саню. Вижу, что заждалась, прости неприкаянного. Понимаю, что долго. А куда же деваться? Домиков неухоженных в нашем городке всё больше становится, а я один. Я вижу, что меня помните, узнали? Вот

и хорошо, что узнали. А я о вас не забыл. Думал «Раньше управлюсь» – не вышло.

Я понял, что Саня разговаривает, то-ли с могилкой, то-ли обращается к усопшим. Понял и то, что он называет могилки домиками, а кладбище – городком.

– Да, да,– продолжал Саня,– очень много домиков без ухода. Люди пытаются меня другой работой нагрузить, а я отказываюсь. Нехорошо это, наверное, грех. А куда же мне бедному Сане деваться? Попросят цветочки полить. Я бы и не против, только смотрю - домик ухоженный, чистый, а на других репы да полынь – вот тут и выбирай. Вот и выбираю, мои родные, полынь да крапиву, так-то,– и Саня глубоко вздохнул, как будто он виноват в том, что не может успеть всюду, начал рвать траву.– И то грех, и вас оставить – грех,– продолжил он,– вот и выбираю из двух грехов меньшее. Так-то...

Мне показалось, что Саня всхлипнул. Скрываться в неудобной позе мне было неудобно, но и прерывать Саниной беседы не хотелось. Я удивился, что Улыбчивый Саня разговаривает то-ли с могилками, то -ли с людьми в них захоронёнными как с живыми. При этом в его голосе было столько нежности, заботы и ласки, как будто здесь под землёй лежат его ближайшие любимые родственники.

– Вы меня знаете,– послышался снова Санин голос,– я хоть и попозже, но приду. Мне главное

было навестить тех, кто здесь недавно. Они ещё наших порядков не знают, обидно им – только прошлым летом захоронили, а они уже стоят в репьях, да в старье. Помню, когда хоронили, народу много было, выступали, хорошие слова об усопшем говорили... и никого.

Сейчас, мои милые, травку подёргаем, крестик поправим, и всё будет хорошо. Очень мне докучают оградки. С одной стороны – вроде бы хорошо. Это когда уход есть. А без ухода – крепость с пиками. И не поймёшь, чего эта крепость здесь охраняет, то ли репы за ней выросшие, то ли холмик? Не понимаю я – этой моды. Люди, право, как дети, новой игрушкой поиграли и забросили. Только ведь могилки – не игрушки. Могилки – это наша сопричастность вечности. И могилки жалко, и людей жалко. Они, вон, меня жалеют. Дескать, Саня бездомный, Саня голодный. И того им не понять, что это не я, а они бездомные, голодные и нагишом. Пропать это, пропать. Редкие её преодолевают.

Вот, мне вчера один говорит, когда я приблизился к оградке с его близкими: «Иди отсюда, бомжара вонючий». Посмотрел я на него и вижу, весь он как будто смолой или дёгтем облитый. На шее крест, а на кресте жаба качается, посмотрел я на домик, а по бугорку змеи шипящие ползают. Жалко его стало, с виду такой солидный, а пропадает.

Тут я пошевелился, стараясь распрямить затёкший сустав и Саня повернулся на шум. Он нисколько не удивился, увидев меня, как делают это застигнутые врасплох люди, даже не перестал улыбаться. Вся его поза говорила: «Кто ты, мил человек? Почему ты вторгся в моё пространство так рано? Почему мне мешаешь беседовать?» Саня распрямился и я прочитал в его позе, глазах, улыбке: «Кто бы ты ни был – я тебя люблю. Ты пришёл сюда рано утром – значит это тебе надо, как и мне. Сюда, просто так, погулять не приходят, Ты мне интересен».

– Я вам не помешал?– спросил я Саню. Он покачал головой.

– А разве здесь может кто-то кому-то мешать?– ответил он вопросом.

– Иногда людям хочется побыть одним...

– Здесь, милый, нельзя быть одному.

– А мы -то с вами одни,– сказал я недоумённо и посмотрел по сторонам.

– Это так только кажется. Видимость.

– Не понимаю...– и я пожал плечами. Саня покачал огненной головой. Мне показалось, что веснушки на его лице вспыхнули. По всей видимости, собеседнику мой ответ не то, что не понравился – он его взволновал.

– А это кто по- вашему?– он показал на могилки.

– Мёртвые,– сказал я и тут же поправился,– усопшие, то есть, уснувшие вечным сном.

– Ну, вот, милый! Рядом спящие, а вы говорите никого нет...

– Да я о том, что вроде никто не видит и не слышит?

Саня медлил с ответом, видимо думая, как сформулировать мысль и вдруг сказал, ни к кому не обращаясь:

– И видят, и слышат и даже, бывает, в наших скорбных земных делах участвуют. Только для одних это бывает явно, а для других прикровенно..., насколько приять могут.

– Как это?

– Тайна это, милый... тайна..., для многих тайна.– Он вздохнул и закончил фразу,– но не для всех.

По жизни я знал, что покойники часто снятся людям, снились умершие и мне. Только мне они снятся просто, а другим даже помогают найти утраченные вещи. Но такие сведения «просвещённому» уму мало чего говорят, о проникновении небытия в бытие. «Просвещённый» ум находит свои ответы на эти вопросы и достаточно убедительные, например: «разве человек не обладает памятью?, Разве он не может всё это вспомнить сам и обставить своё воспоминание всевозможной экзотикой в виде покойников – запросто. Потом, не будем забывать, что

наш ум – художник и нарисовать ему любую картину, даже самую величественную в сознании – дело плёвое. Разве мы в мечтаниях это не делали тысячи раз?»

– Так давайте делом заниматься, – прервал Саня течение моих мыслей, он встрепенулся и, наклонившись, стал быстро рвать траву.

Я не знал, что мне делать. Вот так уйти – было неловко, потом разговор меня заинтересовал, и мне хотелось его продолжить. Потом я выяснил, что Саня совсем не дурак, как считают некоторые, а просто человек с особенным мировосприятием. Говорили, что он не общается с людьми, – а вот говорит и ничего? Потом, что говорил Саня, я уже где-то читал или слышал краем уха. Знания эти были не обстоятельные, а так – вперемежку со многими другими, подчас прямо противоположными по смыслу, что постоянно на нас сваливают газеты и телевидение. И получается, что человек информирован о многом, но толком ничего не знает, его голова стала некоторым подобием мусорной свалки. А, мы знаем – на свалках, с постоянным присутствием там тлетворного запаха, можно найти и бриллиант, но только в загаженном виде.

Как продолжить разговор, я не знал, уйти что-то мешало... Я опустился на колени рядом с Саней и стал рвать траву. Почему я это сделал – не знаю: то-

ропился- но стал медлить, нервничал - но успокоился.

Вдвоём мы довольно быстро управились с делом, после чего Саня, вытер пучком травы руки и сел на скамеечку возле оградки. Я сел рядом. Он заговорил сам.

– Радуйтесь, Милый, радуйтесь.

– Чему же радоваться?

– Очищается ваша душа от нечистот. Слава Всевышнему!

– Не понимаю вас?

– А тут понимать нечего, – питались рожками со свиньями и вот задумались.

– О чём задумался?

– О том, что у вашего Отца в доме много еды.

Я стал догадываться, что этот кладбищенский «бомж», знает то, о чём я не знаю. Это сквозило в его улыбающемся взгляде, интонации и даже движениях.

– Понимаю, – ответил я. Хотя, откровенно говоря, сказал это больше по инерции, чтобы не образовалось в разговоре пустоты и неопределённости. Люди иногда так делают, откладывая на потом обдумывание непонятных им фраз.

– Понимать, мил человек, мало, – сказал Саня.

– Понимать – это первая ступенька. Потом же, понимать всё невозможно, хотя многие силятся. Вон, какие компьютеры насоздавали, натолкали в них

массу информации, залезай, ройся и набивай себе голову всем чем угодно, рассовывай по карманам, клади за пазуху. Нагрузится человек этим добром, и встать от тяжести не может, зато слывёт просвещённым интеллектуалом... Тьма это египетская... тьма.

– Почему тьма?

– Потому, что это похоже на то, что оказался человек в степи, а идти куда, не знает, нет указателей направления. А из этой степи можно и в тундру выйти, и в пустыню угодить и в непроходимую тайгу.

«Я только что размышлял об этом»– подумал я,– чувствуя как в моей душе нарождается некое смятение чувств, переходящее в подозрительность. Я понимал, что Саня своими репликами и вопросами подталкивает меня к принятию самостоятельного вывода. Какого? – «У Бога все живы»? Возможно. Хотя мало-мальски верующий человек это знает. Да и неверующий знает, если совал нос чуть подальше общеобразовательной школьной программы. Но я сказал то, что сказал:

– «У Бога все живы» Саня.

– Это вы верно сказали...– Саня помолчал,– я тоже раньше так думал,– сказал он непринуждённо.

– А теперь, что... так не думаете?

– Нет, теперь тоже иногда приходит такое в голову, но я стараюсь об этом не думать.

– Почему так?

Саня окинул меня изучающим взглядом. Видимо он думал: «Пойму ли я его? И, насколько глубоко можно со мной рассуждать по этой теме?»

– Потому, что когда человек думает – он пытается познать. В какой-то степени он пока полностью не познал, то находится в некотором сомнении. Он постоянно себя убеждает и этим самым вьёт гнёздышко собственной веры.

– А если гнёздышко свито, или почти, что свито?

– Если гнёздышко готово и туда положено семя веры, то тогда мысленная суета отвлекает. А чтобы она не отвлекала, то к ней надо приложить дело, что мы сейчас с вами и сделали.

– А откуда берётся семя?

– Вы это спросили просто так... – проговорил Саня и добавил, – это семя даёт Бог и вы это знаете не хуже меня. Семя веры даётся, но возвращает его в себе сам человек и гнёздышко для него вьёт сам. Поэтому и свивание гнёздышка и возвращение положенного в него и хранение есть великая человеческая тайна. – Саня замолчал и уставился взглядом в одну точку. Руки его на коленях обвисли, голова склонилась.

– Почему вы мне это говорите? Это ведь ваше, личное?

Саня покачал отрицательно головой:

– Уже не личное..., уже и ваше тоже.

– Ой! – встрепенулся я,– мне же ехать надо. Впереди двести вёрст.

– А ты не спеши,– проговорил Саня,– у тебя ещё есть время.

– Какое время,– проговорил я вставая.– У меня груз, там люди ждут, крановщик!

– Ну, ну,– сказал Саня,– поезжай коли торопишься, только крана тебе часа два придётся дожидаться.– Мы расстались.

Так и произошло. Кран по дороге попал в аварию, правда сильно не пострадал, для него царапины, а вот легковушка, что в него врезалась, своим ходом уже не поехала.

Встретились мы с Саней ещё раз, уже осенью. Я пошёл на кладбище к племяннице и там встретил Саню. Мы кивнули друг другу. Саня, как всегда, улыбался. Но улыбка его при встрече со мной, была, как мне показалось, более доверчивой.

– Так вы, дождались крана,– сказал он. И в его словах было более утверждения и констатации факта, нежели вопроса.

– А вы как тогда угадали?

– Гадает бабка на кофейной гуще, да только всё мимо.

– Говорят, что вы живёте на кладбище?

– Нам придётся посторониться,– и он кивнул на приближающуюся похоронную процессию. Я по-

смотрел в ту же сторону. К нам приближалось множество народа, слышались звуки траурной музыки.

– Вы так и не ответили на мой вопрос, – сказал я.

– Я живу в городе, – а в нём разные есть дома и разные квартиры и жители в городе разные. Только эти жители кающиеся, а ваши... – он покачал головой, помолчал и продолжил. – Даже на одре редко встретишь кающегося. Вон видишь, несут, – и он кивнул в сторону процессии, – чтоб скорее отделаться, принесли с утра пораньше. С морга привезли, даже домой не заносили.

– Почему не заносили?

– Чтоб покойником не пахло, – бабулька в больнице преставилась. Вон видите двух женщин за гробом.

– Вижу.

– Они раздерутся из-за наследства. Только зря.

– Почему?

– Потому что оно ни на них записано.

– А на кого?

– Есть в процессии одна скорбная душа, что по усопшей убивается, но ей у гроба даже места не нашлось. А ведь только она молилась и будет молиться об упокоении души погребаемой.

Тут процессия поравнялась с нами. Процессия, как процессия – скорбные лица, тёмные одеяния,

редкие всхлипывания. И вдруг шуршащую тишину разорвал голос:

– Улыбайтесь, любезные! Улыбайтесь!

На него зашикали. «Кто это?» – спрашивали неосведомлённые.

– Кладбищенский полоумный, идите, не обращайтесь внимания, – раздался голос кого-то из сопровождавших.

– А чего он взывает?

– Улыбайтесь, господа,...улыбайтесь, – говорил улыбчивый Саня, – ведь день похорон не есть только день скорби, но и радости.

– Пошёл прочь, дурак!, – проговорил, шипя, господин в дорогом костюме, и отодвинул Саню в сторону, загородив его своей широкой спиной. Саня больше уже ничего не говорил. Мимо двигалась нескончаемая вереница людей, а по Саниным щекам текли слёзы, а губы его просто беззвучно шевелились. И по этим шевелящимся губам я понял, он повторял ту же фразу «Улыбайтесь, господа,.. улыбайтесь». Процессия миновала нас и стала удаляться.

– Вот и всё, – сказал Саня скорбно, – сейчас бросят по горсти земли и бросятся делить наследство.

– Вы, Саня, как -то не в тон, – сказал я.

– Ничуть, просто на один домик стало у меня больше.

– А как же скорбная душа? Она что, не будет ухаживать?

– Она умрёт через день, как только станет известно, что всё наследовано ей. Она просто не выдержит этой божьей щедрости.

– Вы как-то об этом просто и даже с улыбкой говорите.

– А это как раз и есть те души, которые улыбаются незримо мне, а я им улыбаюсь в ответ.

Саратов, 2008.

К источнику

(повесть)

1

Я давно собирался съездить на святой источник, но как-то всё не выходило. Мои знакомые уже там были, а я всё откладывал и откладывал. Наконец твёрдо и решительно сказал себе: «Еду» - и уже ничто меня не могло остановить. Зная, что дорога не близкая, заранее приготовил всё необходимое и отправился на автовокзал.

Междугородний автобус мерно шуршит шинами, давая ночную наледь по краю дороги. Из пассажиров кто спит, кто вяло переговаривается или зевает. Я сижу у окна и пытаюсь разглядеть что-либо за стеклом. На улице темно. Раннего утра синь плотно обволакивает автобус. Разглядеть что-либо невозможно, только редко где на трассе набежит кучка фонарей, заглянет в автобусное окно и отпрянет прочь, высвечивая придорожную забегаловку с чопорным названием «Кафе» и снова, фиолетовый полумрак.

Рядом со мной сидит с маленькими усиками мужчина лет пятидесяти и откровенно пытается заснуть. Добродушные губы, на широком лице его потихоньку шевелятся. Сплошь седые волосы придают лицу выражение повидавшего, знающего и много пережившего человека.

«Наверное, какой-то инженер с бывшего НИИ, – подумал я, – чем-то он сейчас занимается?»

Я перестал смотреть на соседа и стал думать о своём. И уж, было совсем забыл о нём, как тот чётко проговорил:

– Что не спишь?

– Не спится совсем, – ответил я ему в тон.

– Вот и мне тоже. Думал вздремнуть, часок-другой пока едем, а ничего не выходит. Я пытался и молитву читать – не помогает. Всё равно в голову лезет всякая всячина и вспоминается то, что уж давно пора забыть и никогда не вспоминать.

– Что так? – спросил я его. Более желая поддержать разговор и этим помочь человеку разговориться.

Было видно, что у соседа лежит что-то на сердце, что ему очень хочется что-то рассказать и никакой сон его от этого не спасёт. Ему нужна была исповедь. А может быть не столько исповедь, сколько желание поделиться накопленным опытом, который он не мог носить в себе просто так. Догадка моя впоследствии подтвердилась, и я, забегаая на

перёд, скажу, что был рад, что Господь свёл меня с этим человеком.

Четыре часа пути пролетели как одна минута. От него я узнал много нового и даже сокровенного. Мой попутчик оказался интересным человеком с весьма не простой судьбой. Нет, он не плавал на подводных лодках, не сопровождал натовские субмарины, не колесил по заграницам и даже рубля лишнего в кармане не имел.

«В общем, проходная личность, – может сказать читатель и отложит повесть, – современный типаж чеховской шинели, скучно. Не могут писать про русских Рэмбо, не-т не могут.» Но я бы не советовал закрывать книгу и втыкаться в телевизор. Право, этот рассказ бывшего человека стоит того.

Звали попутчика Иван Петрович. Он был лет на десять старше меня. И жизненный опыт его был далеко не такой, как мой, хотя я тоже уже повидал не мало. Его опыт лежал совсем в иной плоскости и к любому человеку этот опыт имеет самое прямое отношение. Только об этом я узнал потом, когда мы познакомились поближе.

– А давно ли вы надумали ехать к источнику? – спросил я, чтобы как-то продолжить разговор.

– Я еду к нему не первый раз, – ответил Иван Петрович, – наверное, уже седьмой, если не больше. Знаете, не люблю считать, какая разница. Главное,

что мне там хорошо, и ладно. Приеду на источник, вдохну тамошнего воздуха и жить хочется. Сяду на пригорок – благодать. Так бы и сидел и никуда не уходил. Другие приедут, быстрее окунутся и убегают. А я нет. Зачем ехать, чтоб вот так быстрее, быстрее... Суета у человека в сердце сидит, страсть, вот он и стремится всё ухватить и везде побывать. Это больше на экскурсию похоже. А я... нет.

Иван Петрович пошевелился, как бы пытаюсь усесться поудобнее в кресле, и продолжил.

– Мне главное душу благостью этого места напитать, чтоб, на несколько месяцев хватило. А там я с пенсии опять на поездку наберу и снова к источнику. Так и живу. Я даже, знаете, время в жизни не месяцами и неделями меряю, а поездками к святому месту.– И он посмотрел на меня испытующе, желая знать – интересна мне эта тема или я один из тех туристов, про которых он упоминал? Увидев, что я его с интересом слушаю, продолжил.– Мне соседка говорит искренне и жалеючи:

«Иван Петрович! Что вы себе покою не даёте? Посидите у подъезда на лавочке, как все люди, купите на эти деньги, что прокатаете, колбаски или сыру, и поешьте со своей Еленой Ивановной душе на радость».

А ведь она всё искренне говорит, от души. Только после этих слов, мне соседку жалко становится. Одно в её словах правда, что не баловала ме-

ня жизнь никогда ни сыром, ни колбаской. Принадлежу я к интеллигенции в первом поколении, выходец из деревни. Отец был трактористом, мать учётицей. Особо они ничего в жизни не видели, рвались между колхозной работой и своим хозяйством и меня сызмальства к работе приучали. Уже подростком умел я на селе всякую работу исполнять: косить, запрягать, возить, вилами орудовать, что тебе заправский мужик. А, как ещё подрос, то и пахать на тракторе за отца стал. Он у меня болел, с Великой Отечественной ещё. В первый день войны был тяжело ранен, плен, побег, партизаны, мотострелковый корпус, парад на Красной площади. Пушку он на «Студоре» по Красной площади вёз. Предупредили, у кого машина на площади заглохнет, тот дома в ближайшее время не увидит. Много мне отец чего порассказывал, да не о том речь.

Он помолчал, как бы собираясь с мыслями, а затем таким же ровным голосом продолжил.

– Работал я, значит, за отца на тракторе, когда ему плохо было, подменял. Бригадир разрешал – под отцовскую ответственность. Освобождения от работы участковый врач всё равно не давал: в уборочную или в посевную нельзя, если только, само собой, увезут, потому что умереть может. Пансионаты, конечно, дома отдыха и там здравницы всякие строили, но к конкретному человеку, у которого ни председатель, ни бригадир в друзьях не ходят, от-

ношение было не ахти какое. Сельхозтоваров тогда в свободной продаже почти не было. В колхозе было легче украсть, чем что-то выписать.

Иван Петрович немного помолчал и продолжил:

– И воровали! Сначала люди крали, чтоб выжить, а потом, когда выжили, по привычке стали красть, для достатка. Да, так приохотились, что отучить людей от этого ремесла не было никакой возможности. Это в деревне даже за героизм почиталось, если ты сумел что-либо в колхозе стащить.

– А как же начальство, или сторожа?– спросил я, мало чего понимая в сельском житье-бытье. Иван Петрович понимающе улыбнулся.

– Начальство больно-то никого и не ловило, если уж сам при свидетелях попался, тогда да, пошумят немного. Оно – начальство само воровало, только не ночью, а днём. И сторожа, тоже не с луны были завезены; за бутылку они тебе сами домой чего хошь принесут.– Потом вздохнул, помолчал и сказал,– воровал и я... – Опять помолчал. – И ведь не думали, что это грех великий. Вот до чего люди дошли. Великий грех, за героизм почитали. Зато на каждом столбе было про коммунизм написано, дескать, – вперёд и он – этот коммунизм, не за горами, а чуть -ли не на соседней улице, только до нас не дотопал. Тогда я в политике ничего не понимал, а думал, что этот коммунизм какой-то воровской полу-

чается. Чем больше воруют, тем ближе светлое будущее.

Помню, по ранней деревенской жизни своей, дедушку – благообразный был старик, с белой бородой и усами – Георгия за Первую мировую имел. Я только и помню, как он иногда пред иконами молился. Иконы у нас в переднем углу на полочке стояли. Такой был иконостас небольшой, со шторками из тюля. Иисус Христос там был, Богородица да Николай Чудотворец. Иконы были старые, тёмные. Едва можно различить, что на них было изображено. Подобный иконостасик почти в каждом доме имелся.

Дедушка был малограмотный и кроме как Боженька накажет, и что он всё видит с неба, я ничего от него не слышал. Мои родители в религиозном отношении тоже были безграмотны, хотя праздники православные чтили, о них помнили. К Пасхе всё уберут, вычистят, полы аж жёлтыми становятся, и всем в этот день было радостно. В церковь не ходили, церковей просто не было. Божий храм был один, в областном центре за семьдесят километров. Его родители посещали раз в год, когда на базар ездили, и то не всегда удавалось, а потом и ещё реже стали в нём бывать.

Ещё праздновали престольные праздники. В близлежащих деревнях были когда-то свои приходы, а значит и свои престольные праздники существ-

вовали. В этих деревнях жили родственники, вот и съезжались друг к другу повеселиться да самогонки попить. О молитвах и речь не шла. Их больно- то и не знали. Одна молитва была у взрослых в ходу: – «Господи, помилуй», – когда беда какая надвигается, да: « Богородица, спаси нас». Я и не думал тогда, что это молитвы. Но видно в сознании народном что-то ещё теплилось, не всё дьявол умыкнул у людей. Не всё, не всё злодей выкрал и по ветру пустил... Вот супостат...

Я и моя сестра - Аннушка среди сверстников, наверное, были самыми религиозными, потому как знали величальное «Рождество твоё Христе Боже наш...». Выучить- то я молитовку выучил, а о чём в выученном говорится – я толком не знал. Особенно меня смущали волхвы, которые со звездой путешествуют. Кто такие волхвы, откуда они? А звезда, думал, у них прикреплена на длинном посохе. Знал я в то время совсем другое – за пропетую эту песнь денежек или конфет давали больше, чем сверстникам, которые читали следующее:

Я маленький мальчик,
Сел на диванчик,
Открывайте сундучок,
Вынимайте пяточок.

Росли мы с сестрой крещёнными на дому. В церкви никогда не были и о причастии или об исповеди ничего не знали. Родители нам этого не гово-

рили, наверное, из опаски, что по глупости кому-нибудь расскажем.

Да что там говорить,— Иван Петрович махнул рукой,— на всю деревню один псалтирь был. По нему по покойникам читали. Евангелия не было, а если у кого и было, то о нём молчали и никому его не показывали. Даже, как мне потом стало известно, от детей родных, воспитанных в школе на идеях марксизма- ленинизма, эту книгу прятали. И допрятались до того, что бабушка умерла, а куда она книгу положила, никто не знал, так и не нашли.

Да если б и нашли, что толку, по церковно-славянски читать никто из молодых уже не мог. Так, что и единственный псалтирь скоро стал не нужен. Эту книгу просто клали рядом с покойником на столик около зажжённой свечки, вот и всё. А потом и эту книгу куда-то задевали и стали обходиться вообще без неё.

Помню, раньше ещё на поминках свечку за покойного ставили, а потом к ней прибавился стакан самогона, покрытый куском хлеба. Скажете, не так?— обратился ко мне Иван Петрович.

— Всё так,— подтвердил я, вспоминая поминки с этим же злополучным стаканом самогона.

— Дело дошло до того,— продолжил он,— что забыли каким концом и куда в могилу гроб ставить. И это ни с кем-нибудь происходило, а со мной. Соб-

ственного отца привезли на кладбище. В деревне уж ни одного дома, а кладбище стоит. Так отец пожелал, чтобы его на этом кладбище похоронили. Привезли, гроб стоит, а те, кто пришёл проводить в последний путь, спорят: «куда должен покойный головой лежать, на запад или восток». В космос летали, а хоронить разучились. Вот, до какого оскудения дошли.

А как же не дойти. Я в педагогическом институте учился. «Диамат» и «Истмат» изучал. Правда, мы студенты, к ним относились так себе, с прохладцей, особенно в эту догму не верили, а отвечать, как положено, отвечали. Куда денешься. Другого же ничего не было. Как будто стране не тысяча лет, а всё, нет ничего.

Помню, в то время книжка одна появилась, по критике религиозных догм христианства. Преподаватель целый урок этой книге посвятил. Из всего курса нашёлся я один, который возьми и скажи, «как можно критиковать то, чего мы в глаза не видели и ничего не читали». Меня поддержали сокурсники. Сказал я это не потому, что отстаивал идеи православия, а оттого, что мне показалось несправедливым, критиковать то, чего мы не читали и о чём знаем только по разного рода, агиткам.

Шуму моё выступление тогда наделало много. – Рассказчик весело засмеялся. – На комсомольское собрание выносить не стали, видно побоялись огла-

ски, а вот партбюро заседало. Со мной парторг беседовал. А как увидели, что это во мне не от веры идёт, а от чувства справедливости, так и успокоились. Дело свернули.

Они дело свернули, а в моей голове всё это осталось. И очень мне после заседания захотелось Евангелие прочитать. «Что это за книга, думаю, раз такая на неё реакция?»

Пошёл я в библиотеку, но не в ту, куда всегда ходил, а в другую, где меня не знали, поосторожничал, спросил у библиотечарши про Евангелие. В библиотеке как раз народа совсем мало было. Спросил и смотрю на реакцию. Библиотечарша засмушалась, а потом объяснила мне вполголоса, что книга эта в закрытом фонде.

Понял я, что мне не видать этой книги как своих ушей. После решил сходить в церковь и там спросить. Было это под церковный праздник. Прихожу, а там кордон милицейский, бабушек пропускают, а молодёжь нет.

«Вот тебе бабушка и Юрьев день» – думаю, и до времени оставил эту затею с Евангелием. Вскоре институт закончил, диплом получил, женился, дети пошли, как-то не до Евангелия стало. О нём и не вспоминал. Работал в редакции многотиражки. Человек я в литературном плане был способный, но беспартийный. И понимал, что мне выше корреспондента по служебной лестнице не подняться. Ор-

ган был, конечно, партийный. Вот я и решил в партию из этих соображений вступить. Происхождение имел рабоче-крестьянское, связей порочащих не было, приняли быстро.

– Стало быть, вы потрудились на ниве партийной пропаганды и агитации? – вставил я.

– Да уж пришлось хлебнуть и этого, – согласился он. «Павел не был бы Павлом, если бы не был Савлом», так ведь говорят. В общем, откровенно партийные статьи я не писал, это был не мой конёк, передовицами у нас занимался сам редактор. Я всё больше очерки писал, фельетоны и что-нибудь по технической части. Правда, были у нас тогда в ходу клише типа «Советский народ, идя навстречу коммунизму, встал на трудовую вахту в честь праздника Великой Октябрьской Социалистической революции...» и так далее. Этими клише, мы строчки нагоняли, чтоб план выполнить. Но серьёзно к этому не относились.

– А что и у вас был план?

– План тогда был у всех, – сказал сосед и, помолчав, продолжил рассказ дальше.

– Я ведь не только статейками в газете в то время занимался. Были у меня в деревне родственники. Я к ним ездил: помогал косить сено или ещё что делать. Я ж деревенский. Видел, как живут, как основная часть мужиков пьёт беспорядно. О вере в Бога и о церкви среди земляков никто не говорил.

Можно было уже кордоны перед храмами не ставить, народ туда уже не рвался, даже из любопытства. Время, агитация, школа, запреты сделали своё чёрное дело.

Потом я перешёл в организацию покрупнее, нежели многотиражка, и стал заведовать сельскохозяйственным отделом. Видеть стал пошире и знать побольше. Зарплата, естественно, увеличилась. В семье тоже всё было в порядке. Правда, женился я поздно, в тридцать с лишним лет. Жена попалась скромная, трудолюбивая и мать хорошая. Народи́лось двое сыновей. Константин и Антон. Сыновья росли умненькими, старательными и очень тихими. Нам соседи говорили, что вы живёте так, как будто у вас и детей нет. Жили мы в то время в пятиэтажке, в «хрущёвке», всё на виду. Если куда надо сходить, там купить, чего, где что выбросили, жена сунет ребят соседке и уйдёт, а они до её возвращения рта не откроют, играют себе тихонечко в уголке. Никогда не дрались, не спорили.

Мотоцикл «ИЖ» мы в то время купили. Я хотел «Урал», да где там, разве достать. Мне товарищ советовал поехать в Азербайджан. Он там был и сказывал, что видел в магазине такие мотоциклы, в ящиках, целую гору, никто не берёт, а у нас в средней полосе России их днём с огнём не сыщешь. Потом, правда, стали легковые машины «Запорожцы» в свободной продаже появляться, только у нас на

него денег не было. Но уже думали о нём и подкапывали.

А тут меня на курсы повышения квалификации в Москву послали на четыре месяца. Там я впервые компьютер увидел, негров и монахов. Побывал не просто в храме, а в сердце православной Руси – Загорском монастыре. Помню: осень, погода чудная, листья падают, природа подмосковная будто рукополагает, звон колоколов, монахи в чёрном на звоны крестятся, и я стою балда – балдой. Верите, будто в иностранное государство попал. Почему звонят – не знаю; что за служба – тоже, а уж что поют и тем более.

Хоть и недоумевал я, но на душе как-то радостно стало. Чувствую - сердце забилося, будто воробушек трепечется, вылететь из рук хочет и слёзы на глазах. Вот как душа на всё это среагировала. Я тогда подумал: – генетика, память поколений. Промокнул слёзы платочком, сел в автобус и уехал. Это я только потом понял, что это была не генетика, а тогда мозги именно так сработали – генетика, мол, виновата. Но, в памяти эта поездка проделала глубокую борозду. Это я потом понял. Не зря, всё что увидел, было: и поездка, и монастырь, и монахи.

И вот что интересно, был я в Москве и в театрах, и на выставках, а когда из командировки вернулся, среди коллег рассказывал в основном о посещении монастыря. На что главный редактор вро-

де смехом, но с большой долей намёка сказал, «Наш коллега не в монахи ли решил податься? Больно уж с интересом о монастырях рассказывает». Стал я после такой реплики только друзьям, да родственникам о монастыре рассказывать... Со мной вот так, дорогой, было, с другими не знаю, – сказал Иван Петрович с улыбкой и похлопал меня по колену.

2.

За разговором я и не заметил, как наступил рассвет. Розовый свет струится из-за дальней горы. Придорожные откосы набиты талым мартовским снегом, ещё отдают синью, а по чернеющим буграм, почти с ними сливаясь, важно расхаживают заботливые грачи. Но чем севернее мы забираемся по избитой Ельцинским режимом дороге, тем реже встречаются талые плешины чёрной земли. Сюда весна ещё не добралась, а заиндевелые деревья нагоняют зимнюю скуку.

– И что же дальше?– спросил я.

– А дальше грянула Горбачёвская перестройка. Всё закрутилось вокруг, как сухие листья от ветра. Интеллигенция шумела, будто пчёлы в улье по весне.

Мы, как будто, ошалели от этой перестройки. Статьи стали появляться разные, книги. На слуху были фамилии экономистов Попова и Аганбегяна.

Церковные священнослужители то же стали мелькать в средствах массовой информации. Их больше для политики использовали, а не для наставления в слове Божьем. Ну, а дальше пошло и поехало.

Особенно активизировались разного рода секты и инославные учения. Философия мне нравилась, и я с упоением читал «Бхавагат Гиту», это одно из индийских вероучений, штудировал книги индийских гуру – тамошних учителей – аскетов. Всё было в новинку, интересно, особенно, что заморское. К этим гуру я сильно пристрастился.

Собеседник покачал головой.

– Помню, всё пытался чакры развить, да энергию кундалини активизировать, чтобы в космос в тонком теле выйти и среди планет солнечной системы постранствовать. А про йогов газеты писать не уставали, вот крыша у меня и поехала.

Бывало, в позе лотоса замру посреди зала, а отец покойный поманит мать пальцем и говорит: «Иди посмотри, что наш дурак делает?» – покачает головой и уйдёт. А этот - дурак, чёрный квадрат Малевича в голове ищет, чтоб значит ни одной мысли не было. Видно бесам этот квадрат очень нравился: мыслей нет, Бога тоже нет, делай с этим недорослем всё что хочешь. – Иван Петрович улыбнулся. – Бывало в деревню приеду и рассказываю сельчанам про всё, что вычитал. Дед Матвей, уже покойный, слушал, слушал, да и говорит:

«Смотрю я, Петруха, ты там, в городе сильно мозгой повредился. Ну, зачем мне с Филимоновной твоя Будаolini? Нам бы картошка с тыквой уродились, чтоб зиму пережить, ить что творится, а ты Будаolini, Будаolini.

– Куддалини, – поправляю деда.

– А хрен редьки не слаще, – говорит он. – Ты вот меня старого послушай. Да тебе и любой здесь скажет. Брось ты этих всяких магов.

Йогов, – поправляю.

– Не сбивай ты меня с толку. Послушал я тебя - и будя. Свою веру похерили, а чужой не надыпишься. Вон по улице Савося- парторг бежит, видишь? – он кивнул на окно.

– Вижу, – говорю.

– Так, он тоже, свою веру насаждал, теперь поutih, ослаб. На его место в душу другие рвутся. А теперь ступай. Рассказываешь ты складно, да ну и ладно. Филимоновна! – кричит, – проводи гостя, а то штанов не будет, одна кундалини останется. Наш кобель в философии не силён, сам знаешь, – а сам в усах улыбку прячет и на здоровенную псину у конуры кивает.

– Больно меня этот разговор тогда по самолюбию резанул. Успокоиться никак не мог. За гуру было обидно, ругал я непросвещённость в глубинке, затюканность и малограмотность.

– И что? Никаких сомнений в вашу душу не закрадывалось в связи с этим вероучением? – спросил я, – вы вот не очень верили в происхождение человека от обезьяны! А тут как?

– Точно, и тут это же было. Никак не мог я принять их учения о реинкорнации, то есть о переселении душ. Ну, помните ещё у Высоцкого –

«...красивую религию придумали индусы.»

– А как же помню, помню, про этот самый баобаб.

– Да-да, про него самого. Так вот не укладывалось у меня в голове, что в дереве и в лопухе может находиться человеческая душа, как в ссылке, на исправлении. Ну, не мог ничего с собой поделаться, да и только.

Уехал я тогда из деревни с тяжёлым сердцем. И как тому и быть, на следующий день иду по проспекту, а там, на лотке, очередную книгу очередного гуру продают. Встал я в очередь, стою. Передо мной парень стоит, видно из студентов-старшекурсников. За мной уже хвост образовался. Стою, жду. В это время подходит к парню, что впереди меня, друг и говорит:

«Что, деньги лишние? Решил собственным червонцем поддержать индийский монастырь?»

«Брось ёрничать, – тот в ответ, – на тебя книгу взять?»

«Я, дружище, это уже не читаю, есть вещи куда глубже», – говорит он, улыбаясь. А улыбка такая, очень добрая, располагающая. И взгляд открытый.

«Где ж ты глубину нашёл?» – спрашивает тот, что в очереди.

«Окупись в христианство, увидишь», – а сам его тихохонько дёрг за рукав, тот, что передо мной, от прилавка и отошёл. Моя очередь брать, я в раздумье, замешкался, сзади напинают, продавец торопит. В общем, я тоже от прилавка отступил. Сзади интеллигент нервный, шипит:

«Ходят тут, не знают, чего им надо?» – А я думаю: «Что, это я, ядрёна вошь, в то, во что крещён, того не знаю, а за заморским гоняюсь?» Тут я и отца, и деда Матвея вспомнил. Хоть их ум и был сильно повреждён партагитацией, но не настолько, чтобы чужое, поперёд своего ставить, когда ленинское дало дуба.

Пошёл я искать книгу по христианству. Как сейчас помню, зашли мы с товарищем в газетный магазинчик, спросил я православную литературу. Продавщица показывает две книги и спрашивает: «Вам какую?»

– А мне, – говорю, всё равно, дайте вон ту светленькую, – на моё счастье это было произведение Феофана Затворника.

– И что же, с этой минуты вы стали православным? – спросил я Иван Петровича.

– Да нет, не сразу. Хотя проехала эта книга по моим мозгам здорово. Она, можно сказать, мне в другой мир глаза открыла. Она открыла, а враг рода человеческого сразу не допустил. Это, можно сказать, было только начало.

– Что же ещё - то могло быть? – спросил я с запальчивостью.

– А куда ты секты христианские денешь, чародейство? Они, таких как я, первыми у христианских ворот поджидают... Видно, это был Божий промысел, иначе бы меня не шарахало. А доморощенные экстрасенсы, густо замешанные на христианской догматике, куда ты это всё денешь? Нет, видно надо было мне и этого всего хлебнуть, по самое не хочу. Ладно, про это расскажу чуть попозже. Сейчас остановка будет, немного разомнётся. Туалет там и всё такое.

И верно, не прошло и двух- трёх минут, как автобус, свернув с дороги, переваливаясь с боку на бок на неровностях, остановился у одноэтажной постройки, около которой усатый дородный грузин жарил шашлык, ловко поворачивая над огнём шампуры с дымящимся мясом. Рядом были свалены дрова, в сторонке под старым Мазом лежал на фуфайке шофёр... кто-то громко говорил, по другую сторону автобуса, по сотовому телефону.

Место, по правде сказать, было унылое. Сонные автомобили, как запоздавшие с ночлегом ноч-

ные птицы, торопливо пролетали по шоссе, шарахаясь от осевой к обочине при встречном автомобиле. Сидящие высоко на деревьях грачи, раскачивались на тонких ветках и то и дело перелетали с дерева на дерево.

«Глупые птицы,— думал я,— зачем вы здесь сидите,— ведь сто километров южнее уже весна и ваши собратья там уже важно ковыряются носами в земле». Но грачам было не до моих размышлений. Их не мучили философские вопросы и религиозные тоже. Инстинкт им указывал верную дорогу, состоящую из нескольких тысяч километров пути, и они не могли сбиться и свернуть в сторону. Но, это птицы, у них всё иначе.

3.

Остановка была недолгой. Вдохнувшие свежего воздуха пассажиры лениво рассаживались по местам. Занял своё место и Иван Петрович.

— Вот и хорошо,— сказал он,— размяли косточки. Теперь можно и дальше. —

— Так вы хотели ещё что-то рассказать?— заметил я.

— Нет, нет, я помню, помню,— встрепенулся Иван Петрович, довольный тем, что его рассказ произвёл впечатление.— Тогда слушайте, если интересно. Так на чём я остановился? Ах, да, вспомнил.

Стал я, значит, о христианстве книги читать. И такие у меня горизонты открылись. Прочитал Феофана Затворника, купил летопись Дивеевского монастыря, затем и пошло. Вообще в церковь ходить стал, молитвы некоторые выучил. И до того мне в церкви хорошо было, хоть бы из неё и не уходил. Чувства такие же наплыли, как и в подмосковной лавре. Стою в церкви, бывало, а слёзы сами собой текут, а почему текут, не знаю. Хорошо, вот и всё. Душа Родину духовную что-ли чувствовала?

Я, в то время как шальной ходил. С кем не заговорю, всё на православную тему сворачиваю. Такого раньше со мной никогда не было.

– А как же гуру?– спросил я.

– Когда я восточными философиями занимался, тогда только голова от мыслей переполнялась, а теперь и душа была готова из груди выскочить. Помню, приедем в деревню к родным картошку копать, поставят меня родственники с лопатой меж себя, я и рассказываю, рассказываю. Потом я им стал, с этим делом, надоедать и они стали откровенно надо мной посмеиваться. А я хоть и чувствовал, что посмеиваются, а удержаться не могу, так меня и несёт. В таком состоянии я пробыл года три – четыре. И вот, что интересно, читал много, а Евангелия не прочитал, у меня его и не было даже.

Одной мне церковной литературы мало было, стал я прикупать и другую литературу, вроде бы то-

же христианскую, как мне тогда по моей малоопытности казалось. Вы, я вижу, уже догадались, что это была за литература? – Я кивнул.

– Вот, вот её самую. Где увижу на обложке икону, то мне и гоже. А тут стали на меня сваливаться всякие несчастья. Как на грех появился откуда-то Алан Чумак, как бес из преисподней выскочил и давай с экрана телевизора руками махать, да губами шевелить. В общем домахался, а мы досмотрелись.

– Что так?

– Старший сын у меня должен был в первый класс идти, а после сеанса с Чумаком, говорить перестал. Заикание такое, что слова сказать не может, зато у бабушки шишка с ноги сошла. Я то – дурень, и не подумал на Чумака, решил, что кто-то испугал его на улице. Кинулся к ребятишкам, с которыми он около дома играл. Те: – «Знать ничего не знаем. Не было, мол, у нас ничего такого, что бы могло Костю вашего испугать». Мы к врачам – те руками разводят. Мы к бабкам – те мзду берут, а сделать ничего не могут. Сильно мы все испугались.

Немного погодя к нам в город один экстрасенс приехал – я к нему, так, мол, и так, вечером Чумака посмотрел, а утром не говорит. Вот тогда до нас только дошло, от чего он речь потерял.

Экстрасенс и говорит, «Зря вы его перед телевизором посадили, я Алана знаю и говорил ему, что такие передачи ни к чему хорошему не приве-

дут, он не слушает. Только я вам вряд ли чем помогу, тороплюсь.» Я чуть ли не в ноги падаю – помогите, я его быстро вам на такси доставлю.– Тут он, видно глядя на моё состояние, согласился и говорит, что не надо никакого такси, а вспомните только голлову сына, мне и этого достаточно.

Да какой же отец сына не вспомнит, когда он со мной вырос.

– Вспомнил, – говорю, – А он в ответ

– Я знаю, что вспомнили, больше от вас ничего и не требуется и стал какие – то пассы руками делать, вспотел весь, а потом мне и говорит: – Подлечил я вашего сына, а вот полностью с него снять, что через телевизор получил, не могу,

Алан сильнее меня. – Поблагодарил я его на словах, денег он не взял, а я домой ходу. Подхожу к дому, а навстречу мне отец, слёзы на глазах поблёскивают. «Заговорил, – говорит, – внучек, час назад заговорил, только чуть-чуть осталось заикание».

Обрадовался я, рассказал как всё было и проникся я с этого дня к экстрасенсам уважением. Думаю: «От Бога люди». А раз так, то и литературу по экстрасенсорике стал почитать, да стал пытаться выявить в себе скрытые экстрасенсорные задатки. Слово мне это уж больно приглянулось, была в нём какая-то тайна и сила. В общем, из огня да в полымя.

Хотел я тогда увидеть самого Чумака, связи-то у меня редакционные были. Через друзей связался с первым каналом телевизионным в Москве, вышел на общих знакомых, а те и говорят: «Чумака вы не достанете, у него в Москве ни одна квартира. Где он, живёт никто не знает, а там где официально проживал, люди день и ночь караулят. Кто ждёт, чтоб спасибо ему за излечение сказать, а кто и «спасибочки». У нас тут мешки писем от телезрителей с негативом, а мы в эфир ничего дать не можем, запрещено».

Не верилось мне, что редакция телеканала негатив, как последствие выступлений Чумака, скрывает. Потом решил, что дело это тёмное и звонить в редакцию перестал. Однако, книги по экстрасенсорике продолжал читать, хотелось выйти на некую тайну, в этом деле скрытую. Узнать, как можно на расстоянии лечить? Мысли в моей голове ютились положительные.

Иногда, правда, посещала меня неразрешимая мысль: «Как это так, один и тот же человек может и вылечить, и искалечить?» От такой мысли у меня в голове сумбур начинался. Думалось: «Это от того, что мало знаю. Один и тот же врач может и вылечить, а может и болезней прибавить, это всем известно» А раз так, то литературу по экстрасенсорике стал не просто почитать, а штудировать, да стал пытаться выявить в себе скрытые возможности за-

одно. Вдруг и во мне «чумак» сидит? Ведь пишут же, что в каждом эти силы есть, только проявить их требуется. Вот я и старался.

Хорошо, что тогда никого в себе не откопал, ни «Чумака», ни «Кашпировского», Бог не допустил. Погиб бы, обязательно погиб. Затянула бы меня эта чертовщина. Видно насчёт меня у всевышнего другой промысел был. Я его вскоре и узрел.

Тут ни с того, ни с сего самого меня болезнь прихватила, да такая, что врачи ничего и определить не могут. На глазах стал таять. Один знакомый пообещал с главврачом лучшей клиники города свести. В определённый день, набиваем дипломат коньяком, какого я в жизни не видел, закусью разной, что слюнки потекут, и к этому главврачу. Дверь на ключ, дипломат на стол. Тогда с продуктами-то никак было, шаром покати, ни дорогих, ни дешёвых. Знакомый всё устроил.

Смотрели меня врачи этой клиники и за страх, и за совесть одновременно. В каждую щёлку во мне заглянули. После всех процедур приходим вместе с заведующей отделением к главврачу. Тот глаза поднял, а она рапортует, что де здоров как в двадцать лет, хоть в десантные войска отправляй.

После такого диагноза я совсем закручинился. Я жить не могу, а они – здоров как бык. Тут я готов

был хвататься за любую соломинку, лишь бы живым остаться.

Товарищ, что меня в своё время йоге учил, посоветовал пройти по системе оздоравливающего голодания. Это у них в этой самой йоге такое голодание есть. Я согласился. А как же не соглашаться, жить то хочется.

Помню, клизмами весь живот промыл, голодаю. Товарищ говорит, что десять дней голодать надо. Терплю, кроме воды в рот ничего ни-ни. Я все требования товарища выполняю. Первые три дня очень есть хочется. Потом эти инстинкты гаснут и уже ничего не хочется, лежишь на диване и лежишь. Наконец эти десять дней прошли, а я как болел, так и продолжаю болеть. Плюнул я на эту йогу, повезли меня родные по бабкам, да по дедкам. Проверяли меня и на нитки, и на спички, и на обручальные кольца, и на карты,- «порченный», говорят, а сделать ничего не могут. «Что ж это, – думаю, – за сила такая, что никто и излечить не может?»

После этих поездок я совсем закучинился. Апатия напала, безразлично всё стало. В общем, лежу я дома на диване, в потолок смотрю, а мысли одна мрачнее другой. И тут по телевизору объявляют, что в городе Балаково состоится всероссийский съезд экстрасенсов. Я к директору. «Владимир Иванович, направь в командировку? Это ведь рядом». Тот, добрая душа, приказ написал. Я, в автобус и ту-

да. Думаю: «Может там, кто и отыщется, кто из меня хворь изгонит, бишь эту самую порчу? Экстрасенс же помог моему сыну, а там их сотни съедутся, один сильнее другого, глядишь, и найдётся для меня лекарь».

Приезжаю в Балаково, в гостиницу устроился и на регистрацию. Дворец огромный, зал битком набитый. Нашёл я свободное местечко, сижу. В первый день доклад прочитали, затем, уже на другой день, прения начались, а в третий, значит, должны приехавшие работать по секциям. Сижу, слушаю, в тетрадь всё строчу, по привычке. Всё что не говорят, одно интереснее другого, аж дух захватывает.

С соседкой познакомился, дородная такая женщина, оказалось, что мы из одного города. Она тоже экстрасенс. Приехала диплом получить. Этот диплом вроде, даёт право лечить больных. Так, не так, не знаю. Только она и говорит мне:

– Ты что думаешь, сюда все эти люди, она кивнула на собравшихся, учиться приехали экстрасенсорике, опытом делиться?

– Да, – говорю, А она в тон мне и в рифму, – «Балда. Вот тебе и да. И откуда ты такой шелкопёр выискался?» Я ей, дескать, так и так, лечиться приехал. Она в ответ рассмеялась и говорит:

– То-то меня знакомцы спрашивают, откуда ты взялся, не со мной ли?– И тут же в лоб спрашивает.– У тебя дома жена, дети есть? Я всё как на духу и

про жену, и про сыновей. Она на это только улыбнулась и говорит:

– Не знаешь, куда приехал. Держись за мою юбку и не отходи, иначе тебя твои дети не дождутся, слопают тебя в этом зале, и поминай как звали. Ты не смотри на эти «добренькие» физиономии, здесь, знаешь, какие акулы сидят, без крыши никак нельзя. И ты здесь не один такой дурак.

«Вот, – думаю, – попал, как кур в ощиц». Хотел уж бежать, да болезнь моё желание пересилила.

Иван Петрович вдруг замолчал, покусал ус, нахмурился. Видно воспоминания ему давались нелегко. И не потому, что он не мог вспомнить, а потому, что подходил он в своём рассказе к такой черте, за которую не каждому дозволяется зайти. И он раздумывал: «стоит ли мне рассказывать некие пикантные подробности или не стоит?» Я его не торопил. А он вдруг сказал непринуждённо:

– Пожуём что ли? – и ловко выудил из своей сумки съестное и положил на откидывающийся столик. Его примеру последовал и я.

Мы ехали уже по другой области, дорога здесь была значительно лучше и автобус почти не трясло. В окно мерно вливался морозный рассвет. Солнце, закрытое сизой дымкой, едва проталкивало свои блёклые лучи, кое-как освещая крутой косогор и на нём кучку рыжеватых сосен. На одной из макушек которых, будто примёрзшая, сидела какая-то птица, наверное, ворона. За окном была почти настоящая зима.

Сосед угостил меня картофелем в мундире. С солью, он был весьма хорош. А ему понравился мой самодельный томатный сок. В моём животе перестало урчать. После обеда Иван Петрович, сразу расслабился и его, как я понял, потянуло на более откровенный разговор.

– На второй день, – начал он, – идём с моей покровительницей по фойе, а там очередь стоит. Я поинтересовался, зачем очередь?

– Диагностируют, – ответил усталый женский голос. – Что у кого болит определяют...

Я заинтересовался. Подумал: «В больнице не определили, может быть здесь чего скажут?»

– Я здесь приторможусь, – сказал я покровительнице. За давностью лет, я уже забыл как её звали и для удобства в рассказе, я дам ей вымышленное имя «Валерия».

На это моё заявление, она сказала, что вольному – воля, но она категорически не советует, ибо неизвестно, чем всё это дело обернётся. Я же, настоял на своём и остался.

Диагностировала больных молодая девушка, лет двадцати пяти, не больше. Весь диагноз длился не больше трёх минут. К ней подходили, она делала пассы рукой вдоль туловища, и говорила диагноз. Диагноз не был конкретным и, как я понял, меди-

цински точным. Она просто называла болеющий орган и всё. Некоторых, в том числе и меня, она отсадила в сторону, попросив подождать окончания сеанса.

Я сидел и мучился в догадках: «Зачем меня оставили, что за причина?» – Теперь-то я знаю, что это была за причина, а тогда не знал. После того, как очереди не стало, Наташа, так звали, мою новую знакомую, повела нас на квартиру, Она её снимала, в лечебных целях, неподалёку от гостиницы, чтобы приезжим было удобно. Мы прошли парк с большими толстыми вязами и тут же очутились около старой пятиэтажки. Поднялись на четвёртый этаж и постучали в дверь. Нам открыла весёлая симпатичная небольшого роста женщина и сбиваясь на южнорусский говор, пригласила в комнату.

«Интересно, что это за лечение? Что за диагноз?»,- думал я, оглядывая прихожку и часть зала. Всё было как у всех, ничего лишнего. Только длинная скамья в прихожей, выдавала, что она здесь стоит не случайно и приспособлена для отдыха, таких как я - бедолаг. Хозяйка ушла на кухню и о чём-то там разговаривала с Наташей вполголоса. Затем они поставили на порог, отгораживающий кухню от прихожей, стул, посадили на него одну из пришедших женщин и стали священнодействовать.

Я, правда, ждал чего-то особенного, но всё, как мне показалось, сводилось к банальной отливке

воском. Почему банальной? Да потому, что уже так отливали сына, отливали и меня, но ничего из этого не вышло. Сын тогда, продолжал заикаться, а я теперь продолжаю болеть. В общем, я так и сказал Наташе. Она посмотрела на меня, прищулив свои красивые, кошачьи глаза, и медленно ледяным голосом проговорила:

– Помолчите, коли не знаете, – а потом добавила укоризненно. – Я за этот сеанс с вас ничего не возьму, если вы сумеете вот так же бойко, как разговариваете, дойти отсюда до гостиницы? – Она лукаво и, немного с издёвкой, улыбнулась. Я поймал на себе осуждающие взгляды окружающих.

– Ваша очередь садиться, – сказала она мне. Указывая на пустой стул. Я поймал себя на мысли, что не отследил, как предыдущая пациентка сошла со стула и села на лавку. Видно голова в это время была занята совсем мыслями не о лечении.

– Ладно, хрен с ней, сяду, раз брать ничего не собирается, а уж завтра не приду, дудки, – подумал я.

Наташа прочитала надо мной какие-то молитвы, затем взяла ковшик с растопленным воском и вылила его над моей головой в чашку с водой. После чего посмотрела на затвердевший воск и проговорила:

– Тоже мне герой! Ты в живых сначала останься. – На меня зашикали и укоризненно посмотрели уже все жаждущие лечения.

После отливки воском, нас в гостиницу сразу не отпускали. Надо было ждать, когда проведут процедуру отливки над всеми. Из квартиры должны были выйти все сразу. Наконец сеанс отливки окончился и мы столпились около выхода. Я чувствовал себя сносно.

– Храбрые есть?– спросила Наташа,– и продолжила,– кто храбрый? Становись вперёд и выходи первым.

Женщины жались и не хотели выходить первыми. Я, недолго думая, встал впереди всех, за мной молодой парень, дальше выстроились женщины. После услышанного, они оробели и сникли...

– Чего увидите на лестничной площадке и ниже по этажам, ничему не удивляйтесь и ничего не бойтесь,– сказала Наташа и открыла дверь.

Я шагнул за дверь первым. Две спаренные лампочки тускло освещали площадку четвёртого этажа, выхватывая из темноты перила убегающих вверх и вниз лестничных пролётов. И тут я остановился как вкопанный, волосы, помимо моей воли, сами поднялись на голове, а за воротником пробежал холодок. С десяток, очень больших чёрных, пушистых кошек, сверкая жёлтыми горящими глазами и стучая большими когтями, ринулись от двери

вверх и вниз по перилам. По окрасу они были все одинаковые, серые. Но, откуда они здесь? Как они собрались в этом подъезде? Так вот, значит, о чём нас предупреждала Наташа. Чертовщина какая-то. Новые «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказать – никто не поверит.

Сзади на нас с парнем напирала, торопясь выйти, а мы с ним и одна женщина, что шла следом за нами, остановились. Кошки разбежались очень быстро и те, кто выходил позже, их уже не видели.

Я вышел на улицу. Морозный осенний воздух, наполнил грудь, выдавив оттуда запах топлёного воска, ударил в виски, отчего голова немного закружилась и я, чувствуя, что едва держусь на ногах от угнетающей слабости, обнял ствол ближайшего дерева.

До гостиницы было не больше двухсот метров, но я не мог преодолеть эти несчастные метры. Я падал, вставал, цеплялся за сучки и ветки и думал только об одном: «Надо во что бы то ни стало дойти. Обязательно дойти.» Я вспомнил слова Наташи: «Я за этот сеанс с вас ничего не возьму, если вы сумеете вот так же бойко, как разговариваете, дойти отсюда до гостиницы?». «Откуда она всё это знала, – думал я, – что за чертовщина?» Перед глазами, то растеклось какое-то марево, то возникали смеющиеся глаза Наташи и слышался её голос: «Ты дойди до

гостиницы! Дойди! Герой». Но Наташи рядом не было, не было никого, но явно доносились голоса, много голосов, сверху, сбоку, сзади...

Смутно помню, как напрягался, переставляя ноги, они были неимоверно тяжёлые и неповоротливые, как не мои, тело обмякло и с большим запозданием отзывалось на команды.

В гостинице меня встретила Валерия.

– Да не рассказывай, всё знаю, – отмахнулась она. Все мы тут одинаковые, только прибамбасы разные, – и ушла в свою комнату. Мне было неловко перед Валерией и я твёрдо решил завтра не идти к Наташе. Голова раскалывалась и ещё нужно было как-то заставить себя уснуть.

На следующий день я увидел в гостинице Наташу и остолбенел. Оказывается, она жила со мной на одном этаже и комната её была рядом с номером Валерии. А я -то думал, что она живёт в пятиэтажке.

– Ну, что, не хочет тебя старуха от себя отпустить? – она кивнула на дверь Валерии. – Не желает, ох, не желает! – Затем распахнула дверь своего номера и сказала:

– Заходи! – Женщины, сидящие в коридоре, около её двери зашушукались. Наташа прошла к окну, села в кресло и закурила. Она была чертовски привлекательна в своей манере вести себя. Она говорила со властью в голосе и в то же время ласково.

Тембр её голоса, напоминал журчание весеннего ручья: настырного, строптивного и в то же время весёлого.

– К вам посетители, – заметил я. Она сморщила красивый носик и, стряхивая пепел безымянным пальцем, бросила сквозь зубы:

– Шушера! Пришли, чтоб я им мужиков приворожила. Я им, сволочам, говорю, что их привороженные минимум как через год дуба дадут, а они мне в ответ: – Год, да наш. – Ну не стервозы ли?

– А вы что, не только лечить, но и привораживать умеете? – спросил я удивлённо.

– А вы что, с луны упали? – спросила она недоумённо. – Вы что, верите в белую и чёрную магию?!

Я действительно верил в белую и чёрную магию, потому, что много читал, особенно, про белую.

– Они так же друг от друга отличаются как исторический материализм от диалектического, – проговорила она пренебрежительно. Сказки для непосвящённых.

– За что вы не любите Валерию? – спросил я прямо.

– Я, не люблю? – проговорила она удивлённо, – и тут же пренебрежительно резко добавила, – А за что мне её любить? Экстрасенсоришки, выскочки. Над чем мы веками работали и, передавая из поколения в поколение, берегли и лелеяли, они получили

в одночасье, даром. А теперь строят из себя белую кость. Твоя Валерия имеет то, чем не умеет ещё пользоваться. Дубина стоеросовая, твоя Валерия. Но сила у неё есть, только необузданная. Учить её надо.

– Так подскажите ей! – сказал я в запальчивости. Наташа нахмурила брови. Потом, ни к кому не обращаясь, сказала:

– Каждый экстрасенс делает то, что может сделать средней руки колдун.

– А что, это разве одно и то же? – спросил я.

– Что, одно и то же!? – глаза Наташи зло сузились. Но она быстро с собой справилась. – Святая ты простота! – сказала она наигранно и рассмеялась. – А вот возьму и увезу тебя с собой, – и она под села поближе, положив голову на стол и заглянула в мои глаза. Затем встала, закинула голову назад, обхватила её сзади руками, постояла на цыпочках раскачиваясь и чего-то мурлыча под нос и вдруг резко села рядом.

– Как это? – мне никак нельзя уезжать, – проговорил я торопливо, – дома жена, дети. Она оттолкнула меня резко и бесцеремонно:

Да иди ты со своею женой! – поднялась и, отойдя в сторону, стала вытирать платочком слёзы.

– Не бойся, не приворожу, – сказала она. – Зачем мне телёночек на верёвочке. – Затем помолчала и задумчиво проговорила, как бы не для меня, а просто так, – Хочешь, я научу тебя многому и ты бу-

дешь помогать мне удерживать власть в своей области. Ты будешь обеспеченный человек. Тебя будут бояться и перед тобой лицемерить. Всё это возможно. Нужно согласие...

– А вы, Наташа, кто? – Спросил я осторожно – Колдунья, или экстрасенс?

Она бросила вытирать слёзы и сказала просто и как-то обыденно:

– Я – Божья служка.

– Как это понять?

– А зачем тебе понимать, Божья служка и всё.

Какое-то время мы оба молчали.

– А ты мне определённо нравишься, – проговорила она, прищуривая кошачьи глаза и подсаживаясь поближе, – ну-ка посмотри мне в глаза.

Я посмотрел прямо Наташе в зрачки.

– Вот, вот, взгляд не отводишь, – проговорила она весело, – это признак породистости. Ты, братец, породистый.

– Я не из бывших, я из крестьян.

– Однако, кремень... Ох, кремень! Сила...

– Откуда вы знаете?

– Мне положено знать.

– Вы, Наташа, колдунья? – спросил я бесцеремонно. Она промолчала.

– Вы, Наташа, колдунья? – повторил я снова. Она молчала. Я подошёл к ней и, сжав с силой ру-

ками её голову, повернул лицом к себе и заглянул в глаза.

– Да,– проговорила она тихо. И отпустите меня, мне больно. – Я разжал пальцы. Ей было трудно начать говорить, лицо её покрылось багровыми пятнами, но она справилась с собой и сказала:

– Я знаю, что вы никогда не будете моим,– какою бы я силой не обладала, потому что настоящая любовь сильнее моих чар. Я не хотела быть колдуньей, но я была единственной внучкой у бабушки. Перед своей смертью, она заперла меня в пустом доме, и я сидела в нём целые сутки. Я очень, очень боялась, а родителей дома не было, они уехали в город. На следующие сутки, я вышла из дома уже колдуньей. Бабушка умерла под утро, передав мне все свои колдовские силы и полномочия. У неё было большое «хозяйство». Хотя она жила в деревне, но перед ней трепетали области. Я не имею полностью её силы, за власть в мире этом и том, невидимом, нужно бороться. Вся страна поделена между колдунами на вотчины. А здесь, сейчас идёт делёж. Каждый старается урвать своё.– Опять помолчала. Дальше сказала тихо, – «Пойду скажу им, чтоб уходили,– она кивнула на дверь,– а вы сегодня обязательно приходите в пятиэтажку. Я буду вас ждать»– и она грустно улыбнулась. – Нам, как и вельможным барыням любить нельзя, а всё остальное..,– она осёклась и больше не сказала ни одного слова.

В третий день у экстрасенсов, приехавших в Балаково, была работа по секциям. Всем предстояло выбрать свои секции. Председатель собрания пригласил подходить к столам и записываться.

– Интересно, что здесь за секции, – думал я, проталкиваясь к столам, чтобы удовлетворить своё любопытство. Я думал, что увижу секции «прорицателей», «ведунов», «белых магов» и так далее. Голова моя в то время была забита этими, казалось «положительными» персонажами. Но, было всё гораздо проще. Первая секция, оказалось, была секцией ведьм, другая секция вурдалаков. Остальных секций я не смог прочитать, потому что, как ошпаренный вылетел из дворца и заспешил на вокзал.

– К чёрту! К чёрту! Повторял я. – Экие прохвосты. А я уши развесил!

В последний раз я увидел Наташу перед самым отъездом. Она пришла на автобусную станцию и, увидев меня, сказала: «Ты испугался меня, правда? Я знаю. Не надо ничего говорить.– Она вскинула голову.– Петрович, я знаю твоих обидчиков. Хочешь, я сделаю так, что они избыют друг друга до смерти? Кто тебя заказывал и кто делал... – Я отрицательно покачал головой. Она не настаивала. Мы расстались, чтоб больше уже никогда не встретиться.

Мы с Валерией вернулись в Саратов и ещё какое-то время встречались. Она пыталась своими путями меня лечить, но у неё ничего не получалось. Наконец я обессилел и перестал почти совсем ходить. Целыми днями я лежал на диване, мысленно готовясь к неминуемой смерти и даже на случай кончины, написал своим мальчикам завещательное письмо. Недели через две получил письмо от Наташи. Она просила меня приехать к ней для полного излечения. Я на письмо не ответил.

5.

Иван Петрович глубоко вздохнул, пожевал верхнюю губу, посмотрел на улицу. Не весна, а полноправная зима смотрела в окно. Потеснённая в южных районах весной и, понимая, что ей приходит конец, в последние дни она готова была расправиться со всем миром. Что уж если ни ей, то и никому пусть не принадлежат сокровища земли, которые она прикрыла белым с ледяной, сверху коркой, покрывалом.

– Если уж ни ей, то и ни кому, – повторил Иван Петрович тихо, что я едва мог расслышать.

– Вы что-то сказали, – спросил я.

– Да, так, пустое, – ответил он. Из чего я понял, что история с Наташей и по сей день сидит в его сердце. И не это ли гонит его к святому источнику,

чтобы как-то омыть свои мысли, соединить ум с Богом и получить плоды разума.

– А она, того, вам не врала, про бабушку и бесовские дележи?

Врала она – вру и я.– Сказал он коротко.– Только зачем ей было врать?

– Так, чтобы сильнее вас к себе привязать, – заметил я.

– Пустое, – сказал Иван Петрович, – в то время я был не шибко верующий, благодать отошла от меня, и я как слепой котёнок тыкался во всё, что встречалось на пути, мяукал жалобно, да шипел для острастки. Взять ей меня, ничего не стоило. Да и я готов был броситься к ней в объятия, если бы, как следует, поманила. Так что особых чар было и не нужно.

– Почему не взяла?

– Господь за меня заступился.

– А может быть как раз, это и были чары, но очень искусные, тонкие. Написала же она вам письмо. Зачем? Значит, на что-то рассчитывала?

– Пустое, – опять сказал собеседник. – Ей я был нужен для представительства. Большие дела хотела делать. Да вы хотя бы знаете, что за каждой из таких акул, как Наташа, стоят легионы бесов, что они при жизни уже имеют полковничье звание в бесовской иерархии. – Сказал он раздражённо.

– А вы, стало быть, подполковником быть не захотели,– сказал я, не спрашивая, а больше рассуждая, глядя себе под ноги.

– Ни в этом дело,– сказал сосед, – все мы люди и все под Богом ходим. Я думаю, что она твёрдо уверена, что она Божья служка и выполняет очень важную миссию. Ну как в фильмах про разведчиков: жениться не могут, любить не могут и жить как они сами того хотят, тоже не могут. Нет-нет, вы не подумайте, что я её оправдываю. Дело не в ней. Бог с ней, Он ей судия. Дело во мне. Я – то зачем во всю эту историю вляпался?

– У вас был повод, чтобы вляпаться,– ответил я за него.

– Понятно, что был. Без повода я бы туда и не поехал.– Он помолчал, пошмыгал носом, будто не мог справиться с подступившим к горлу комком, а потом проговорил совсем спокойным голосом: «Дьявол с Богом борется, а место поединка – сердца людей».

– Здорово вы сказали,– воодушевился я понравившейся мне высказанной мыслью.

– Не я сказал. Я только вспомнил.– Опять помолчал и продолжил,– если бы всё этим тогда и кончилось, а этим всё только начиналось.

– Что и ещё что-то было?– спросил я удивлённо. Он усмехнулся и сказал по-детски совсем просто. У него даже голос изменился.

– Лежу я, значит, дома, на диване, дышу, как говорится, на ладан. А тут моя мама приносит книжку – «Евангелие». На улице раздавали, бесплатно. Половина на русском языке написана, половина на английском. Шрифт такой крупный, читается легко. Взял я эту книгу, открыл где-то в середине и прочитал первую попавшуюся фразу: «Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Матфей эти слова Иисуса Христа записал. Крепко я тогда задумался. Стал читать главу эту сначала, чтоб в голове всё как надо улеглось. И оказалось, что апостолы выгоняли из человека беса, а он не вышел, после чего эту фразу и произнёс Иисус.

Нет, вы понимаете, сами апостолы, наделённые властью от Бога на изгнание супостатов, не могли выгнать беса. Я Евангелия до этого не читал, читал больше старцев. А тут... От этих слов меня аж пот прошиб, руки задрожали, лежу сам не свой. Такие вот дела. Они меня терзали, а я у них помощи искал... Это сильнее чем ледяной водой облить... Сразу всё перед глазами проскочило: и поездки к бабкам и дедкам, и увлечение йогой, и Алан, и изучение экстрасенсорики, и много чего ещё... Лежу, плачу и у Бога прощение прошу.

С этого дня устроил я для себя жёсткий пост. Едой моей был только чёрный посолёный хлеб, три кусочка на день и вода. Молился и читал Евангелие не переставая. Молитву знал только «Отче наш». Её

и читал. И что вы думаете, проходит семь дней, встаю утром и чувствую, здоровый. Говорю жене, а у самого слёзы на глазах. Детей обнимаю, целую. Мать с женой тоже плачут вместе со мной. Дети, на всех глядя и не понимая, что происходит, тоже разревелись.

Тут ко мне опять пришло церковное рвение, но ненадолго. Смущали меня иные конфессии. На улицах останавливают и давай мозги морочить. Ну, я и распалялся с ними, спорил. До того распалюсь, доказывая противное, что, наверное, всех чертей соберу себе в помощники, лишь бы доказать свою православную правоту. Даже ходил один раз на их богослужение, в секту значит. Был и у пятидесятников, и адвентистов седьмого дня. В общем, у кого только не был. Уж очень мне хотелось узнать, о чём они там говорят на своих собраниях, и если можно, то хотел кого-нибудь спасти.

– И что же, удалось?– спросил я.

– Нет, не удалось. Сам было чуть сектантом не стал. Да Бог миловал. Не по Сеньке оказалась шапка. Ревность не по разуму, как говорится.

– Это, что, – другая история?

– Нет, история всё та же. Только забыл вам сказать одну вещь. Как приехал я из командировки, со съезда, такое ощущение было, что как будто в чём-то выпачкался. Пошёл я в церковь и рассказал на исповеди всё батюшке. Говорю, а сам слёз сдер-

жать не могу. А батюшка такой внимательный, кроткий, тихий. Плачьте, говорит, не стесняйтесь. Всё ему рассказал: и про бабок с дедками, и про сына, и про то, как переписывал и читал их поганые молитвы, якобы в древних монастырях найденные и только ими, колдунами, сохранённые.

Рассказывай, рассказывай,— говорит батюшка,— тебя Бог слушает.

— Вы,— говорю,— батюшка накажите меня,— а он в ответ:

— Вы уж себя так наказали, что куда же больше.— Поцеловал я крест и Евангелие и ушёл. Причащаться не стал, хотя мне батюшка и не запрещал. Не мог я сам к причастию подойти, пока всех грехов не исповедую. Так, приходил я исповедоваться раза три, и всё вспоминаю, и вспоминаю, что когда-то со мной было и я поступил не должным образом. Знаете, с тех пор никогда так не исповедывался, даже когда оглашенным бегал.

И вот в конце третьей исповеди мне батюшка так тихонько и говорит:

— А что, мил человек, к причастию не подходите? Пора, пора. Сегодня обязательно причаститесь. Я и причастился христовых тайн. Да так причастился, что сроду того причащения не забуду. Знаете, мне подходить, вкушать тела и крови Христовой, а меня такой страх охватил, хоть из церкви беги: зубы стучат, дрожь по всему телу, руки на груди пляшут и

слёзы по щекам текут. Больше ничего и не помню. Помню только, что после запивки и целования креста, меня такая радость охватила, какой я в жизни не испытывал.

Иду, а воробышки на меня смотрят и чирикают. Думаю, это они мне чирикают, тополь макушкой качает, это он меня приветствует. И чего бы я не видел, всё было мило и хорошо. Домой я сразу не пошёл, а вышел за город, на пригорок, сел и петь хочется и мир вокруг такой несказанно красивый. Я хоть тысячу раз этот пригорок видел, а такой красоты вокруг не наблюдал. Будто с моих глаз пелена спала. Долго я просидел на том бугорке. Наконец, чувства во мне стали немного успокаиваться и я пошёл домой. В жизни этого состояния не забуду. — Повторил он ещё раз ранее произнесённую фразу.

6.

Автобус въезжал в какой-то населённый пункт. За окном замелькали заборы, дома. Какой-то мужичонка, заехал с возом в кювет и никак не мог оттуда выбраться. Лошадёнка кособоко стояла в оглоблях и, задрав голову, искоса смотрела на незадачливого возницу. Маленькая, рыжая собачонка, видя столь интересное событие, радостно бегала вокруг и тявкала, то на лошадь, то на хозяина, то на воз, как буд-

то он мог её услышать. Я улыбнулся, глядя на эту трогательную картину.

– Вот так и мы, – сказал Иван Петрович, кивнув на мужичонку, – зачастую стоим точно также, почёсывая затылки. И мозги у нас нередко стоят враскоряку, как та сивая кобылёнка.

Мне понравилось сравнение и я сказал:

– А вы, однако, Иван Петрович, философ.

– Будешь философ. Как в народе говорят: «Попадётся хорошая жена, будешь не вспомню кем, а вот если плохая, то будешь философ».

– И что же это за плохая жена, если не секрет?

– Да какой тут секрет. Даже наоборот. Хочется об этом кричать и волком выть. Помните, я вам про секты стал рассказывать. А ведь там столько добрых и хороших людей. Только поняли они в своё время православие по-своему, а точнее сказать, совсем не поняли. Людям в этих передрыгах нужно было людское утешение и они его в этих сектах нашли. Понимаете, не в Боге нашли утешение, а в людях, в общине. Ну, сами понимаете, как это бывает, забота, внимание и всё такое. Хотя, у человека никто свободной воли не отнимал. Я по собственной воле встал в очередь к колдунье; они по той же самой собственной воле пришли в храм без Бога, прельщённые самообманом.

– А как же, промысел Божий, его благодать и святая воля? – спросил я.

– Так- то оно так, и святая воля есть, и благодать и,– замечу вам,– неисповедимые пути-дороги тоже есть. Господь желает всем людям спастись.

– Что, и чародеям тоже?– спросил я недоумённо.

– Всем. И им, то же,– твёрдо ответил сосед. Я спорить не стал, но на этот счёт у меня в голове были большие сомнения.

– Человеческая любознательность, иногда толкает человека на необдуманные поступки, – заговорил вдруг попугчик. Вот я. Дёрнуло меня тогда переписывать эти колдовские молитвы.

– А вы что, их ещё и переписывали?

– Ну а как же. Как филолог сверял каждую букву, пытаюсь найти подвох. Ведь мне Наташа сказала, попробуй и сам увидишь. Самое простое, это отливка. Перепиши и прочитай вот эти пять молитв. Да и молитвы – то из молитвослова. А вот одна на них не похожая. Она её велела в середине читать и на определённой фразе выливать воск.

– И что же было в этой молитве особенного?

– Да всё особенное. Не молитва, а заклинание языческое: Пойду там по воду, нырну в глубины, попрошу месяц, и так далее. Точного текста я не помню, а так, для примера. Я, было, хотел, чтобы она мне всё написала, а она в ответ «необходимо, чтоб сам. Я её спрашиваю, это что, код какой-то? А она, – Сам узнаешь».

Таким образом, любопытство чуть не привело меня к гибели. Хорошо, что вовремя спохватился. Так и в этих сектах. Читаешь текст – хренотень какая-то, а принял сердцем и всё. На чёрное будешь говорить белое. Это я так, образно. Тут главное сердцем не принять. Принял сердцем, поверил – принял дьявола вот и сектант. И тебя он уж ни за что не отпустит из этой секты.

– Вы так говорите, как будто в секте побывали?

– Я не побывал, а вот мой товарищ и по сей день в ней. Никакие доводы, никакие аргументы, всё впустую. А ведь образованный человек, два вуза закончил. Отнимаются мозги у людей. Они уже в каком-то своём мире живут, как наркоманы.

– А вы, мне кажется, что-то не договорили?

– Точно, не договорил. Не договорил про сегодняшний день. А вот про прошлое – всё сказал.

– И что же сегодня?

– А сегодня тоже неотрадная картина. У жены и у меня, ни с того, ни с сего сердце забарахлило: давление скачет, аритмия такая – аж качает. То тихо, то громко, а работает – будто на бегу по штакетнику палкой ведут. У нас только сердце, а свояченица совсем занемогла. Три инфаркта подряд: инфаркт глаза, инфаркт миокарда и инфаркт аорты. Врачи её списали, можно сказать, пожизненно группу дали. А тут она ещё стала зря говорить. То начнёт людям рассказывать, что мы её обворовали,

то плачет, убивается по всякому поводу и без повода, просто так. Слезы из глаз катятся как семечки. То начинает звонить нам по телефону постоянно, Может пятьдесят раз на день позвонить, а подойдёшь к телефону молчит, только в трубку дышит.

Шурин говорит, что её пожизненно в дурдом надо, налицо неадекватное поведение. Мы и сами понимаем, что с ней творится что-то неладное, а понять ничего не можем. Сами с женой по больницам мотаемся, горы лекарств приняли, а толку нуль. Поставили нам диагноз – распространённый остеохондроз, мол, от него всё это, и отпустили с миром. А тут мне знакомая говорит, что она ездила в монастырь и теперь у нее всё дома хорошо, а то до развода дело дошло. «Вот, думаю, куда свояченицу свозить», а та ни в какую. Наконец жена моя её уговорила и они поехали на отчитку этим самым рейсом, что и мы с вами едем. Вот так, дорогой. Только жена думала, что она сестру на отчитку везёт, а оказалось, обе на неё едут. После первой отчитки свояченица в себя пришла, глаза заблестели, чепуху перестала молоть, жене тоже сильно полегчало. А потом с ними и я поехал. С тех пор и езжу. Только на отчитку не хожу, постою на службе и к источнику. На местное кладбище ещё захожу.

Мы и не заметили, как автобус подкатил к церкви и остановился.

– Вот мы и на месте, – сказал Иван Петрович. – не торопитесь выходить, успеем. Я надеюсь, что мы не туристы. Обязательно, советую вам, побывайте у батюшки на отчитке.

– Да я вроде в норме, – На что он только улыбнулся.

– А вы сходите, сходите, не пожалеете. Славный батюшка, из монахов. А затем на святой источник идите, там и встретимся.

– А что, подумал я, – не побывать ли мне и правда на службе. Места здесь Богоугодные, благодать особая над этим местом изливается, и я шагнул в отворенные двери храма.

7

Сколько бы я раз не заходил в церковь, меня всегда охватывает чувство неподдельной радости и какого-то ожидания. Есть у храмов некое внутреннее и внешнее обаяние, которым они чаруют видящих и входящих. Помню, как я трогал стены древней церкви в Загорске, как прислонился к ним ухом и, кажется, услышал древнюю славянскую речь, и звон мечей, и запах древнего ладана. Всё так. У этой деревенской церкви было своё обаяние. Обаяние радости, с которой местные прихожанки, как могли, украсили Божий домик незатейливым убранством, отчего в него вселился уют и святая простота.

Это не городские храмы с позолотой и прочими богатыми вычурностями. Я не против и позолоты, и богатых окладов. Главное, чтоб этими окладами от лика Божьего не отгородиться. Так думал я, входя в притвор.

Церковь была полна людей; пришли на евхаристию, а затем на отчитку. Я перед поездкой причастился, но решил ещё раз постоять и послушать церковное пение. Голоса у певчих были отменные. Чувствовалось, что поют очень верующие люди. Я встал в сторонке, чтобы никому не мешать и стал тихонько подпевать.

После принятия Христовых тайн, священник перешёл к отчитке. Перед этим он долго рассказывал пришедшим о Боге, о заповедях и что бывает с человеком, если он не освящён божественной благодатью.

– Не удивляйтесь,– говорил священник,– если вы вдруг почувствуете, что не можете стоять, что в вашем теле начались ломоты, не удивляйтесь ничему, что будет происходить вдруг с вами помимо вашей воли и желания, и ничему тому, что будет происходить с другими.

И вдруг, он ещё не начал читать молитвы, а я уже почувствовал, как ноги мои от колен начали тяжелеть; мне вдруг стало невыносимо трудно стоять, но я крепился. Было огромное желание выйти из церкви и бежать, бежать. Батюшка начал читать

молитвы, раздались рыдания и душераздирающие вопли. Кто-то впереди вскрикнул, повалился на пол и стал биться. Рядом со мной молодая девушка тихо опустилась на пол и захохотала. Кто-то слева кричал: «Зачем ты жжёшь меня, проклятый монах!» А справа, двое дюжих мужиков никак не могли удерживать связанного. А батюшка, ходил по рядам и буквально обливал людей святой водой, осеняя их крестом. Он окроплял веничком, обезумевших людей и они затихали. Перестала дико хохотать девушка, перестал ругаться на батюшку мужчина, что называл его проклятым монахом, перестали держать связанного мужики.

Брызги в лицо водой вывели меня из оцепенения. Затем я почувствовал ещё два резких окрапа и вдруг некая лёгкость овладела моим телом. И мне уже не хотелось бежать из церкви, а от ног отхлынула тупая боль и усталость.

После отчитки, вышел на улицу. Я ещё толком не понимал, что со мною произошло и знал только одно, что нужно идти к источнику. Я пошёл вслед за двумя женщинами, потому что из разговора выяснил, что они туда направляются.

– Вы боитесь холодной воды?– спросила одна из них спутницу.

– Раньше боялась, а теперь ни капельки.

– Почему так?

– У нас одна женщина с двусторонним воспалением лёгких сюда приехала, на один день отпросилась у врачей и приехала, почти что тайно. Ведь лечащий врач не знал, что она сюда поедет. На службе пробыла и к бабушке, куда-де мне теперь, а он : «В источник». Она: «Я из больницы» так и так, а он: «Тем более, в источник.»

– И что же ?

– Да ничего, три раза на службе побывала, да в источнике три раза искупалась, и анализы ничегошеньки и не показали.

Я шёл, слушая рассказы женщин, и всё более смелел и смелел.

У источника меня встретил Иван Петрович.

–А я смотрю – люди идут, идут, а вас нет и нет. Стал думать: «Уж не плохо ли вам там стало? Зря, думаю, я вас одного оставил». Браню себя, на чём свет стоит. Ведь мы про отчитку и словом за дорогу не обмолвились, а вы первый раз.

– Не берите в голову, – отвечаю, – всё хорошо.

– Что, и не ломало? – спросил Иван Петрович. – Тогда вы герой. Старцы говорят, что сейчас редкий человек без злого духа ходит. Один из десяти. Статистика, как видите, не в пользу человек. Бабушка говорил, что лет двадцать тому назад такого наплыва беснующихся не было. Попустил видно Господь, попустил... А как же не попустить – совсем люди с рельс сходят.

Мы подошли к источнику.

– Каких то два года назад, продолжил попутчик, здесь никакого домика и в помине не было. А сейчас – красота. Хоть в дождь, хоть в ветер или выюгу, заходи и пользуйся Божьей благодатью.

– А вода, как сильно холодная? – спросил я.

– Это не бассейн, здесь без подогрева. И зимой и летом – стабильные плюс четыре.

– Ого!— сказал я оторопело.

– А ты не нервничай,— заметил Иван Петрович. В святой воде не простужаются и воспаления лёгких от неё никогда не бывает, если ты зашёл и с молитвой три раза погрузился с головкой. Первый раз, разумеется, не по себе. Перед входом молитовку прочитаешь, а как окунёшься, то уже и не до молитовки. А второй и третий раз уже проще: из воды, как ошпаренный, не выскакиваешь. Тут уже благодать действует. И потом, какие святые источники от чего помогают: одни от нечистой силы, другие от женских болезней хороши и так далее.

Перед самым источником нас обогнала легковая машина. Пока мы поднимались в горку, два дюжих мужика, коих я видел в церкви, вытащили с заднего сиденья здорового мужчину, обвязанного толстыми верёвками, и потащили его, почти волоком, к источнику. Ещё двое, у входа, помогли им и, наконец, общими усилиями, дотащили его до купальни.

Сердобольные женщины у входа, вступились за связанного, прося его развязать.

– А кто связывать будет?– парировал один из сопровождавших,– его дома всей деревней связывали, сколько верёвок порвал, а тут он всё строение по брёвнышку раскатает.

Мужичина, с виду татарин, лежал тихо, но не переставал дико вращать глазами и хрипеть.

– А ну, бери его, мужики!– скомандовал сопровождавший, и те под «раз, два, три», подняли страдальца и прямо с верёвками опустили в воду.

Окунув его три раза, они так же дружно его вытащили и положили на ровное место. Татарин уже не вращал дико глазами. Взгляд был спокоен и немного непонимающий.

– Где это я? – вдруг сказал он тихо. Затем, узнав одного из мужиков, сказал:

– Сидорыч! Ты что ли?

– Ну, я,– сказал тот, кого называли Сидорычем.

– А чего я связанный? И где это мы?

– Так я же говорил! – прокричал Сидорыч смеясь,– я же говорил! К батюшке его надо везти, да на источник. А они мне – «в дурдом оформляйте». Я сейчас, Муслимчик, сейчас, – и он стал, торопясь, развязывать этого самого Муслима.

После того как мужичину развязали, он тут же сел на землю совершенно тихий и спокойный.

– Что это всё значит!?!– спросил он.

– Давай, Муслимчик, переодевайся в сухое и поедем,– говорил ласково Сидорыч. Через десять минут Муслим, Сидорыч и ещё один сопровождающий, сели в машину и уехали.

– Ну, как, видал?– спросил Иван Петрович?– и добавил значительно.– То-то.

После купания, мы вышли с территории источника воодушевлёнными, и, как мне показалось, помолодевшими.

– Что? Скинули годочков пяток?– спросил довольно Иван Петрович.

– Скинули!– ответил я.

– А теперь давай вон на той горочке посидим да на Божий мир посмотрим,– сказал он и зашагал, стараясь идти вровень со мной, и говоря:

– Тут и не такого ещё насмотришься. Вот, прошлый раз, один мужик искупался, посидел на лавочке, поговорил, а вышел за территорию источника и память потерял. Стоит, а куда идти не знает. Жена, думает, что он её разыгрывает, а потом как увидела и поняла, что он действительно ничего не помнит: ни куда приехал, зачем и на чём, где находится и куда должен ехать? Тут хочешь, не хочешь, а задумаешься. С полчаса тот мужик ехал в автобусе пень пнём, потом, начал кое- чего узнавать. Знаете, первое, что он вспомнил?– Иван Петрович широко улыбнулся,– Не поверите – дырку в обивке переднего сиденья. И из этого сделал заключение, что он в

этом автобусе уже ехал и сидел именно на этом месте. – Помолчал и добавил: – Здесь много чего можно увидеть. Лютуют демоны. Надо же... Только человек за ограду святого источника вышел и налетели...

Мы поднялись на облюбованный им пригорок.

– Так это же кладбище!– удивился я, увидев ряды старых и новых могил.

– Да, это погост,– ответил попутчик и продолжил.– Место особенное. Ты видел, чтобы когда-нибудь на кладбище кто ссорился?– и тут же сам ответил,– нет, не видел. Вот и я не видел. А знаешь почему? То-то! Душа здесь с небесным соприкасается, не до того ей. Вся правда Божия вот здесь сокрыта, под этими крестиками, – и так спокойно говоря, он достал пригоршню маленьких свечек и стал их зажигать и ставить на безхозные могилки, по сути, просто на холмики.

– А вы знаете, кто здесь похоронен?– спросил я.

– Бог знает,– ответил он. –Наше дело помянуть, а Господь по именам назовёт.

Я занервничал. До отхода автобуса оставалось совсем ничего.

– А вы не переживайте, автобус без нас не уедет. Сейчас дождётся – свечки сгорят, так и пойдём. Я их специально разрезаю, из длинных короткие делаю, иначе на автобус не успеешь.

Свечки действительно довольно быстро догорели. Мне даже показалось, что они торопились и сгорали быстрее, чем обычно, как бы боясь задержать нас. Свечки прогорели и потухли одна за другой. Мы вышли с кладбища. Шли тихим шагом, направляясь в сторону церкви.

А вы знаете, почему люди страдают?– спросил Иван Петрович, и сам же ответил,– а потому, что люди от главного зла иммунитет потеряли. Вместо свечки да креста, на стол стакан мутного самогона ставят. И я в том числе. Мне бы, как услышал о колдовстве, так бежать бы без оглядки, что и сделали мои далёкие предки. А я, нет. Мне, видишь ли, интересно, во мне бес любопытство разжигает, потому, что я весь в его власти. Нет, в это время на себя крест наложить, а я умом кичился. А ум- то омертвелый, а душа страстями поражена. Самонадеянность – вот главное зло в человеке, вот главная болезнь. Мы считаем, что нас не обманут, а как же, ведь мы умные,– он сделал очень выразительную гримасу,– обманут, да ещё как обманут.

Иду я раз, смотрю, напёрсточники. Подошёл, гляжу – всё легко и просто. Думаю: «обмануть нельзя», сел. И что вы думаете? Обманули,– и он засмеялся.

– Почему обманули?– спросил я.

– Всё просто, у обмана логика другая. Он учитывает человеческие страсти, на них и играет.

– Значит ложь, знает нас лучше, чем мы сами себя, – заметил я.

– Всё правильно, – воодушевлённо поддержал Иван Петрович. – У нас ведь как: «да я!, да мы!» А я всегда говорю такому кичливому: «Ты пойдй сначала у напёрсточника выиграй, а потом якай». Слабо!?! Без иммунитета не выиграешь, а с иммунитетом играть не сядешь. Вот так-то. Обманщику рода человеческого, духу тёмному и бесплотному тысячи лет. За это время он и его шайка так человека изучили, что, по нашим меркам, сто раз академиками стали. Бога обмануть не могут, а нас запросто. Сам на своей дублёной шкуре испытал и другим говорю.

Вы, что, думаете, я только вам эту историю рассказываю? Дудки. Я её всем рассказываю. Люди не от сладкой жизни к источнику едут. Скрутило, значит. А тут я, так, мол, и так, любезный, угощаю своим опытом бесплатно.

– Меня - то, вроде, и не скрутило ещё? – сказал я.

– И вас скрутило. Иначе бы не поехали. Господь вас надоумил. Не тело ваше, так душу вашу связало, что нисколько ни легче. А болезнь одна и та же у всех. В этом автобусе здоровые не ездят. Все больные, весь род человеческий больной, а в автобусе сидят единицы от этого огромного мира. И вы радуйтесь, что вы в нём сидите. –

Он на время замолчал. А я в это время подумал «ездит вот этот милейший человек к источнику и рассказывает и рассказывает с глаза на глаз свою историю, со всеми подробностями. Он уже со счёта сбился, сколько раз съездил, а всё встаёт ни свет, ни заря и едет, чтобы хотя бы вот так крикнуть каждой человеческой душе: «Стой! Не видишь красный свет. Идти нельзя.» Люди же всё бегут и бегут, пренебрегая правилами, отринув иммунитет самосохранения, а взмыленный, молоденький регулировщик, всё машет и машет жезлом – «Туда нельзя! – задавит!». Нет, люди не слушают его, они торопятся, самонадеянные, гордые, стараясь в торопливости своей, проскочить перед самыми колёсами. Рискуют. Во имя чего рискуют!?».

Мне стало немножко грустно. В этой бегущей толпе, я вдруг увидел себя.

– Что, взгрустнулось немножко?– спросил сосед,– бывает. Я вот тоже как раздумаюсь, аж оторопь берёт. Вся жизнь перед глазами, как единый миг. А я себе твержу: «Не бойсь. Всё это ты прошёл не случайно. Тому должно было случиться с тобой. Помни о промысле Божьем. Неисповедимы пути его».

– Так вы бы книжку написали, чем вот так каждому рассказывать.

– Статьи на эту тему я писал, журналистский задор ещё сидит. Только далеко не всем это подхо-

дит, участие нужно, человеческий голос нужен,— и как бы желая доказать мне это спросил,— Вы батюшку сейчас с интересом слушали?

— Да, с большим интересом.

— А новое он вам что-то сказал, чего-бы вы не знали?

— Нет, ничего.

— А почему же вы слушали с большим интересом, раз вам это уже известно? То-то. Буква это одно, а голос — совсем другое, ближе, роднее, доверительнее...

Автобус остановился у небольшой станции. Пассажиры стали выходить, чтобы размяться. Вышли и мы.

— Посмотрите, что весна с природой делает. Всё оттаивает. Так и человек, тоже оттаивает от безвременья.

Я улыбнулся ему в ответ.

— Да, да!

Мы разом замолчали. И было от чего. Небольшой морозец, державший бразды правления в этой местности, вдруг перестал залазить, как вор, за воротник куртки. Лицо почувствовало дуновение тёплого ветерка. С каждой минутой воздух становился всё теплее и теплее. Это продолжалось до тех пор, пока холодная масса воздуха, скопившаяся в низине, не была выдавлена оттуда свежими тёплыми массами. Мы стояли, не шевелясь, вдыхая всей лё-

гочной массой душистые мартовские потоки, видя, как даже на закате солнышко вышло из-за облаков, и осветило вдруг землю по-иному – покаянно, кротко и тепло. И мне показалось, что я увидел, как сверкнул в его лучах купол сельской церкви, заиграла синими и белыми всполохами долина, и зардел деревянный новый крест над крышей теперь от нас далёкого святого источника.

– Весна идёт,– сказал, выдохнув, Иван Петрович.

– Не идёт, а летит,– заметил я, наблюдая за тёмной точкой на горизонте, которая, приближаясь, всё росла и росла, пока не превратилась в большую птицу.

–Грач!– выдохнул воодушевлённо Иван Петрович. Мы смотрели заворуженно на птицу, а та, медленно махая крылами, облетела автостанцию, снизилась над автобусом и, плавно планируя, спустилась неподалёку от нас на единственную оттаявшую кочку. Опустившись на ком чёрной земли, грач ткнул носом мёрзлую землю, как бы проверяя – годна ли она для него, и остался на ней сидеть, внимательно осматривая нас и чувствуя всей своей грачиной душой, что начавшая оттаивать кочка уже больше не замёрзнет.

Саратов, 2007.

Про Гаврюшу – лешака и Ивана – дурака

(повесть-сказка)

1.

Жил был на свете лешачонок Гаврюша, по прозвищу Тихоня. Как и подобает лешакам, жил он неподалёку от кладбища в овраге, заросшего старыми ивами и шиповником. И занятие у него было лешачье – поздно вечером да ночью людей пугать и всякие пакости им устраивать. Как увидит одинокого прохожего, так и старается к нему подступиться.

Сначала, он издали ухать начинает, или какие другие звуки издаёт: например, заскрипит словно дерево на ветру или будто филин крыльями хлопает. Умел он и кошкой мяукать, и собакой лаять. А ещё он умел на человека самые простые чары наводить.

Наведение чар – задача трудная, но необходимая. В этом Гаврюша преуспел. Другие лешачата только мяукать, да лаять учились, а он уже людей с дороги сбивал и в лес уводил. Учителя в лешаческой школе его наперебой хвалили; говорили, что леша-

чок очень способный и долго в кладбищенских мяу-кальщиках не засидится. Среди своих одногодков Гаврюша ходил важный, а те к нему пристают, покажи, да покажи фокус-мокус.

Гаврюша долго не сопротивляется. «А ну-ка, найдите мне прохожего в вечернюю или ночную пору», – командует однокашникам. Те моментально разбегаются такого прохожего искать, а как найдут, то сразу и докладывают, а затем все вместе к тому прохожему устремляются: кто бежит, кто скачет, кто по воздуху летит с ковыркушками; радуются предполагаемому веселью.

На этот раз пешеход подходящий попался и не то чтобы трус, но и храбрецом его тоже не назовёшь. Идёт себе, от холода голову в воротник куртки втискивает, бодро так идёт и ещё песенку насвистывает.

«Были у бабуся два весёлых гуся...» и так далее.

– Сейчас мы тебе посвистим; свистун нашёлся, – сказал Гаврюша весело, – сейчас тебя понос прошибёт и язык к небу прилипнет, – и тут Гаврюша заухал, а другие лешачки засвистели, да как ночные птицы крыльями захлопали, пешеход вздрогнул, остановился, насвистывать перестал и стал осматриваться. Разумеется, он ничего заметить не мог, так как лешаки человеческому глазу недоступны. Лешак ведь, хоть в самый солнечный день будет ря-

дом стоять, а ты его не увидишь; он может и на плечо к тебе сесть, и ты этого не почувствуешь.

Поозирался пешеход на посторонние шумы, пообвык и дальше пошёл. Тут, казалось бы, и всё, спектакль закончился, если бы не способный Гаврюша. Он и подступил к пешеходу со своими приколами. И так ему представился и показался...! Во-первых, он принял видимый для человека образ. Видимый – это не то, что невидимый, видимому доверия больше. Поздоровался с пешеходом, спросил, куда тот путь держит? Тот говорит: – «В село Ягодная Поляна иду». Лешачок обрадовался, говорит, что им по пути.

Пешеход тоже рад попутчику. Идут, разговаривают, а лешачок тем временем путнику глаза отводит и во время ходьбы в сторону заворачивает. И если раньше месяц смотрел пешеходу при ходьбе в лицо, то теперь уже с боку светит, а под ногами пешехода уже не дорога, а стернёвое поле. Только пешеход этого не замечает, потому, как Гаврюша ему глаза отводит.

– Как тебя зовут?– спрашивает Лешачок.

Федей.– А я Гаврюша.

– Гаврила, значит, – уточнил пешеход, а сам уже по полю паханому тѣпает, как будто так должно и быть и всё на Гаврюшу посматривает. Идут уже долго, а деревни, куда Федя идёт, всё нет и нет.

Тут говорит Федя Гаврюше, то есть лешачку:

– Может передохнём немного, чайку попьём, у меня в термосе есть.

– Это можно, – соглашается лешачок. – Давай сядем на бугорок и почаёвничаем. – Федя согласился; уселись они на поросший травой бугорок, Федя крышку термоса отворачивает, а потом из термоса в эту крышку чай наливает и протягивает лешачку. Тот говорит:

– Нет..., твой чай, ты первый и пей. – Федя в ответ:

– Ладно, так и быть буду пить первым, – и по привычке, перед тем как глоток отпить и говорит: – Слава Тебе, Господи, добрый попутчик встретился, да по привычке перекрестился. – Глядь, а попутчика-то и нет. Осмотрелся – место незнакомое..., кладбище..., видит, как кресты в лунном свете мерцают; он на старой могилке сидит и держит в одной руке светящуюся берёзовую гнилушку, а в другой беловатый старый мосол, а термос даже из сумки не доставал.

Оробел Федя. Тут кого угодно страх обнимет. Вскочил с места и, крестясь и поминая нечистую силу самыми последними словами, пустился наутёк. И так перепугался, что потерял по дороге и шапку, и мешок, и термос. А лешачки вслед свистят, улюлюкают, ногами топают, вроде за ним гонятся. Такое вот у Гаврюши было творческое занятие – людям головы морочить.

И так Гаврюша в этом деле поднаторел, что люди, те что жили неподалёку, в деревне, думали, что это у них сами собой всякие неприятности происходят: забредёт ли корова в глубь леса – люди думают, что это пастух-растяпа; пробьёт ли кого понос – думают, что это микроб в желудок попал и вот себя всякими лекарствами начинают травить. А лешачонку Гаврюше смешно. Он до того исхитрился, что свои козни умел за всамоделешнюю болезнь выдавать.

Например, взять артериальное давление – вещь, можно сказать, самая наипростейшая, любому самому бестолковому лешачонку под силу. Тут и делов-то – раз плюнуть. Достаточно замкнуть в человеческом организме нервные окончания, вот и все дела. Если сказать современному человеку попонятнее и попроще, то можно это сравнить с замыканием в электросети.

Прежде чем нервы замкнуть, их надо оголить, то есть изоляцию снять. Снять изоляцию – самое сложное дело. Тут надо человека довести до отчаяния, изоляция сама и слезет. Вот и короткое замыкание налицо, а там скорая помощь, люди в белых халатах и реанимация. Только полностью изоляцию с нервов редко снять удаётся. Чаще всего Гаврюша считит несколько слоёв и нервы друг с дружкой соединяет, происходит пробой из-за слабости изоляции. Этого для повышенного давления вполне дос-

таточно. У человека давление растёт, глаза пучит; мается сердешный, места себе не находит. В общем, всё как надо.

А хорошо, если не два проводка замкнуть, а целых четыре. Тут тебе уже и сердце начинает сбои давать, тахикардия начинается, а к ней уже и аритмия плюсом идёт. Вскоре лешачок уяснил, что это даже лучше, когда изоляцию совсем не снимаешь, легче человека с толку сбить и по неправильному пути в лечении направить, потому как врачи тоже не дураки, и снятую полностью изоляцию на нервах научились обнаруживать.

Опять же в этом деле хитрость нужна. Вот, прошлый раз Гаврюша перестарался с изоляцией. Так, того мужичка на скорой помощи увезли, под систему положили. А надо было покуражиться и отступить. Отступить не просто так, а с хитростью; только тогда отступать надо, когда человек лекарства выпьет; вроде бы это не Гаврюша куражится, а болезнь такая к человеку привязалась, а лекарство и помогло.

Или ещё так бывает, – приступит Гаврюша, нагонит давление и долго человека не отпускает. Врачам тоже при этом достаётся, бедные просто в мыле: справочники и энциклопедии разные листают, лекарства другие назначают, уколы колят, системы ставят, а лешачонок всё давление повышенное держит, пока человек не созреет, не отчаётся и взятку

врачу в карман белого халата не сунет. Опять же, эту процедуру не с каждым врачом проделаешь. Гаврюша знает, кто из врачей на это дело пойдёт, а кто нет. Врач, конечно, сделает вид, что не заметил, что один карман в халате стал тяжелее, а как придёт в ординаторскую, так сразу садится и другие лечебные процедуры назначает. Только на вновь назначенную процедуру больной сходит – так Гаврюша от него и отступит. Врач доволен, больной тоже и лешачонок доволен, потому что пациент этот потом всем своим друзьям и знакомым рассказывает, что без мзды сейчас никак нельзя и так далее. Вот такой Гаврюша умный.

Ещё любит лешачонок, когда его пациенты (а он всех людей, с кем имеет дело, своими пациентами называет) жалуются, да во все инстанции письма строчат. От таких их действий у лешачонка особая внутри радость. Эту радость, современная молодёжь «кайфом» называет. Лешие постарше и поопытнее этими делами не занимаются. У них дела серьёзнее: заставить, например, человека на другого человека напраслину возводить, особенно если ради карьеры или достатка. А уж самые поднаторелые лешаки, с образованием, те сплошь в политике. О них мы помолчим до срока, пока же с лешаками-подростками разберёмся.

Взрослые лешие умело разыгрывают семейные ссоры с любовницами, любовниками и разводами.

Ведь вот какие искусники – возьмут и поднимут в душе у человека такую ревность, что он аж кипит сердешный от негодования. В этот момент ему достаточно или нож подсунуть или верёвку – одно другого для человека не лучше. Вот, только на той неделе Гаврюша наблюдал интересную и, можно сказать, поучительную картину с классическим развитием событий: с ревностью, с уездом к маме с маленьким сынишкой, с прикладыванием супруга к бутылке ради успокоения. А уж как только человек в руки бутылку взял, так от него лешак сразу и отступает, чтоб себя не компрометировать. Напившийся человек, сам всем лешакам фору даст, потому что его человеческий ум такое может придумать, что ни одному лешаку и во сне не приснится. Вот он такой у человека ум, но о нём поговорим потом, оттого что эта тема, об уме и разуме, требует особого разговора.

Пьяницы – люди лешаковские, потому как своими делами им служат. Но пьяницам Гаврюше приходится иногда и помогать, чтоб не совсем с катушек съехали и их лешаковский кайф не испортили. Что толку, если кто-то кого-то в пьяном угаре избьёт. Пьяницы, они ведь легко мирятся – бутылку на стол – вот и мировая. А этого лешакам не надо. Здесь нужно умело дело склонить к тому, что бы кого-то прищучить так, чтоб и следователь объявился; далее – чтобы взятка нарисовалась, а там можно и телефонное право закрутить, чтобы виноватый

оказался, вроде, и невиноватым, а может быть даже и наоборот – тот кто невиновен – в наручниках и в обезьяннике, а кто виновен – тот на воле рыбку в пруду ловит, да живот на солнышке греет. Прокуратуру можно между делом задействовать или «неподкупных» адвокатов; опять же разыграть классическую схему раздора с отягчающими, которую им преподавали в лешаческой школе, а потом в гимназии.

А что это за школа, спрашиваете? Простите, что я вам сразу не сказал. Просто все лешачки могильные сначала учатся в лешачковских начальных школах, без какого - никакого образования нельзя. Должен же лешачёк знать: для чего он живёт? Почему должен жить так, а не эдак? Что он в жизни должен делать и к чему должен стремиться? У лешаков с этим строго. Тут Гаврюша даже немного завидует ребятишкам в Полуденной стране, потому в их школе такими вопросами детские головы не нагружают.

В начальной школе лешачки изучают «Землеграфию», «Азы психологии запугивания и обмана» и так далее.

Что такое Землеграфия? Это тоже самое, что в людской школе – география, только в отличие от географии, тут у лешаков свои названия городов, стран, морей и так далее. В бесовском мире всё несколько иначе; они и лидеров стран, учёных, обще-

ственных деятелей человеческих по-своему называют. Например, ни один бес никогда не назовёт Азию Азией, А Европу Европой. А, почему? Да потому, что за этими местами у копытастых закрепились свои названия задолго до того, как люди на земле появились. В Землеграфии можно встретить такие названия как «Страны жёлтого восхода» или «Страны рыжего заката». И всё очень даже понятно. Не то, что «Европа» или «Азия», поди-ка, найди их на карте.

Лешачата землеграфию любят. А как же её не любить, когда они давно всю Землю облетели и много чего знают. Потом, эта информация из землеграфии не самая главная, есть предметы и поважнее, изучая которые лешачата уяснили, что их главная задача на земле – это строить людям козни. В школе изучаются азы этих козней. Самые глупые из нечистых духов после окончания школы – идут в барабашки, поумнее – в болотные кикиморы или лесовички, а самые способные, разумеется, в лешаки.

Особо одарённые ученики могут поступить в гимназию. Гаврюша, разумеется, в начальной школе дурака не валял и был у педагогов лешаческих на хорошем счету. В гимназии науки изучаются куда глубже и основательнее, чем в обыкновенной школе, с уклонами. После гимназии можно поступить в колледж и уже учиться по профилям. Профили там

разные: есть лешаческое отделение, есть отделение кикимор болотных или барабашек. Здесь уж кому, что ближе. Потом, на лешаческом отделении изучается философия, психология, культурология, религиоведение. На лешаческом отделении всегда конкурс больше, потому как отделение перспективнее. С лешаческого отделения легче в академию подземную поступить – «Тар–Тарар» называется. Эта академия – мечта любого тёмного духа. Только поучившись в академии можно в «люди» выбиться – то есть, занять в лешаческой общине высокую должность. А как это занять высокую должность в бесовщине?.. обыкновенному человеку невдомёк.

Гаврюша же знает, что если академию закончить и знаний поднакопить, то могут решением высшего бесовского совета к значительной личности из среды человекoв приставить, там к депутатам или министрам, а может даже и премьерам в виде невидимого советника или референта, тут уж как повезёт. А если к первым лицам не удастся в советники тайные попасть, то неплохо и к их референтам подсесть, тоже дело перспективное. Потом, только в академии есть кафедра «Узы с общественностью». В общем, там много чего есть. Об академии мы успеем поговорить, а пока расскажем о гимназии, которую Гаврюша окончил с отличием.

В гимназии каждый год обучения имеет свою специфику. Так на первом году обучения изучается

«Лечебная дуристика», в чём мелкие духи неплохо преуспевают. «Семейная драма» изучается на второй год. Третий год обучения – сплошная «любовная опойка». Четвёртый год обучения самый сложный – в этот год проходят «Сотрудничество». Это что-то типа бесовского сопромата. Тут изучается совместная работа бесов с людьми. Люди эти, с кем сотрудничают лешаки, то же особенные, их в человеческом обществе называют «колдунами», «магами», «экстрасенсами». Вот с ними-то маленькие нечистые духи и сотрудничать учатся.

Гимназию духи то же не все заканчивают. У кого какие способности: кто один год проучится, кто два, а кто три или даже четыре. Ума много не надо, чтобы там проводки давления замкнуть, иль болезнь с одного человека на другого перекинуть, тут и одного года достаточно. На втором году – уже изучаются задачи с иксами. Тут, чтоб неизвестное найти – надо головой рогатой подумать. Формулы, правда, есть, без них совсем труба. Эти формулы академики копытастые разработали. А вот на третьем году обучения, где «Любовную опойку» проходят, там уравнения – рога сломишь, и свинячий нос о парту изотрёшь, а не решишь. Гаврюша, когда эти уравнения решал, чуть в лешачий дурдом не угодил, потому как зацепилась одна мозга за другую, и вот тебе короткое мозговое замыкание. В общем, в этом нет ничего хорошего и об этом лучше не вспоми-

нать. Только непонятно: как такие замыкания люди терпят?

А вот «Сотрудничество» хотя и на четвёртом курсе проходят, но оно как-то то-ли попроще, а может быть просто повеселее. Здесь узнаёшь, что, оказывается, не все люди на лешачков злые, а есть даже очень хорошие «дедульки» и «бабульки», которые лешачков любят и даже вместе с ними трудятся к взаимной выгоде. Тут, главное, головой думать особенно не надо, «бабки» или «дедки» сами за лешачков всё продумывают, а тем остаётся только всё в точности исполнить. Здесь самое трудное – это язык общения, слишком он условен, как азбука Морзе. Можно какие-то значки ненароком и перепутать. «Дедульки» и «бабульки» тоже разные бывают. Ими могут быть и совсем молодые люди и даже неженатые и незамужние, всяких хватает, только чаще, конечно, настоящие дедульки и бабульки мелькают.

Главное в этом сотрудничестве – задачу расшифровать, то есть, перевести её с языка колдуна, на язык лешачка. Перевод – это самое трудное дело, тут столько ограничений и строгостей. Так, например, решил колдун на кого-то болезнь послать и прикажет сделать «на смерть», а лешачонок переведёт это слово не «на смерть», а «вусмерть». А «усмерть» – это только надобно оппоить человека алкоголем хорошенько, вот и всё; а «насмерть» – это

человека в могилу свести. Вся заковыка в обыкновенном пустяшном предлоге, или там в запятой, типа «казнить, нельзя помиловать» или «казнить нельзя, помиловать».

Особенно подробно этот вопрос изучается в колледже, который лешачок. Гаврюша успешно закончил после учёбы в гимназии. Так, по мнению преподавателей колледжа, в этом деле много подводных камней. И не тех камней, которые утопленники себе на шею вешают, а лешачки им помогают, а тех камней, которые называются неожиданностями. Старший преподаватель колледжа – Вечерний Мрак эти подводные камни называл «непознанными симптомами».

Первое задание – перевод с языка колдуна на язык демона, хоть и трудное, ничем плохим лешаку не грозит, за это колдун больше отвечает и если случаются непонятки, чтобы самому быть ненаказанным, легко всё свалить на «бабульку» или «дедульку». Вечерний Мрак так и советовал делать. Во втором же случае, когда надо действовать, часто случаются казусы, а их, на кого-то, не свалишь. А откуда эти казусы? В экстремальной ситуации этот гомосапиенс, то есть – человек мыслящий, способен на многое. Об этом мы тоже поговорим подробнее, но потом. Ах! Требуете, чтобы я сейчас, хотя бы кратко сказал! пожалуйста... А скажу я словами нашего преподавателя, уважаемого в лешаковском

колледже, специалиста по философии и психологии его грехоподобия Свинорылова. Умнее этого преподавателя во всей гимназии не сыщешь, он даже умнее Вечернего Мрака.

2.

Простите меня великодушно, что я вам о старшем преподавателе Вечернем Мраке не рассказал и на Свинорылова переключился. Упомянуть, упомянул, а не рассказал, сей минут, исправлюсь.

Этот старший преподаватель был у нас в колледже самым нелюбимым. И предмет он вёл своей натуре под стать – «Общественствоследение». Конечно, предмет этот был нужный и даже очень необходимый, особенно если ученик желает вырасти на лесшаческом чиновничьем поприще, только уж много надо было запоминать; тягомотный предмет, прямо аки лапша в супе.

Пришёл Вечерний Мрак, прах его дери, на урок, встал и, подбоченившись, сказал:

– Наш предмет особый. Без знаний по нашему предмету, нельзя не только успешно расти по служебной лестнице, но даже и совершенно не возможно, потому как вы должны знать к кому и как в бесовском обществе обращаться и кто и как в нём наследил. А чтобы знать как к тому, или иному чиновнику, преподавателю или просто служащему об-

ратиться, надо знать на какой ступеньке иерархической лестницы он находится и какие отличия, и награды имеет. Начнём по порядку. Как вы обратитесь к самому главному из бесов?– спросил Вечерний Мрак.

– «Ваше Величество...»– сказал бесёнок по имени Шерстяной.

– А, вот и неверно,– довольно потёр ладонями Вечерний Мрак.– Это даже совершенно неверно... так принято обращаться у людей, а не у нас. К наивысшему бесу обращаются со словами «Ваше Грехопадение». Если рангом пониже то «Ваше Безнравие», а если ещё ниже, то «Ваше Скотоподобие». Это, так называемая, тройка первых лиц в нашем сообществе. К следующей тройке лиц надо обращаться: «Ваша тлетворность», «Ваша бессовестность», «Ваше бездушие» и к третьей тройке: «Ваша наглость», «Ваше подлое очернительство», «Ваше интриганство» и больше никак. И не дай вам, Непостижимый, ошибиться...! К тем бесам, кто курирует банки, обращаться одинаково – «Ваше накопительство», не ошибётесь.

– А если в золоте купается? – спросил Копытошкин.

– Если очень богат, то можете обратиться: «Ваше безмерное накопительство».

Ниже этих лиц идёт большая группа чиновников примерно одинаковой силы и ранга, всех их вы

можете называть «Ваше взяточничество». Только учтите, хоть это обращение и узаконено, но чиновники его не любят и лучше сказать «Ваша злобредность», это мягче и не носит указательный характер.

Но, если кто из чиновников награждён, например медалью «За беспринципность», то к нему уже надо обращаться «Ваше беспринципное взяточничество», это важно, потому, как мелкие чиновники особо к этому придирчивы. От них же очень многое зависит.

– Что же от них может зависеть, если они мелкие? – спросил бесёнок Копытошкин.

– Не скажите..., не скажите...– потёр копытный свод педагог.– Вот вас приставили к награде, например, к «Ленте греховой славы третьей степени», а вас тот или иной мелкий чиновник невзлюбил. Так этот прыщ возьмёт и не впишет вашу фамилию в список награждённых, вот и всё, плакала ваша награда.

– Так можно обжаловать,– сказал бесёнок по имени Пятачёк.

– Можно - то оно можно, только вышестоящий чиновник эту бумагу не подпишет, потому как на его ведомство пятно ляжет, а ему на одну награду больше или меньше, какая разница, главное, что в его ведомстве всё тип-топ... И, прошу вас, следите за употребляемыми словами. Например, сколько бесов понижены в должности только из-за того, что вме-

сто обращения «Ваше Бессмертие», сказали «Ваше Бессмердие». А это уже кощунство, поклёп на должностное лицо. Дело же в одной буквке.

Нередко путают такие обращения как «Ваше Славожелание» и «Ваше добровольное Бесславиe», – и, обращаясь к лешачкам, спросил хитро с ехидной улыбкой, – как вы понимаете эти обращения? Чем они отличаются?

– «Ваше Славожелание, – это продукт гордого ума, – сказал лешачонок по имени Шелудивый.

– Правильно, – а ещё, кто чего добавит? Давай, Гаврюша, выручай товарищей, – промолвил преподаватель, поглядев пристально на нашего лешачка.

– Я думаю, что обращение «Ваше Славожелание» относится к бесам более низкого ранга – выдохнул Гаврюша.

– Правильно, но не полно..., нет обоснования...

У тебя, Гаврюша, хорошо развита интуиция, ты чувствуешь слово..., садись. – И, обращаясь ко всем, сказал. – Я не просто задал этот вопрос. Тот, кого называют «Ваше Славожелание» – просто желает славы среди сородичей, похвалы за устройство гадостей людям. Хорошее желание, скажу вам, просто изумительное желание! Только оно без внутренней полноты, без самоотречения в деле. Эпитетом «Ваше добровольное Бесславиe» награждают того, кто во имя вреда людям отказывается от собствен-

ной лешаческой славы, которой к тому времени достиг.

– Это невозможно, – выпалил вислоухий лешачок, – до того молча сидевший за последним столом.

– Возможно, Вислоухий, возможно, – сказал Вечерний Мрак и добавил с пафосом. – Высшая точка отречения от собственных бесовских достижений, почитание их ни во что в деле совращения людей – есть высшее достижение бесовских делателей неправды. Если хотите знать, самоотречение во имя зла – есть бесовская «святость»... Дерзайте, сыны погибели, может быть и из вас кто достигнет бесовского совершенства!..

– Это за гранью возможного, – сказали лешачки. – Это даже понять трудно, не то, чтобы достигнуть...

– Только не отчаиваться!!! – Строго сказал Вечерний Мрак, – Отчаяние, что у людей, что у лешачков, самое большое преступление. У нас – это преступление перед вечностью. Знайте, что рассмотренные нами обращения, далеко не все, остальные вы уясните, исходя из практики.

Такой был этот старший преподаватель Вечерний Мрак, чтоб ему... Ах! да мы отвлеклись, ну его с этим Обществоследением. Лучше поговорим о Свинорылове... Значительная фигура!... Очень значительная, даже сравнить не с кем...

Этот Свинорылов, как сейчас помню, так рассказывал... Пришёл, встал перед нами, копытом хряческим о стол опёрся, вздохнул и так глубоко-мысленно говорит: «Духи мои! Сегодня мы коснёмся очень сложного вопроса, это вопрос мироустройства. Без знания которого все наши усилия тщетны и даже наивны. Вы должны знать: как устроен мир? Для чего он существует? И для чего живём в нём мы? Вы должны знать, кто этот мир создал? Кто в этом мире человек? И какова его задача? В общем, вопросы, вопросы и вопросы. Я бы сказал, что это стратегические вопросы. А стратегия – это всё! Так вот, благодаря нашей многовековой деятельности люди так запутались в этих вопросах, особенно в Полуденной стране, что запретили в школах эти вопросы даже упоминать, а не то, чтобы изучать и как следствие – утонули в невежестве. В результате человек стал непросвещённым и грамотность их стала хуже безграмотности. «Безграмотные» пра-прабабушки из людей, знали ответ на эти вопросы, а сегодняшняя молодёжь – нет. Это наше главное бесовское достижение». – И пошёл, пошёл говорить и нас к разговору привлекать.

– Итак, может быть, кто-то знает или догадывается, какова главная задача лешачков на земле? – спросил Свинорылов и пощипал третий подбородок снизу. Увидев же, что три лешачонка смело подняли лапки, воодушевлённо сказал:

– Милости прошу, Хвостатый, милости прошу.– Лешачонок, которого назвали Хвостатым, вскочил с места и, часто моргая глазками и подхрюкивая, громко произнёс: «наша задача устраивать всякие шумные игры и дразнить болотных кикимор!», – выпалил он.

– Полно, полно, Хвостатый,– перебил его Свинорылов,– думать надо не рогами и копытами, а головой. А теперь, ты ответь, Капытошкин,– сказал он, кивнув другому лешачку. «Наша задача, – начал говорить взахлёб лешачонок,– это, это, это...пугать людей и устраивать всякие козни!»

– Что ж, правильно, Капытошкин, объект приложения наших демонских сил, конечно, человек. Но, это не полно. Пугать людей – это средство, а не цель. Наша цель,– сказал он, почесав второй подбородок сверху, – это увести человека с пути, который ведёт его к спасению и направить к нам, заставить его служить нам. И первой задачей в достижении этой цели есть помрачнение человеческого ума. Запишите это и дважды подчеркните.

– А я немного умею помрачать ум, - вымолвил Гаврюша.

– Мы наслышаны о ваших проказах,– сказал преподаватель и ехидно улыбнулся, ему нравился этот смышлённый лешачок,– Вы просто овладели технологией, не зная к чему всё это применить. В результате получилось развлечение, вот и всё. По-

дурачиться и испугать прохожего, сбить его с дороги и привести на кладбище – это одно, а вот сбить его с жизненного пути – это совсем другое. Кхе-хе-хе...

– А мы его, господин профессор, и сбили с пути, да так, что он у нас километров десять лишних дал, – произнёс Гаврюша запальчиво.

– Тот путь, о котором вы говорите, это обыкновенная дорога между пунктом «А» и пунктом «Б», вот и всё. А я говорю о цели жизни человека и нашей цели. Цель жизни человека – это прийти к Богу, которого мы демоны, называем «Непостижимым». – После произнесения им слова – «Бог», всех лешачат почему-то затрясло и бросило в озноб. Они задрожали, а у самого Свинорылова лоб покрылся испариной. – Мы не можем произносить первое слово, – продолжил он, – так как оно жжёт нас и потому мы его заменили на второе – «Непостижимый». Видите, вас не трясёт при произнесении слова «Непостижимый»?

– Да, да, – закивали лешачата.

– Наша задача – не допустить этой встречи человека и Непостижимого. Поняли?

– Угу! – произнесли лешачки хором.

– И так, – продолжил преподаватель, – чтобы сбить человека с пути и повести его к нам, необходимо помрачить человеческий ум. И это совсем не то, чтобы выключить человеческий разум и увести человека, как сделал Гаврюша, а надо сам ум пом-

рачить. Разум же есть производное от ума. Если сам ум помрачить, тогда не надо и всякие козни строить. Ум в человеке, когда он светел и чист – главный наш враг, он ведёт человека к Непостижимому. И он же наш незаменимый помощник, когда помрачён. Об этом я буду вам постоянно напоминать для лучшего усвоения.

Свинорылов сделал паузу и через очки строго оглядел аудиторию, показывая тем самым, что они коснулись главного вопроса во вселенной.

– Так вот, заставить человеческий ум служить нам – и есть работа высшего пилотажа, к чему мы и должны всегда стремиться, – заключил он и окинул торжествующим взглядом присмиривших лешачков.

– А если его, этот ум накрыть мешком, тогда он помрачиться? – спросил Хвостатый, на что преподаватель улыбнулся, показав два больших желтоватых клыка, и ответил:

– Нет, напрямую человеческий ум нам недоступен и мы не можем его, вот так просто накрыть, как вы предлагаете, мешком... хе-хе-хе. Это не электрическая лампочка. Тут есть другие способы и средства. Чтобы помрачить ум, надо поселить в человека страсти – это наш главный инструмент. Итак, запишите в своих тетрадях посередине и крупно слово «СТРАСТИ» и жирно подчеркните. Они и будут предметом нашего дальнейшего разговора.

Лешачки стали выводить корявыми буквами по середине листа слово «Страсти».

– Итак, записали? – спросил Свинорылов, – молодцы. Страсти они наши главные помощники в расчеловечивании, то есть в попрании человеком закона, вписанным в его сердце самим Непостижимым... Запишите далее с красной строки – есть страсти личностные, то есть индивидуальные, а есть страсти присущие отдельным группам людей, в скобках (партиям), дальше нациям, народностям и человечеству в целом. Г-м-м, записали?

– Не понятно что-то? – проговорил с задней парты лешачёк по имени Шелудивый. На него зашикали.

– Это высшая математика в бесовском деле, – надменно, сказал Свинорылов. В гимназии мы изучаем только личностные страсти, а все остальные проходят в академии.

– А можно хоть чуточку сказать, – произнёс наш лешачок.

– Ладно, так уж и быть, – приосанился Свинорылов, – так сказать для общего ознакомления, не больше, потому как в академии каждую из названных тем изучают целый год, сдают зачёты, экзамены и изучают всё это по Болонской системе обучения.

– А эту систему тоже мы придумали? – спросил лешачок.

– Нет, уважаемый, мы много чего придумали, чтобы сбить людей с толку, но и у них тоже многое перенимаем и у себя экспериментируем, так сказать, происходит взаимообмен «научными разработками». Сейчас Болонская система в стадии апробации и у людей, и у нас... Предупреждаю: не смотрите на человекoв свысока, они тоже не лыком шиты и у них ум прекрасно работает, когда он незатемнённый. Надо отдавать должное людям и надо уважать противника. Если вы будете видеть в людях одних дураков, то дальше кладбищенского уханья не уйдёте... а, нам нужны первоклассные специалисты, которые человеческие слабости могут в бесовскую пользу обращать. Вот вам маленький пример.– В Полуденной стране сейчас разворачивается борьба с коррупцией.

– А крупнуция, это наших рук дело?– спросил кто-то.

– Не «крупнуция», а «коррупция»,– поправил Свинорылов и пояснил.– Нельзя всё относить к результатам нашей деятельности. Наше дело разжечь в человеке страсть к деньгам, накопительству и так далее, это главное. Человек же, сам придумает способ удовлетворения этой страсти и, скажу вам, не хуже нас,– и засмеялся. – Кхе-хе-хе.– Затем, глубокомысленно, продолжил.– Высший же пилотаж это даже не сама коррупция, а способы борьбы с ней. Большинство бесов стараются этот вопрос у людей

спустить на тормозах, то есть так – шум есть, а дел нет. Такая лешаческая позиция проверена в веках, но она, как говорится, без особого полёта и фантазии. Надо дело поставить так, чтобы борьба с коррупцией вылилась в ещё большую коррупцию, а борьба с ещё большей вылилась в всеобъемлющую... и так далее...

– Разве это возможно!? – удивился Пятачок.

– Вот когда будете учиться в академии и познакомитесь с моими научными работами, то увидите, что это не только возможно, но и является одним из главных путей по ослаблению противника. Кстати, в Полуденной стране полным ходом идёт апробация моих идей и на сегодняшний день не безрезультатно. – Он немного задумался, пожевал губами, высморкался в свиную ногу и продолжил, свысока глядя на молодых бесят:

– Главное это идея, – сказал Свинорылов. – Нужно вовремя подкинуть людям идею. Чаще всего, это делается через какого-нибудь учёного, политического деятеля и так далее. Слышали, наверное, про такую знаменитую фамилию у людей как Сластёнов?

Лешачки закивали головами, – наша разработка, – довольным голосом произнёс преподаватель.... – Если же идея исходит от человеков и им полезная, то мы её должны скомпрометировать и переиначить. Вот, например, идея революций, то

есть переворотов – наша идея. Мы её удачно привили к человеческому древу и она много веков даёт плоды. Никакой народ не устоял перед соблазном порулить, ни в странах Жёлтого восхода, ни в странах Рыжего заката и только Полуденная страна дала наивысший самоубийственный результат. Этот результат на планете долго не будет превзойдён.

– То есть, наивысший результат достигнут и больше революций не будет?– поинтересовался лешачок по имени Клопастый.

– Нет, что вы!!– воодушевлённо сказал Свинорылов, – идея революций бессмертна!! Вы меня не так поняли. Просто на каждом этапе развития и у каждого народа она своя. Были революции буржуазные, социалистические, теперь козлобородые разработали революции цветные. Академик Сизый Череп, с кафедры Социологии, за разработку цветных революций, а потом и их внедрение, стал лауреатом премии «Адового пламени». Кто из вас будет учиться в академии, меня вспомнит. Сдать зачёт по «Теории революции в человеческом обществе» менее чем с трёх раз никому не удавалось... Это даже не сопромат и не старословянский язык, это много сложнее.

Свинорылов замолчал, прошёлся по классу. Проходя мимо Гаврюши, ласково погладил его по кудрявой голове, что свидетельствовало о его большом к нему благорасположении, затем вернулся к

своему столу, достал носовой платочек с выбитыми на нём словами «Нетерпимому преподавателю от нетерпимых учеников», отёр со лба пот, затем громко и самодовольно хрюкнул, отчего двух лешачат с первой парты буквально сдуло, а у других на минуту заложило уши и продолжил:

– Но и «Цветные революции» скоро пройдут. Сейчас наши учёные уже работают над революциями «Генетическими!».

– «Геетические» – это понятно. Мы про геев уже слышали, нам говорили, – сказал лешачок по имени Шерстяной, в надежде, что его похвалят.

– Ни «Геетические», а «Генетические», – поправил Шерстяного Свинорылов. Прошу впредь не путать. Эти революции будут похлеще всех других вместе взятых. Эти революции не будут потрясать социальные устои, они будут тихо на добровольной основе переиначивать главную человеческую составляющую – его геном.

– Кто же из людей согласится!? – изумился Копытошкин.

– Всё это будет подано, как и всегда, под благовидными предложениями, например, какая из женщин не захочет стать красивее без всяких пластических операций или мужчина не захочет иметь торс культуриста? Но они никогда не просчитают последствия этого шага до конца, как это умеем делать мы без всяких ЭВМ. Мы введём в человеческий геном

вирусы, наподобие тех, что вводятся в компьютерные системы. Когда этот вирус начнёт действовать – будет целиком и полностью зависеть от нас. А вот, когда люди научатся эти вирусы выявлять, будет уже поздно. Ах! Какая это будет великолепная картина! Представьте: наши хакеры, взламывают их коды. Вирус переворачивает все их ценности, всё ставится с ног на голову, хотя внешне всё выглядит вполне благообразно. Революция внутри человека, господ! И не просто внутри, а в его ядре! Это взрыв, господ! Содом и Гоморра по сравнению с этим будет ничто.

– Этот взрыв будет сильнее ядерного?– спросил Гаврюша.

– Что вы, любезный... Ядерный взрыв по сравнению с этим – простой хлопок. Потом, какая нам польза от того, что в результате ядерной войны уцелевшие люди снова будут жить в пещерах и носить набедренные повязки? Отвечаю – никакой. Они принесут в пещеры свои мерзкие иконы и образуют пещерные сообщества, недостаток еды подвигнет их к постоянному пощению. Я вас спрашиваю – нам это надо? Мы в их пещеры даже войти не сможем. Нет, человеки пусть живут в замках, а развратиться мы им поможем. Своё слово скажет наше генетическое оружие.

– Так что же будет?– спросил нетерпеливо Гаврюша.

– В людском сообществе извращенцы станут самыми уважаемыми людьми, маньяки – руководителями парламентских фракций, осуждённых к пожизненному заключению, под фанфары на руках вынесут из тюремных камер и они станут почётными жителями городов и посёлков! Институт семьи будет упразднён... Свободное совокупление, совокупление и ещё раз совокупление! Все индивидуумы с одним и одним со всеми. Тут множество вариантов... Ну!!!... Как??? – и он победоносно посмотрел на лешаков, приняв позу Наполеона под Аустерлицем. Но и это не всё. Извращенцы и прочие нелюди, при помощи парламентского большинства откроют дорогу к прямой власти над людьми самому великому, самому мудрому и непревзойдённому под Луной !!!– и он поднял первый копытный палец в верх.

– Это фантастика,– проговорил Капытошкин.

– Никакой фантастики. Опыты уже идут полным ходом. Имеются обнадёживающие результаты. Его Грехопадению уже шьются торжественные одежды для восхождения на престол человечества.

– А как же страны, государства, правительства?
– спросил кто-то.

– Никаких стран! Никаких правительств!– продолжал чеканными фразами говорить Свинорылов,– всё это будет постепенно ликвидировано! Земля – как единая экспериментальная площадка,

плюс планетарные корпорации! Всё господа! Вопросы есть?

– А кто эту технологию, ваше Грехопадение, разработал? – спросил изумлённо Шерстяной.

– Разработали её в академии на кафедре Патологии, под руководством академика Полукопчёного. Это великий учёный. Он за идею лесбиянства и гейства получил высшую награду от Его Грехопадения. Только знайте, что ни наши учёные, ни практики не ушли бы так далеко в деле расчеловечивания, если бы не наш главный помощник.

– Кто же он?! Кто? – зашумели лешачки.

Этим помощником является, – Свинорылов понизил голос до шёпота, – является... сам человек! – И он сделал в речи паузу. Лешачки замерли, глядя буквально в рот Свинорылову. – Да, да! Что вы так на меня смотрите? Я не оговорился. Мы – бесы, ведь только подталкиваем при помощи всяких хитростей человека к решению вопроса в выгодной нам версии, а принимает решение сам человек, это его право. И чтобы вам не было скучно, сейчас мы посмотрим мультфильм, и вы сами увидите на практике, кто принимает решение, а кто и как его стимулирует, наши кинематографисты постарались. Лешачки воодушевились, смотреть мультик было гораздо приятнее, нежели слушать наставления Свинорылова.

Экран засветился и лешачки увидели большую толпу людей с флагами и транспарантами. Они что-то кричали, бросали вверх шапки, а над ними густым роем кружились лешаки, приводя людей в неистовый восторг. Они двигались к дворцу. А через минуту толпа уже была в нём стёкла, с улюлюканьем выволакивала мягкие кресла с золочёными набалдашниками на улицу и плясала на них, вырывая пружины. Наиболее ретивый гомосапиенс, забравшись на возвышение, кричал: «Власть народу!», «Долой толстосумов!» Один из бесовского отродья залез к нему на плечо и, обвив хвостом его шею, прохрипел в ухо: «О свободе говори, о свободе, о демократии... Рви на груди рубаху, чтоб нагляднее...». Ретивый, как и советовал подсказчик, рванул на груди рубашку, посыпались пуговицы. – Даёшь демократию! Даёшь свободу! – заорал он, толпа воодушевлённо загудела, подняла ретивого на руки и понесла во дворец.

Затем картинка сменилась; появился уютный кабинет и те из особо сильно орущих, кого видели в толпе, сидят в мягких креслах с золочёными набалдашниками, а ретивый занимает самое почётное место. По левую руку от него находится подсказчик. Подсказчик мило улыбается и с довольным видом повторяет одну и ту же фразу: «Милые вы мои, родные, век не забуду, не подвели, получилось...» На шее его уже красовалась, подвешенная на пурпур-

ной ленте, медаль «Бесовского отродья первой степени», видимая только лешакам.

Тут Свинорылов нажал на кнопку, экран погас. Лешачата недовольно зашумели: «Мультику давай! Мультику!!!»

– Хорошего помаленьку,– сказал Свинорылов.– У нас имеется целый мультипликационный фонд для учебных целей, так что в мультиках недостатка не будет. Наши кинематографисты запечатлели самые выдающиеся подвиги хвостатых. Должна же молодёжь знать славное прошлое своих отцов... Об остальном поговорим на следующем занятии, – и Свинорылов с надменной улыбкой удалился из аудитории.

«Вот такой у нас был прекрасный преподаватель по философии и психологии»,– заключил свой рассказ о днях учёбы в колледже Гаврюша и довольно похрюкал. Потом его потянуло на всякие размышления, потому как наш герой был не просто склада ума. В его уме проникновенный психолог, после недолгого общения, обязательно бы обнаружил самородные философские и исследовательские задатки, которые напрягали Гаврюшу на осмысление происходящего, а не на простое копирование чужого опыта, пусть даже этот опыт и принадлежит таким столпам бесовского просвещения, как Свинорылов, Гнилозубов или Полукопчёный.

Таким образом, Гаврюша, учась в колледже, протирал штаны не напрасно. Он усвоил многие науки и многое понимал. Он понимал, что этот гомосапиенс – человек мыслящий, сам по себе совершенно затурканный, может иногда обескуражить. И часто это бывает при его последних часах жизни. Плохо, когда человек уже на одре лежит и в нём зов забытой веры просыпается. Тут он, возьми и перед самым отданием концов и перекрестись. После этого – пиши - всё пропало; сколько сил потрачено и всё зря. Тут, жди взбучки и понижения в должности и разряде. А если умирающий и попа умудрится пригласить – так совсем кранты, потому как тут без покаяния или исповеди, а то и причастия совсем не обойдётся, а там ещё и целование этого мерзкого креста будет, которого все лешаки за полверсты оббегают.

В общем, после такого казуса прибежишь на разборку и стоишь, поджав хвост, опустив рожки и даже не хрюкаешь, а ждёшь заслуженного шлепка. От одного такого промаха от работы не отстранят, а если два или три, то какой же уважающий себя ведун с тобой захочет работать? А вырасти в должности,.. ох как хочется. Вы даже себе этого не представляете, как это здорово: идёт торжественная в аду перекличка на страстную неделю, когда по имени называется каждый лешак с перечислением заслуг и званий. Ну, например, говорят так, и это

громким голосом, в сопровождении особой музыки: «Леший высшего класса, генерал от мракобесия, начальник третьей когорты, имеющий так же названия, согласно мест боевой славы: «сердечный», «тюремный», «партийный», «депутатский», награждённый орденом «Бесславия» 1-ой степени», орденом «Поражения» третьей степени, а так же медалями за храбрость и преданность идеалам разврата, пьянства, сребролюбия и воровства.»

Звучит! Правда!?! Тут уж у кого хочешь дух перехватит. Особенно если вывесят на «Доску Почёта». «Доска Почёта» – это особый кайф, это значит запечатлеть своё имя в вечности. Читаем же мы на «Доске Почёта» про таких великих бесов, прославившихся ещё аж три века назад. «Доска Почёта» так и называется: «Почётная Доска Великих». Тут тебе и гении из бесов времён Огненного переворота в стране Рыжего заката и Полуденного Недовольчества. Вообще Полуденная страна дала целый сонм великих. Это относится и к Осенней вахканалии, и к Пляске с саблями, Переделке Вогнутого, Елового переворота и безвременья Обречённых на Богатство, сокращённо «БОБ», в простобесовье – «БОБы».

Вот было время, так время! Жаль Гаврюша поздновато родился, тогда, старые лешаки рассказывают, лешаческих лапок не хватало; без высшего образования, сразу после гимназии такой пост можно было оторвать, что голова закружится. Только

всё прошло, жди теперь. Пока Дорожный из власти в Полуденной не уйдёт, о перевороте даже мечтать нечего. Конечно, тогда закрутили здорово. Только без людей всё равно не осилили бы.

Не надо тянуть одеяло только к хрюкалу, есть и среди людей наши, которые славно трудятся на лешаковском поприще, которые уже при жизни удостоены высших бесовских наград и званий. Эти люди подчас и ведать не ведают, кому служили, а ведь по нашим меркам – герои, и даже не колдуны совсем, а таких высот и у нас, и в людском мире достигли, просто завидно. Только умер такой человек – ему от Смрадного, то есть, от Его Грехопадения, сразу орденов целый бант, звание не ниже полковника и в подчинение легион бесов. Где ж справедливость? Тут с вечера до утра трудишься не покладая копыт и хоть бы взглянули благосклонно, а там: на земле жил – как сыр в масле катался, а откинулся – ему и тут лафа.

Таких командиров, из откинувшихся, рядовые лешачки не любят. Они их промеж себя диссидентами зовут. Один, лысый, на лешаческом сленге «Плешивый», как оттуда пришёл, так ему сразу ни больше ни меньше генерала дали и тысячу лешаков в подчинение, всяких званий кучу. Хотя, этот Плешивый по картотеке даже колдуном не числился. И за что он от Смрадного такой милости удосужился? Непонятно. В общем, и лешаческих академий не

оканчивал, а эвон как! Где же тут справедливость? Только против Смрадного кто чего скажет? Лешаки его все боятся. Гаврюша, правда, его ни разу не видел. Только знает, когда начальники бесовские к нему на приём идут, то чуть ли со страху не крестятся. Так вот Смрадный этому Плешивому – раз... и генеральские эполеты.

Да это ещё что, тут хоть понятно – потрудились на поприще истребления веры христианской. Лешачонок видел, как пускали в расход тысячи с крестиками на шее и храмы рушили. Вот тут они – лешачата - порадовались на славу. Красивое было время, изумительное время! Одни митинги в Полуденной со знамёнами и фанфарами чего стоят. И дело было видно, и почёта хватало. А вот недавно один хрен майора получил, а ведь ни одного колокола со звонницы не спихнул, ни одного смердящего попа за бороду не оттаскал. Сидел при жизни человек в уютненьком кабинетике и пописывал всякие анекдотики и другую чепуху. И вся деятельность его заключалась – перевернуть всю историю, измазать грязью честных учёных, литераторов и на тебе – майор.

Другой статейки разные в газетах тискал, прославлял непристойный образ жизни, сбивал людей с ума-разума – то же майор. А уж как изощрялся, чтобы белое выдать за чёрное и наоборот. Третий – фильмы всякие с непотребностями по их людским меркам снимал, тоже не в рядовых среди лешаков

ходит. Четвёртый - музыку подобную сочинял, или картины рисовал определённого лешаческого содержания – подполковник. Тут, какого дела не коснись, из каждого выгоду поимели.

А вот целая толпа писак – тоже Смрадным не обижены. Ох, уж эти писаки!! Чинов наполучали и только потому, что в свои книжки матерщину ввели. И какой тут подвиг? Тут и подвига никакого нет. Тиснули всякие выраженьица. По его, Гаврюшенскому мнению, эти писаки сами не знают чего пишут. Им даже невдомёк, что этими словами они Всемирного оскорбляют и его земную мать и на творении Всемирного большой вопрос ставят. На такие поступки даже лешаки не отваживаются.

Почему почётом у людей пользуются литераторы – матершинники? Гаврюша в толк никак не возьмёт, матерщина, она и есть матерщина, разве что для дебилов конченных. Порядочный человек такую книжку и в руки не возьмёт, не то, чтобы открыть и читать. Это загадка, Смрадному тут виднее, видно Гаврюша умом ещё до такого понимания не дошёл.

Гаврюше больше по нраву те писаки, кто в своих произведениях о лешаках добрые слова говорят, или лешаческими свойствами людей награждает, это тонко, тут вкус чувствуется, ореол привлекательности создаётся, это верный способ людей в колдуны заманить, а деткам клизму в уши вставить.

У детских писателей сейчас чародеи в почёте, тиражи книг растут, тут кто как только не изощряется. Тон в этом деле задают страны Рыжего заката, хотя и Полуденная страна свою лепту тоже в это дело внесла и даже в чём-то те страны переплюнула. В странах Рыжего заката показывают привлекательные свойства героев, позаимствованные у лешаков, только это всё своими именами не называется, а в Полуденной в незашифрованном виде подаётся.

Никогда не думали бесы, что их пред детьми в открытую представлять будут. Разве это лешакам не приятно. Тут лешаки даже и инициативу не проявляли, человеки сами своим творческим способностям применение нашли. Такая их инициатива бесам только на лапу или на копыто, и то и другое одинаково.

Совращением писательской братии демоны всегда занимались и не безуспешно. Хотя были великие проколы. Так, например, писателя, которого лешаки прозвали «Длиннонос», так и не удалось с пути сбить. А сколько этот писака лешаческому отродью пакостей понаделал, просто гробовой ужас. А сколько раз он лешаков в неблагоприятном свете выставял?! Забыть и не вспомнить. А главное, он завету тайны с лешаческих действий снимал, людям глаза открывал. Правда, наши тоже ему под конец жизни насолили, взяли и спалили второй том его

книги, а на самого Длинноноса и свалили, дескать он сам и сжёг. Хоть напоследок, а поквитались.

Особым порядком стоят умники, кто всякие ужасные небылицы сочиняет. Такого понаплели, диву даёшься. В лешаческом мире такую литературу называют «Смрадофантастикой». Только не надо путать с человеческой научной фантастикой, это другое. Смрадофантастика на ура идёт и у людей, и у лешаков. Правда, лешаческие медики запретили читать её маленьким лешачатам на ночь, потому как многие из них начинают страдать бессонницей, а некоторые от таких страшилок умом слабеют. И как её люди выдерживают?? И вообще, Гаврюша давно заметил, что все писатели делятся на три большие категории: духовные, замороженные и вымороченные. Те, что духовные, в преисподнюю совсем не попадают. А вымороченные здесь кишмя кишат. Да ну их в баню, этих писателей, музыкантов, художников, давайте поговорим о других персонах, что на «Доске бесовского почёта» обретаются.

Сейчас новое поветрие пошло. Волна революционеров, бомбистов, борцов с религией, строителей светлого будущего сошла, все звания получили, награды там всякие, почести и успокоились; им в пикку демонкраты хлынули. Их лешачки меж себя плутократами зовут. А чё примазываются к хвостатым?! –«Демонкраты мы, демонкраты!» одну бу-

ковку приставили и на тебе цацы-мацы, прохиндеи. Дескать, мы уже и не оттуда, а местные, то есть ваши. Тоже мне «наши» выискались... Лешачки от такой наглости даже рты открыли. А до чего ушлые-е-е... Даже лешаки до этого не смогли додуматься – взяли и через свои связи утвердили в преисподней это название «демонкраты» законодательно. Лешаки возмутились и пожаловались куда надо, а там смеются и говорят: «Учитесь работать». То же мне, деятели, а ещё отвечают за безопасность преисподней, своих от чужих разучились отличать.

Так эти плутократы тоже к бесовским званиям после смерти тянутся, ещё им и прислугу подавай из лешачков, дескать, по статусу положено, и на ими же состряпанное законодательство ссылаются. И всё так гладенько устроили, не подкопаешься, только заигрались малость, решили и в преисподней свои принципы навязать, агитацию развели, о выборах толковать стали, о разделении властей. Свод законов для преисподней написали, «Проституцией» называется. Дурачье безмозглое, решили, что Смердящий с ними властью поделится. Как-бы не так. Их Его Грехопадение, быстро на место поставил: «Это, – говорит, – вам ни царей и королей свергать, на кого замахнулись, псоголовые!» В общем, за своеобразие оставил им по одному денщику на рыло из самых последних нерасторопных лешаков, хотя, на «Доске бесовского почёта» оставил. Сказав,

что это им за прежние заслуги. И даже улиц переименовывать не стал в преисподней, что в их честь были названы, а вот пёсьими головами наградил. Справедливость, она и в АДУ справедливость.

Сейчас, говорят, в лешаческой академии новое научное направление образовалось, какое-то нано-сообщество, нановраньём занимаются. Сокращённо это сообщество носит название – «СНОБ». Расшифровывается «СНОБ» так – Современная Наноболтовня. И научное направление называется – «Снобистика», звучит,... правда? Всё коротко и со вкусом, без всяких лингвистических вывертов. Эти СНОБы у людей филиалы пооткрывали. Есть такая сейчас практика – головной институт в преисподней, а у людей, по разным странам, его филиалы. Говорят очень продуктивно и современно. В странах Рыжего заката они пользуются особой популярностью, особенно у Полурыжих. Что там говорить, нанотехнологии в истории сейчас особый спрос имеют. Ведь при помощи их такую базу под факты можно подвести, что чёрное сразу становится белым, а белое чёрным и никаких швов незаметно, хоть и очки оденешь, одно слово – наука.

Тут пример надо привести, потому как без примера Снобистику понять сложновато. Возьмём, например, пластическую операцию. Это ничего, когда после такой косметической операции та или иная актриса на десяток лет помолодела, всё - таки

перед людьми крутится. А представьте себе, что на операцию пришёл бандюган и личину свою сменил??? Смекаете, куда я клоню?.. А если не бандюган, а сменена личина истории, и швов незаметно??

«Как это, что швов незаметно?» – спрашиваете. Отвечаю. Наши бесы постарались и Полуденную страну развалили на множество небольших государств. Да так ухитрились, что один народ стал разделённым. Чистая работа, правда! Но и это не всё. Лешаки мозгоголовые так ухитрились дело поставить, что разделённые стали друг с другом воевать. Это уже высший пилотаж. Опять же через своих проводников в человеческом мире. Без них никак нельзя. И ведь как ухитрились всё с ног на голову поставить, диву даёшься. Памятники врагам рода человеческого ставят, цветы к ним несут. А ведь это всё нашенского влияния люди. Им раньше только в преисподней памятники стояли, а теперь и в отделённой стране ставят. Наши козлобородая профессура отделившейся части свою историю сочиняют, аж со дня сотворения мира, стало быть окончательно заморачивают. В школах детей вымороченной истории учат. А за детьми, как это у человеков говорят – большое будущее. Так что наши нанотехнологии работают. За ними большое будущее, морочь людям головы сколько угодно и наблюдай как они чудеса творят. Можно сказать, что «чудеса» в прямом и переносном смысле.

Гаврюша потёр затылок, чихнул, часто поморгал красноватыми глазками. Такие полёты ума его вдохновляли, в сердце вселялась надежда, что и он не будет обойдён в подлунном мире и в конце-концов займёт подобающее ему место под звёздами при ущербной луне. Он понимал, что к нанотехнологиям сразу не подступиться – тайна за семью печатями, но и кроме них тоже есть, где развернуться.

Гаврюша заметил, что Его Грехопадение особенно жалует Аморалов всех мастей, им даже памятники кое-где в преисподней стоят из золота, на развитие Аморализма у людей, он не жалеет ничего. Только прошу не путать аморальное поведение индивидуумов и Аморальное движение, то есть «Аморализм». Хотя если и спутаетесь, то беды не будет. Свинорылов говорил, что Аморализм – это пирамида, обращенная вершиной вниз, а камнем, что стоит во главе этой вершины, является сам Смрадный.

Про пирамиду и её вершины лешачок, правда, ничего не понял, но главное ухватил – что движение Аморалов сам Смрадный курирует и что оно пронизало все стороны человеческой жизни, что все социальные институты, особенно стран Рыжего заката твёрдо на Аморальном фундаменте стоят, а Аморально-плутократические партии в них особый вес имеют. Правда, в последнее время, ещё какие-то неоАморалы объявились? Да, бес с ними, главное Аморалы, а там «нео» или «вау» – какая разница.

Свинорылов, правда, втолковывал, что Плутократы те же Аморалы, но Гаврюша этого момента недопонял, так как у него в этот момент зачесался пяточёк и очень засвербило в носу, что он едва поборол желание чихнуть. А чихнуть при Свинорылове, это почти тоже самое, что чихнуть на самого Свинорылова – одним словом – лучше умереть и не встать.

Гаврюша собрал в себе волю в копытный кулак и не чихнул. Вы же знаете, какая у Гаврюши воля – глаза из орбит вылезли, а не чихнул. И почему в этот момент лекции у него возникло такое естественное желание? Он так и не понял. Об этом он вспомнит потом, когда, уйдя на заслуженный отдых, засядет за хрю-хрю-ары и будет давать оценку всему случившемуся в его напичканной интересными событиями жизни.

В тот момент у Гаврюши прямо-таки бзык в мозгах начался.

«В Аморалы не плохо б податься, – начал думать он, – пожалуй, дело беспрюгрешное. Раз Смердящий за ними. Значит это дело не завянет. Только не примут Аморалы в свою партию без золотого запаса, а у Гаврюши только блохи в шерсти скачут и ничего больше. У Аморалов там всё банкиры, да крутые собственники бал правят. Воруют с размахом, не как прочие и главное, всё законно. Все верховные бесы в этой партии состоят. В общем, ку-

да не сунься, везде Аморалы своё копыто наложили. И опять же чины, звания, медали. Да ну их всех в нечёсаную шерсть. Тут больше заботишься, чтобы копытами не затоптали».

Лешачёнок Гаврюша потёр копытцем нос и задумался. «Неплохо - бы было, какую либо секту курировать, – думает, – опять же без академического образования не сунешься». Секты в бесовском царстве особо лакомый кусочек, на них сам Его Зловредность господин Тихий Ужас, назначает, не пробиться, тут даже и мечтать нельзя. Потом это не работа, а лафа. Один раз голову вскружил и спи спокойно. Это попросту говоря, а на деле же надо следить, чтобы круженные чего немислимого не натворили, и твою секту не скомпрометировали. Тут важно хорошего главаря на секту подобрать, чтоб доверие людям внушал, а уж мозги скрутить любопытным, да жизнью обиженным раз плюнуть. Тут раз скрутил и на всю оставшуюся жизнь, назад хода нет.

Когда Гаврюша хотел на секту сесть, ему Его Вонючество прямо сказал, дескать, сначала придумай, обоснуй, а потом заикайся. Гаврюша и секту придумал и устав, и подоплёку нашёл, только когортный взял и все Гаврюшины наработки себе присвоил и секту под себя подгрёб. «Ты, – говорит Гаврюше, – ещё чего-нибудь придумаешь, у тебя голова «светлая», то есть – тёмная. Будет тут тёмной, когда

в «люди», то есть, в допропорядочные демоны выбиться охота. Не правда - ли, обидно. Впредь наука.

Хотел Гаврюша пожаловаться Болотному Праху, только дальше парадной двери его не пустили, не по чину честь, говорят. Подал прошение в письменном виде, так канальи хвостатые его жалобу на Когортного Его Вонючеству назад и отослали. Просто, какой-то сволочизм человеческий... но впредь – наука.

Только не таков наш Гаврюша, чтобы отчаиваться. Его изворотливости и прохиндейству многим из Лешачков стоило бы поучиться. Главное – он умел думать. И вот он что придумал, чтобы в эти самые «люди» выбиться.

3.

Однажды пришла Гаврюше хорошая мысль, просто преотличнейшая мысль, он даже взвизгнул от радости. Такие мысли не в каждом тысячелетии приходят, не то что в веке. А мысль вот такая – раз у Гаврюши хода по служебной лестнице в лешаческом обществе без академического образования нет, то не взять ли ему пример с тех из людей, которые после смерти особым уважением у Смердного пользуются? Решил он принять человеческий образ и пожить среди людей и карьеру на человеческом поприще сделать. Дух-то у него будет лешаческий, а вот образ

он будет иметь человеческий. Глядишь, в образе человека и в «люди», то есть, в начальники человеческие выбьется, и благорасположение Смердного заслужит. Здесь главное не промахнуться, поприще надлежащее выбрать, где наибольший вред людям можно принести. А там можно и к Смердному на приём... Победителей, как говорят люди, не судят. Если уж высшего ордена не дадут, то медаль «лукавого» обеспечена, это точно. Только вот куда в человеческом государстве податься? В экономику пойти, да там больно не выслужишься, все места заняты, везде наши, как селёдка в бочке. Такого понакуралесили, что, как люди говорят – сам чёрт голову сломит; в средства массовой информации – тоже просочиться трудно, одни хвостатые.

«Подамся-ка я в политику» – решил Гаврюша, – в ней ещё можно потолкаться и своё слово сказать. Потом, это самое, то место, где, не имея ничего, можно получить всё. Только говорить надо уметь, да умы затмевать. Тем более они у людей уже с коих пор наполовину затемнённые. Спасибо лешаческим предкам, постарались, подкинули людям идеи, а те рады стараться, в жизнь воплотили и дальше воплощают. Только одному Гаврюше не пробиться, напарник нужен. Тут главное помощника найти, разумеется из людей, с подходящей биографией, а не краплёной, как у некоторых.

Многие лешаки объектом для использования выбирают человека с тёмным прошлым, с такими легче работать, и промахиваются. Возьмём ту же приватизацию: лешаческие показатели вроде хорошие, сделали ставку на активное ворьё; экономика Полуденной страны трещит, только, как говорил Свинорылов, в Полуденной люди скоро спохватятся и поставят всё на своё место, это не перспективно, и всё носит временный характер. Тем же лешакам, кто приватизацию курировал аж «ленту лешаческой славы» через плечо повесили, сравнивали с революционными деятелями 17-х годов. Гаврюше бы такое...!

Правда, Свинорылов был против такого сценария приватизации. Он говорил, что Полуденную страну надо было направлять не по пути строительства демонического капитализма, а по пути демонического анархизма, больше бы было пользы для бесовского воинства, а для людей вреда. Так бы и было, если б приверженцы демонического пути развития, в Высшем чертовском совете, не опротестовали и своё вето на предложение Свинорылова не наложили. Вот тогда Свинорылов из академии и полетел, не поняли бесы гения, а зря.

Гаврюша решил пойти другим путём и сделал ставку на достойного среди людей человека. Выражение «пойти другим путём», он в трудах у новоиспечённого генерала вычитал, умный, каналья. Гав-

рюша всё его собрание сочинений проштудировал и после этого зауважал – есть чему поучиться, в правильном направлении мысль работает, потом, опять же людей получше узнал, после чего и посетила его мысль о правильной кандидатуре, не из ворья. И стал лешачок в своём уме перебирать кандидатуры.

Вот перебирает лешачок разные кандидатуры, а в голове у него всякие воображения да мечтания проносятся, не зря колледж окончил и у самого Свинорылова учился. Потом, когда окончил колледж – хотел в академию лешаческую поступить. Взял диплом свой чёрный, а не серый как у других, характеристики, рекомендации и пошёл документы сдавать. Здание академии большое. Бродил Гаврюша по этажам – приёмную комиссию искал, да и заблудился немножко. Ходит по коридорам, смотрит и всему удивляется, везде свой любопытный пяточок суёт.

Идёт по коридору, смотрит дверь плохо прикрытая. Из-за этой двери голоса раздаются, вроде как спор идёт. Гаврюша остановился, в просвет между створками дверными смотрит, прислушивается. А что там особо прислушиваться, когда в комнате спор идёт, и присутствующие на повышенных тонах изъясняются, тут и глухой услышит.

Смотрит Гаврюша, сидят в комнате 12 благородных бесов в академических мантиях, треуголках и спорят. И спор тот научный и весьма деликатный.

Не знал Гаврюша, что это учёный совет академии заседает. По глазам видит лешачок, что друг дружку готовы сожрать, а разговаривают и обращаются учтиво и, даже можно сказать, любезно. Вышел и встал за кафедру козлобородый академик с большими рогами серпом, глаза на оппонентов скосил, стал говорить:

– Уважаемые академики! И профессора. Не секрет, что наше учёное сообщество давно разделилось на козлобородых и свинорылых. Когда-то это разномыслие приносило науке вред, но теперь, по моему мнению, оно стало ещё тормозом в развитии продуктивных идей.

Академики, в знак согласия, закивали головами и треуголки на их головах смешно задвигались.

– Я хоть и козлобородый, – продолжил выступающий, – но должен ради объективности признать, что изгнание из нашего сообщества господина Свинорылова, беса противоположной фракции, ослабило наши ряды. Это был мой главный оппонент и вот его нет... Я что должен... радоваться?! – спросил он собравшихся. – Да, я поначалу радовался, не скрою. Но, за это десятилетие я не написал ни одной приличной статьи – нет спора – нет стимула. И потом нас было тринадцать – благородное число, а теперь?! Кто-нибудь из нас об этом задумывался?

Простите, приличное нашему сословию число тринадцать, автоматически превратилось в число

двенадцать. Вам это число ничего не напоминает!?. Я думаю, что напоминает... Не будем же мы уподобляться тем двенадцати, этим ап.. Да, ладно, не надобно лишний раз произносить этого мерзкого слова. В общем, когда у них выпало одно слабое звено, они тут же восполнили его более сильным и даже очень сильным. Не буду называть его имени, оно всем известно, дабы не испытывать страхом наши души, будем наконец-то умнее. Считаю, что Его Грехоподобие Свинорылова надо вернуть в наше сообщество, вернуть все регалии и звания, не будем уподобляться людям и их скверному отношению к истории и, особенно, к поверженным противникам. Перенимать пороки человекoв нам не стоит. Вот такое моё предложение.

– Правильно говоришь! – раздался одобрителный голос из зала.

– Верно говоришь, Козлиная борода! – поддержали учёного сразу несколько голосов.

После слов одобрения академик Козлиная борода приосанился и продолжил:

– Теперь один пример нашей, так сказать, недоработки, которая может иметь очень серьёзные последствия. Мы знаем этих чёрных тараканов, на человеческом языке – монахов. Почему они начали так сильно плодиться, как грибы после дождя? А всё потому, что мы не были достаточно последовательны после устроенного нашими помощниками и по-

следователями из людей переворота в Полуденной стране. Мы стали праздновать нашу победу и многие наши чрезмерно возгордились. Думали, что главное дело сделано, ослабили кураторство и всё отдали на откуп мелким бесам. С кафедры Религиоведения нас убеждали, что назад возврата нет, всё схвачено. Куда, хочется спросить, назад? И что схвачено?.. Назад в Заветы Плешивого? Или ещё далее назад, в Эполетную? Так что схвачено? И что не возродится?.. Да, я понимаю, Полуденная – страна большая, бесы надорвались, у нас просто не хватило сил закрыть все места, была проблема кадров..., но это не оправдание...

Козлиная борода аж перегнулся через кафедру, пытаясь как можно доходчивее донести до коллег свой настрой, соображения и факты.

– Я недавно хотел слетать в Муром, так на пути меня и моё сопровождение остановили и я полчаса ждал, покуда не пройдёт процессия с хоругвями и иконами. И это вы называете, что ничего не вернётся и всё схвачено?! Это я был остановлен!!!– и он постучал себя в грудь, – это я был почти что схвачен!! Я, академик, награждённый личным вонючим оружием за организацию территорий смерти в эпоху Великой бойни! И что же? Это я, после пятнадцати лет нашего повсеместного кураторства, смотрел на людские торжествующие рожи!! После того, как процессия прошла, один монах заглянул в мою ки-

битку и наложил на меня крест, отчего мы потом ещё полчаса с места сдвинуться не могли. Так как это назвать?!...– и он обвёл вопрошающим взглядом присутствующих.

– Если мы так будем и дальше работать, то недалеко и до полного раскрепощения сознания в Полуденной, а там и всего человечества. Бесовская радость и торжество могут превратиться в горе. Главное, что наши ошибки повторяются. Эту ошибку мы допустили в стране Рыжего заката и что теперь имеем? Нам, конечно, кое-что удалось сделать, чтобы выправить положение, но факт есть факт.

– Виноваты, Ваше Грехоподобие, попы,– вставил кто-то из зала.

– Не попы, а дураки,– резко ответил козлобородый и пошёл на своё место.

– Разрешите мне сказать,– поднялся свинорылый клыкастый академик. Он прошёл и встал за кафедру, которую покинул козлобородый. – Мне очень приятно,– начал он,– что здесь вспомнили о лидере нашей фракции Свинорылове. Это обнадеживает. А ведь он говорил, что не надо народ Полуденной опускать до плинтуса, иначе люди от отчаяния побегут в церковь, они и побежали от беспроектности положения. Согласитесь, что дальновидностью здесь и не пахнет. Свинорылов пишет об этом в пятом томе своих трудов. Хотели побыстрее и получше, а что получили!? А то получили, о чём

только что говорил академик Козлиная борода – на пятнадцатом году нашего повсеместного владычества, Его Грехоподобие вынужден ждать, когда через дорогу переползут чёрные тараканы со товарищи...

Надо было идти по пути стран Рыжего заката. Да, это медленно, да, это долго, но надёжно. У нас там нет сбоев: целенаправленно люди впадают в безверие или заменяют настоящую веру суррогатом, что почти одно и то же, развивается мазохизм, нетрадиционная половая ориентация, набирает обороты глобализация и так далее. Копируйте опыт, господа, кто мешает?! Олхократия в действии. Дополните меня, или опровергните, если что не так, – свинорылый академик сошёл с кафедры и сел на своё место.

– И опровергнем, – пробасил Винторогий – козёл без бороды. – Ваша фракция считает, что становление нового общества в Полуденной как раз и строилось, исходя из опыта стран Рыжего заката, и не надо от этого отмежевываться. Мы же всегда говорили, что для Полуденной страны это неприемлемо. Одно для стран Рыжего заката, другое для стран Жёлтого восхода и совершенно иное для страны Полуденной. Ментальность этого народа совсем иная. Посмотрите на историю, она разве ничему не учит!? Она не учит только тех, кто не желает учиться

на бесценном опыте работы в Полуденной. Сколько через неё рог переломано и копыт сточено.

Потом, хотелось бы сказать несколько слов о чертокрапии в людском сообществе... Извините, я всё привык называть своими именами, без удобных наворотов. Итак, нам пора остановиться и пересмотреть положения высшего учёного совета 1850 года. Почему? Отвечаю – меняются люди. Вся чертокрапия, была построена на культивировании людской гордости и тщеславия. Не зря её многие в Полуденной называют «Дерьмократией». «Демонкратия – это прибежище гордецов», так говорил наш уважаемый коллега Свинорылов. Без гордостного состояния ума она просто невозможна. А по мне – без невежества. Ведь что вбивается людям в головы: «Ты можешь устроить счастливую жизнь на земле без Непостижимого», «Тебе по силам управлять государством» и так далее. Сейчас эти, но видоизменённые постулаты, взяла на вооружение зачуханная реклама.

– Это почему же она зачуханная? Разве мы не одно дело делаем? только каждый по-своему?! – раздался недовольный голос.

– Извините великодушно, я не хотел вас обидеть, – Винторогий посмотрел в ту сторону, откуда донеслась реплика.

– А мы не обижаемся, – продолжил тот же голос, – мы напоминаем.

– Спасибо, коллега, за напоминание. Только и мне есть что сказать. Культивирование вами гордых напряжений в мозговых эмоциональных центрах гомосапиенса – это из фундаментальных трудов академика Мухоморского, потрудитесь перечитать и не заниматься плагиатом. Если же вы работаете в прикладном направлении, так и скажите. Советую вспомнить выражение рекламщиков – «этого ты достойна», это тоже из трудов Мухоморского. Ещё раз простите, – сказал выступавший и продолжил.

– Поддерживать гордое состояние ума в людях становится сложнее и сложнее. На людей всё большее влияние оказывают монахи со своими: «покайтесь», «исповедуйтесь», «прощайте» и так далее, да и мы во многом, при насаждении демонических принципов, перестарались. Наши призывы: «Выбирайте самых честных», и «Обогащайтесь» стали синонимами слов «убирайте самых честных» и «обворывайте». Люди не дураки и увидели подмену.

– Не везде, – опять раздался тот же голос.

– Я говорю о Полуденной, прошу меня не перебивать. – Докладчик чуть помолчал, выжидая, когда собравшиеся успокоятся, и продолжил более доверительным тоном. – Коллеги, – люди всё больше начинают убеждаться, что выбирать они по-настоящему не умеют и перестают ходить на выбор

ные участки. А почему!?! Да потому что, кого не выберут – всё блин комом.

– Так мы же им кое-где и хороших подсовываем для укрепления соблазна, – донёлся хрюкающий голос.

– Мы сейчас говорим не о технологиях, мы-то знаем, что умение правильно выбирать может человек только с незатемнённым умом с не исковерканным сознанием, плюс с полной информацией о кандидатах, – ответил Винторогий.

– Почти у всех людей сознание исковеркано, тут не следует опасаться, да и достоверной информации о кандидатах даже в наших демонических избирательных центрах днём с огнём не сыщешь! – донеслось снова из зала.

Винторогий сделал вид, что не заметил выкрика, и продолжил, даже не поведя козлиным ухом. – Мы могли этого не опасаться, когда люди переделали церкви в конюшни, а вот когда пошёл обратный процесс, меня это настораживает и будущее демонического устройства тоже. Это может сыграть не нам на пользу. Представляете, если пелена с людских глаз спадёт, и они выберут в парламенты и правители самых достойных?!?!

– Это утопия! Вы, милейший, утопист... Скрутили рога в винт и думаете, что вы новые, те же козлы, только выпендриваетесь по-новому, – раздалось с левого ряда фальцетом.

– Слышали мы уже это! Слазь, хватит! – раздался бас с правого ряда. Гаврюша из-за маленькой щели не смог увидеть выкрикнувших. В зале захлопали, но не одобрительно, а больше для того, чтобы выступающий перестал говорить.

– Ваша чертократия доведёт вас до гибели, – проговорил Винторогий прежде чем уйти с кафедры. Он собрал поспешно бумаги, но не пошёл на своё место, а пошёл к выходу. Вслед ему заулюлюкали, дескать, скатертью дорожка.

Дверь кабинета резко открылась и Гаврюша, получив сильный удар в лоб, отлетел к противоположной стене и угодил в другую дверь. Противоположная дверь открывалась внутрь и Гаврюша счастливо, открыв её задом, приземлился в большой аудитории, в которой шли занятия со студентами. В ней лектор и слушатели так были поглощены делом, что даже не заметили появления Гаврюши.

Лешачок увидел, как по аудитории прохаживается низенький господинчик в пенсне, очень интересной наружности, которую даже в мире тёмных духов встретишь не часто. Его наружность была исковеркана, как говорят люди, до неузнаваемости. Эта была некая смесь козла, свиньи и кошки, а может быть даже и собаки. Строение головы было козлиное, рога козлиные, пятак свинячий и уши тоже, да на всём этом ещё торчали усы, копыта заканчи-

вались когтями. Гаврюша прислушался к тому, что он говорит.

– Мы достаточно много говорили о средствах массовой информации, – говорил осипшим блеющим голосом преподаватель, – об их влиянии на сознание, выделили лучших наших адептов из журналистики на поприще человеческого зашоривания. Теперь мы можем с гордостью сказать, что СМИ – являются главной составляющей силой в деле выбора пути развития человечества, то есть, нашего пути. За плюрализмом будущее.

– Ваше Словоблудие! господин БеХрю! – обратился к лектору один из слушателей, – мне не совсем понятна трактовка слова плюрализм, что вы имеете в виду?

– Что же тут непонятного, – проговорил уже не бекающим, а хрюкающим голосом БеХрю. Я вам приведу пример из собственной жизненной практики. Когда я говорю со свинорылыми – они меня почитают за свинорылого, потому что я хрюкаю, когда говорю с козлорогими – они меня почитают за козлорогого, потому что я бекаю. Потом я ещё умею лаять, кукарекать и каркать.

– Ваше Словоблудие, а как же хвост кошки, когти, усы?

– Замечу, чёрной кошки..., господа, чёрной и никакой другой... Иногда мне приходится натягивать маску псоголовых, но это неудобно. Все эти ат-

рибуты для человеческого мира. Там, в своих кругах, я тоже свой. Запомните и если надо запишите: Плюралистическое сознание безгранично; оно всеобъемлюще, оно подобно вирусу чумы. Ничто не разъедает так сознание, как чёрные идеи, замешанные на доброте и правде. Это фундамент работы всех СМИ. Мы же с вами знаем, что свободных СМИ не бывает. Если они не зависят от партий, то зависят от сознания работающих в них. Например, редактор с коммунистическим сознанием никогда не напечатает на страницах своего издания политическую статью журналиста-монархиста.

Господинчик поправил пенсне, посмотрел на карманные часы, сначала хрюкнул, затем бекнул и продолжил, – Люди не любопытны и ленивы, они не хотят разбираться в хитрых подоплёках, чем мы всегда безгранично пользовались, пользуемся и будем пользоваться...

Тут один из слушателей вперил взгляд в Гаврюшу, сделал круглые глаза и проговорил: «Ваше Словоблудие, а это что?» – и он указал пальцем на лешачка.

БеХрю с удивлением посмотрел на Гаврюшу и спросил мяукающим голосом:

– Ты кто... шпион?

– Я-я-я случайно... – проямлил Гаврюша, – я не хотел...

– Он свиной рыловский лазутчик! – выкрикнул кто-то, – посмотрите на его морду.

– Правда!?! – спросил уже мекающим голосом БеХрю и кивнул двум рослым слушателям, сидящим за первым столом.

Те мигом выскочили из-за стола, схватили Гаврюшу за руки и за ноги, с улюлюканьем вынесли из аудитории на лестничную площадку и стали раскачивать.

– Я за плюрализм!!! – успел выкрикнуть Гаврюша, – но педагог этого уже не слышал, а жаль. Академисты же, раскачав, бросили Гаврюшу вниз по лестнице, а когда он, прокувыркавшись несколько пролётов, остановился, то на прощанье получил ещё такого пенделя, что по воздуху летел до входной двери и даже в ней не задержался, а выкатился прочь и назад его уже не пустили. На том и закончилось Гаврюшино знакомство с академией. Это была большая наука для лешачка, и заключалась она в том, чтобы он не совался своим свинячьим рыльцем туда, куда не следует соваться раньше времени.

В академии Гаврюша успел заметить секретный отдел. О нём ещё лешачки-слушатели академии в туалете речь вели. Они говорили, что в этом отделе христианством занимаются, а заходят туда лешаки не ниже полковников, подполковников и майоров. Чрезвычайной важности отдел. Говорили,

что там на каждого христианина досье имеется, где записываются все его слабости и прегрешения, и что все христиане подразделяются на прихожан, клириков и монашествующих. Ещё удалось узнать краем бесовского уха, что у них в штате есть даже бесовские внутренние войска – целая дивизия лешаческая им придана. Это типа спецназа у людей. У них, сказывали, там хоть и дисциплина, и спрос, но и паёк что надо, и обмундирование. Вот так-то. «Хорошо бы туда попасть», – думал, слушая академистов, Гаврюша. А когда его выперли за дверь, то он стал думать так: «Хоть куда бы попасть, лишь бы пристроиться».

4.

«Что ж, кто не рискует, тот и не имеет золотых подков» – решил лешачок Гаврюша и направился к своему когортному за разрешением принять образ человеческий. Самовольно тут действовать было никак нельзя, можно чего доброго кому-нибудь и на хвост наступить. Когортный выслушал лешачка, но сам принимать решение не стал, а отослал его к легионному, к самому Болотному Праху. (Он называется легионным, потому, что у него в подчинении легион лешаков). «Пусть, – говорит, – Его Тлетворность решает, это в его компетенции», – а сам думает: «Конечно, лешачок умный, но как бы не проко-

лоться. Сам докладывать не буду, хотя за это и попадёт, но это совсем мизер по сравнению с взбучкой за прокол».

Пришёл Гаврюша к Болотному Праху, коленки дрожат, хвостик трясётся и бух тому в копыта: «Не вели, дескать, в тартарары, вели слово вымолвить!». Легионный от такой наглости даже опешил. «Но ничего,- подумал,- это даже забавно»,- и разрешил говорить. Гаврюша тут весь свой план и выложил.

– Сам придумал?– спросил Болотный Прах и ласково посмотрел на лешачка.

– Так точно, с места не сойти Ваше Смрадоподобие, пусть у меня рожки отвалятся,- гаркнул Гаврюша.

– Вот и не сойдёшь с места, когда тебе козлиные копыта заменят на свиные. Вот на тех уж попрыгаешь. Они кроме как в дерьме топтаться ни на что не годны...– а сам подумал: «Складно ты поёшь, только посмотрим, как это на деле у тебя выйдет?»– смекает легионный, а сам примеривается, стоит ли докладывать вышестоящему лешаку, Его Скотоподобию, или не стоит?

– Я не Смрадоподобие... ко мне обращаются «Ваша Тлетворность»,– сказал поучительно легионный ласковым голосом,- а сам думает: «Умеет льстить, подлец, значит далеко пойдёт. Не простой, видно, лешачок, не просто-о-о-й...».

Понравился легионному лешачок, шустрый такой, хоть и без академического образования, но землю копытами роет. «Этот до больших чинов дойдёт, – думает, – а дойдёт, так я тут как тут, мой, мол, воспитанник Ваше Мракобесие, и так далее; глядишь, лента на грудь и котёл в преисподней в собственность. Его Беспросветность, секретарь Его Мракобесия, разумеется, скажет, что это его протезе, да ну его к монахам, секретутка червивая, пусть говорит, главное, чтоб потом не обидел. А если что из Гаврюшки получится, то ему и Червивый не указ, сам Смрадный за него будет».

Подумал, порассуждал так Болотный Прах и бумагу нужную для лешачонка подписал и, вручая, сказал:

– Выполнишь всё в точности, о чём говорил, получишь в награду «орден Бесовского отродья» третьей степени, а не исполнишь ... – дескать, пеняй на себя. А орден Бесовского отродья, хоть и третьей степени, выше чем медаль Лукавого. Осталось только место проживания в человеческом образе на земле выбрать. Стал лешачок думать: «Идти в страны Рыжего заката – спокойно, но не перспективно, можно тысячелетие прождать места «под солнцем». В страны Жёлтого восхода податься? Тоже особого резона нет, с их традициями можно случайно не того на рога поддеть. Лучше всего в Полуденную копыта направить». – Так Гаврюша и порешил, после

чего пошёл командировку выписывать в лешаческую администрацию, чтоб всё честь по чести, а то остановит лешаческий патруль, последних блох отдашь, прежде чем отпустят. Хорошо, что на бумагу печать Смордного наложили. С такой печатью не остановят, потому, как от бумаги на полверсты этой печатью воняет. А точнее, так это будет.

Пришёл Гаврюша к лешаческой администрации. Над дверью плакат – «Добро обжаловать». Лешачок копыта вытер и в дверь, а там, за дверью, два мордovorота стоят, Гаврюшу всего обнюхали, даже под хвост заглянули, потом пустили. Идёт Гаврюша по коридору и на дверях надписи читает, нужную комнату ищет. И так ему это забавно показалось, каких только отделов нет, например: «Суециидальный отдел», а под вывеской распорядок дня по часам обозначен, целая табличка. Принимаются: с 8-00 до 9-00 = висельники, с 9-00 до 10-00 = венорезальщики, с 10-00 до 11-00 = алкоголики и наркоманы, с 11-00 до 12-00 = сигальщики. Если слово «сигальщики» непонятно, то поясню. В этот час принимают лешаков, ответственных за тех людей, кто с многоэтажек бросается.

В коридорах власти Гаврюша немало послунялся, пока нужную дверь нашёл. А как вошёл, так и остолбенел. Комната большая и вся столами впри-тык заставлена, и за каждым столом по лешаку сидят, а то и по два, если стол пошире. Между сто-

лами проходы узенькие. По этим проходам лешачки туда-сюда снуют. В местах пересечения проходов лешачки в оранжевой экипировке с жезлами стоят, движение регулируют. Это в лешаческой администрации Ноу-Хау. С введением новшества, производительность труда в делопроизводстве повысилась в пять раз. Раньше одни заторы чего стоили. Бумажку с одного ряда на другой перекинуть – проблема. Это ещё хорошо, что демоны в делопроизводстве человеческую систему переняли «через один порог» называется, а то была совсем беда – уйдёт лешачок подписывать бумагу молодым, а возвращается – борода седая по пояс и копытная мозоль. Только мы на этом останавливаться не будем, чего нам описывать проблемы преисподней, их у всех хватает. Лучше за Гаврюшей понаблюдаем.

И вот превратился лешачок Гаврюша в человека. А так как он при этом не потерял и лешаческих свойств, то перехитрить его из людей никто не мог. Мог он и снова невидимым стать, и по этому свойству, мог, что надо, и подслушать и узнать, и нашептать на ухо что-либо и кому-либо, себе на пользу. В большие чины Гаврюша не лез, а всё больше старался попасть в советники, референты, секретари. Чиновники всех мастей в нём души не чаяли и друг у друга его старались заполучить. Потому как видели: только он к кому в помощники устроится,

то сразу тому чиновнику повышение по службе. А кроме ведь повышения по службе чиновник из Полуденной больше ничего и не желает. Будет повышение, а там вклады и недвижимость, особенно за границей, само собой. Тут уж надо быть спокойным.

Смекает Гаврюша, думает. И видит, что горят синим пламенем на взятках разные должностные чины. А сам всё себе подходящую кандидатуру подыскивает, чтоб не сгореть сразу. Как он и раньше думал, то и в жизнь стал претворять. Думал он о том, что надо подходящего человека в должность толкать, а не таких, что только пробьются, так сразу и проворуются, безмозглые, зря только силы и время с таким растратишь. Этому и следовать стал. Кандидатура должна быть не замаранная, из народа, а не браток после отсидки, с таким сразу легко, зато потом хлопотно. Окружит такой себя всякими умниками, только природу никуда не денешь, она так и прёт.

Поначалу же, как только Гаврюша человеческий вид принял, он в педагоги подался, учителем истории стал. Потом, это было для него проще, историю он знал как пять пальцев, и настоящую и подменную. Его ученики в школе сразу стали на олимпиадах призовые места занимать. Гаврюшу, то есть Гаврилу Тихоновича хвалят, грамотами обвешали. Он и «Лучший учитель года» и «Почётный работник образования» и ещё там кто-то. Хитрый –

каналья. К директору школы ключик отыскал – через полгода стал завучем. Директор в нём души не чает, а лешачок, знай, о нравственности говорит, об идеалах, общечеловеческих ценностях, о правах человека особенно и, само собой, о свободе слова и вероисповедания. А говорит, как будто с листа читает, на страны Рыжего заката всё ссылается и особенно на Зазакатную. Потом, этак, незаметно, директора убрал, и вместо него сам уселся в директорское кресло. Однако сидел в этом кресле недолго, колготное оно и ответственное – чуть-что не так, все к нему бегут, только почёсывайся. «Нет, – думает Гаврюша, – высокие должности в мире людей не для меня, надо в тени быть, а своё дело делать. Это кресло ему и не нужно, по большому счёту, это только трамплин, с которого можно было сигануть или в референты, или в советники; такая вот корректировочка прежних дум выходит».

По своим манерам лешачку удобнее было в советниках остаться, а кого-то из людишек на более высокие должности тянуть. Чтоб, значит, этот человек и служил в дальнейшем его лешаческим потребностям, этот ход у демонов в поколениях проверенный. Главное, этому человеку хорошо мозги заморочить. Только надо было кандидатуру из человек веков подобрать, а это, как говорится, не рогами трясти, тут думать надо.

Думал Гаврюша, думал, летал по окрестностям, летал, да к людским разговорам прислушивался. И вдруг, однажды слышит, как мужики байки травят. Прислушался – про какого-то Ивана-дурака – говорят.

«Если байки, – смекает лешачок, – то человек, значит, и впрямь подходящий, а если по каким параметрам не дотягивает, то для чего же Гаврюша?». Мужик тот, про которого байки травили, в общежитии истопником работал; крепкий с окладистой бородой, а лоб – что аэродром. Полетел Гаврюша к этому мужику в общежитие, смотрит – здоровенный мужичина ведро угля несёт:

– Много слышал, – говорит Гаврюша, – рад познакомиться, я – Гаврила Тихонович Лешаков, – руку протягивает, – а вы? чем занимаетесь? как вас зовут?

– Как – как?... Плешаков говоришь? – нераслышал Иван-дурак.

– Да не Плешаков, а Ле-ша-ко-в, – от слова лешак... понял?

– Да понял, чего не понять, ... я истопником работаю. Раньше в Ташкенте жил, экономистом работал, а потом, как всё закрутилось, с семьёй сюда, хорошо директор уголок выделил. Числюсь истопником, а делаю всё, что придётся.

– А что, другой работы разве в городе нет, – допытывается лешачок.

– Работа-то есть, да крыши нет. А здесь, какой никакой, но угол. Директор в общежитии комнату, как беженцам выделил. Притом же семья, дети. Детям опять же учиться надо... – все здесь.

– Значит, из-за крыши над головой, работаешь? – допытывается Лешачок.

– Я смирился... Крыша она есть крыша... – тягуче говорит истопник.

– А вот этого как раз и не надо, – проговорил Гаврила Тихонович, – я этого слова – «Смирился», «Смирение», терпеть не могу, ты мне его больше никогда не произноси. А лучше скажи, как тебя зовут – величают?

– Имя моё простое – Иваном зовут. Иван Ефимович – я. Фамилия Боголюбов.

Лешак поморщился.

– Нет, нет, – сказал он быстро, – так не пойдёт, придумаем псевдоним. С такой фамилией в приличном обществе показаться нельзя. Будешь ты у нас тэ-тэ-тэ..., – задумался Гаврила Тихонович, – вот... придумал. Будешь ты у нас Мерзонравов. Очень хорошо звучит и с большим смыслом, знаете ли. С такой фамилией можно и до советника президента дойти.

– Мерзонравов, так Мерзонравов, – молвил Иван смиренно, – главное чтоб крыша над головой...

– Это ты правильно думаешь, – похвалил его Гаврила Тихонович. – А прозвище у тебя какое?

– Прозвище моё – «Ду-рак».
– Как «Дурак», – опешил бес.
– «Дурак», вот и всё. Раньше «дуррак» был, а теперь попугая нет и второго «р» тоже нет.

– Причём здесь попугай?

– Да притом, в одной конторе, в Ташкенте ещё, работали два Ивана, оба Ефимовичи. А у меня у одного попугай в кабинете в клетке жил. И этот попугай ни бельмеса ничего не говорил, а повторял только одно слово «Дур-рак». Вот сослуживцы, чтобы нас не путать всегда уточняли к кому идти, а те смехом отвечали к «дур-раку». С тех пор и приклеилось.

– Фух-ты, – Гаврюша вытер пот со лба, – меня просто испуг даже взял, не люблю дураков, а «дур-рак» - это хорошо – засмеялся Гаврила Тихонович. – Великолепное прозвище, всем прозвищам прозвище. С таким именем «Иван – дурак» дело пойдёт. Тут мы горы свернём. – И начал учить Ивана уму – разуму:

– «Ты, я смотрю, Иван, очень умный мужик, не лезешь там во всякие авантюры первоволновые. Первая волна, она всё рушит, на ней и сор, и грязь, и мусор. Это ты правильно сделал, что с первой демократической волной не связался, – и погрозил Ивану - дураку пальчиком, дескать, знаем мы тебя хитреца... А Ивану Ефимычу лестно, что его хоть один человек похвалил и даже в нём особую мудрость уви-

дел, а то: жена пилит, тёща учит, дети – изподлобья смотрят, на работе чего только не делаешь - всё придирки. В общем – не жизнь, а какая-то прелюдия к жизни, по-другому сего состояния назвать нельзя. А тут, чужой человек, а на тебе... прозорливец какой-то.

А Гаврюша дальше речь ведёт.– Таких, как ты, Иван Ефимович, специалистов – на пальцах пересчитать... и в такой дыре? Хотя, я тебя очень понимаю, надо в этом чине побыть, потому как из грязи легче попасть в князи..., правильно смекнул и линию ведёшь правильную, прямо - таки гениальную линию, – и Гаврюша, подмигнув истопнику, и хитро улыбнувшись, опять погрозил собеседнику пальцем – знаем, мол, тебя, каналью.

– Да я чего, я ничего, – начал было Иван Ефимович, подбоченившись.

– Э-э! Иван, не прибедняйся только, сейчас мы нашу встречу и дружеские отношения узаконим, – и тут же повёл истопника в какое-то кафе. Не успел Иван толком осознать – что к чему, а перед ним уже блюдо дымится и узорчатый бокал с водочкой поблёскивает. Тут Ивана Ефимовича и развозить стало, а бес подливает, да говорит, какой Иван-истопник знатный специалист и что на таких Иванах русская земля держится.

Наконец Иван-дурак дошёл до кондиции и стал своего нового знакомого его же водкой угощать

и на брудершафт пить. Тычет Иван-дурак вилкой в соус и говорит:

– Это ты правильно, как тебя там, мракобес или полубес, уж запомнил, говоришь. Я, как специалист в экономике скажу, – а сам приподнимается, над столом всей своей могучей фигурой повисает и, покачивая в воздухе над головой вилкой с окорочком и одновременно наклоняясь к Гаврюше пытается сказать нечто вразумительное и гордое. – То, что ты меня заметил – это правильно сделал Гаврила Тихонович, а Иван-дурак! – и он стукнул себя в грудь кулаком, – не продаст и тот, кто во мне человека увидел, его пожизненный кореш, а я ему слуга! Душу за него положу... – и он тяжело рухнул на стул.

– Вот правильно, вот умно, – заговорил Гаврила Тихонович, – что слуга, это ты хорошо сказал, очень хорошо, это мне нравится; от чистого сердца, стало быть, сказал? А что душу положишь – об этом даже и сказать нечего... Лучше, конечно, не положить, а отдать, но для начала и это неплохо... очень даже заманчиво... просто бальзам...

А Иван, – знай, распаляется:

– Конечно, от чистого сердца, – гаркнул Иван, – во мне его грязного никогда и не было, и душа у меня светлая, я ведь не прохиндей какой, всю жизнь вкалывал, – и он протянул Гаврюше две здоровенные ручищи. – Ты во мне человека увидел,

а вы-ы-ы! – и он погрозил кому-то, спяна, пальцем, вперея выше головы Гаврилы Тихоновича помутневший взгляд.

– Вот и ладненько, вот и договорились, – потирая руки и ухмыляясь, говорит бес, – теперь у нас с тобой всё в ажуре. –

Дальнейшее истопник помнил весьма смутно. Очнулся он в своей постели, за занавесочкой; голова трещит, помнить, конечно, ничего не помнит, так отрывками. «Вот, – думает, – опохмелиться бы сейчас, да солёненьким огурчиком закусить!» Не успел он так подумать, как отдёргивается занавесочка и перед ним является его жена, Авдотья Семёновна, в руках поднос, а на подносе рюмка высокая с водочкой, а рядом на вилочке огурчик солёненький покоится и его Ивана дожидается. Иван даже глаза от изумления потёр и щипнул себя за одно место – не снится ли ему всё это? Хмель как рукой сняло от такого дива.

Но ему ничего не снилось. Жена была приветлива и любезна, дети на него смотрели обворожительными глазами, а тёща – злая и сварливая старуха, пекла для него на кухне блины и говорила без умолку о достоинствах её зятя и что она очень рада, что он, муж её дочери. Это было невысказанное, только вчера было всё наоборот.

– Это вы с какого чердака свалились? – спросил Иван Ефимович, изумлённый переменами.

– А ни с какого,– любящим голосом ответила жена,– просто вчера, мы познакомились с твоим новым другом, который рассказал нам о тебе столько, что мы об этом даже и не догадывались. Пожалуйте к столу, почтеннейший Иван Ефимович,– проговорила она нараспев.

Но на этом, удивительное не прекращалось. Только Иван пришёл на работу и уж взял ведро, чтобы уголь носить, как вызывает его сам директор, а никакой-то там завхоз, а точнее завхозиха – жалкая сварливая баба. Вызывает его, значит, директор и предлагает Ивану должность – заместителя по хозяйственной части. И не только предлагает, но уже и приказ соответствующий написал и даже собственноручно в бухгалтерию отнёс, а секретутка на доске объявлений вывесила.

Чудеса на этом опять не кончились. После обеда к директору приехал на чёрном лимузине некто и стал с директором обговаривать вопрос о выдвижении Ивана Ефимовича в депутаты. А там пошло и поехало..., как говорится, закрутилось с самыми неожиданными поворотами и нюансами, всего и не перечислишь.

Если говорить откровенно, то Иван Ефимович всех этих нюансов и не знает, за него его доверенное лицо хлопочет, то бишь, Гаврила Тихонович. И так уж он это всё хорошо проворачивает, будто на пианино с Иваном Ефимовичем в две руки играет. Иван

на пианино играть не умел, но это так, для сравнения, вдруг, кто из читателей умеет играть в две руки неважно на чём, может быть в карты или ещё во что, тогда ему и понятно. Но, это потом так стало, а вначале Иван-дурак от этих неожиданностей ориентиры потерял, чуть с катушек не съехал. Проснулся он утром..., а тут такое...! Вот так- то...

«Белая горячка, наверное,— подумал бывший истопник, и чтобы ушло наваждение, так дёрнул себя за ухо, что даже ойкнул от боли, но наваждение не исчезало. Наоборот, оно стало изо всей силы обрастать всякими деталями, приятнее одна другой.

– Вот подфартило, – изумлялся Иван Ефимович, уже не сомневаясь в своих гениальных способностях. Он сидит в офисе в депутатском кресле, в комнате на двери золотом написано «Депутат...» и так далее.

Кресло же у Ивана-дурака особенное, с подлокотниками и спинкой из крокодиловой кожи и даже с вращением и не только туда-сюда, но и оттуда – туда и даже туда – отсюда и даже с замедлителем хода, чтоб кайфа больше.. Поворачивается Иван Ефимович, а кресло его любое желание исполняет, будто ум имеет. Вот такое кресло у Ивана Ефимовича. И стол у Ивана Ефимовича необычный, только о столе мы немного попозже расскажем, потому, как на следующей должности у него стол был куда лучше, зачем же о более худшем рассказывать.

Из депутатов Иван Ефимович с подачи Гаврилы Тихоновича в отраслевые министры махнул. И самое главное, какую бы он бумагу как депутат, а затем и как отраслевой министр области, не читал – ему было всё очень понятно. Придет, например, бумага, в которой очередной закон прописан, а Ивану, как депутату надо отмашку дать, или утвердить. Тут всё просто: если бумаги с конвертом – то утвердить, а если без... – то на Гаврюшино усмотрение.

С Гаврюшей никто не спорил, разве, что его бывший сокурсник – Громкогласов Илья, которого он приютил под своим крылом, и то, только потому, что во время учёбы в институте они были с ним дружны, и ещё Громкогласов был студент недюжинных способностей. Так вот этот Громкогласов до чего докатился, взял, зашёл в кабинет к Ивану Ефимовичу, да так раз, и всю ему правду-матку в глаза и выложил:

– «Это чему тебя учил профессор Умнов!?!... – говорит. – Ты чего это творишь? Что ты за договора с бельгийцами подписал? Что, совсем крыша поехала? Закон через думу протацил, людям в нищету, а курам на смех. Ты же читал статьи академика Пивоварова, тебе ли мне рассказывать, чем всё это кончится?..

Иван Ефимович его и слушать не хочет, своё гнёт. А Гаврюша рядом невидимо стоит и на ухо Ивану Ефимовичу словно лапшу, опровержения вешает, и чтоб не слетали, прискрепочками миниатюрными пришпиливает, а в лапше той, опять же про свободное развитие рынка, про максимальный либерализм, демакратию и права человека. Громкогласов спорил с ним, спорил, плюнул, понял, что доказывать что-либо, бесполезно, и стал думать, а думать Громкогласову было о чём. Во-первых, он понимал, что если Ваньку не остановить, то он такого наворочает, что вся страна в трубу вылетит и с его законами, и с распоряжениями, потому как он видит, что Ванька не в себе, а никто, кроме Громкогласова этого не замечает.

Хотел он было его жене объяснить, что к чему, да не пробьёшься. В коттедже элитном живёт, по границам разъезжает, дети в Гарварде учатся, счета в банках... Наконец, застал её раз дома, так эта Лилечка, с бывшей параллельной группы на его доводы и внимания не обратила:

– Тебе просто завидно, Илья, что мой Иван достиг, а ты нет. Тебе бы пользоваться нашей благосклонностью, а ты нос дерёшь: то тебе не эдак, а это не так... Хочешь, я тебя свожу в Швейцарию, посмотришь как люди живут?

– Сдались мне эти швейцарцы, – буркнул Илья.

– Да не швейцарцы, полоумный,– сказала она немного надменно,– а наши, русские в Швейцарии.

– Представляю,.. спасибо,.. не надо.

– Плохо представляешь... Представлял бы лучше – не брыкался.– и ушла...

– «Вот стервоза,– подумал Илья.– Иван гибнет, а она рада-радёшенька. Видно, кроме шмоток, бабам ничего не надо. Однако решать этот вопрос требуется незамедлительно».

Всё идёт у лешачонка хорошо, всё гладко: Ивана-дурака пристроил, законы для претворения в жизнь навывдумывал. А если не удавалось полностью свой закон протащить, так хоть запятую, а не там поставит и всё выходит по-лешаковски. И всё бы ничего, только этот Громкогласов невесть откуда свалился. Про любовь к Родине и народу толкует, про многовековую культуру Полуденной и прочее. Вреднейший человек оказался. Критику на Гаврюшины закидоны наводит. Сколько Гаврюша втолковывал Ивану о том, что страна Рыжего заката – это благо, что у них нетрадиционная половая ориентация не в загоне, как у нас. Даже уже склонил Ивана к тому, чтобы её и в Полуденной стране узаконить, но не тут-то было. Объявился этот Громкогласов, да и говорит Ивану-дураку: «Креста на тебе, Иван, нет».

Креста на Иване действительно не было, обронил его где-то Ванюша, когда мальцом был, а новый приобрести – не удосужились родители, так с тех пор без креста и ходит. В церкви ни разу не был, а попов считал, как и было написано в книжке, по которой экзамен сдавали в институте, никак иначе, как анахронизмом - пережитком прошлого, значит. И до того он в эту – рыжую демократию поверил, аж жуть. Над своей кроватью вместо ковра с тройкой и бубенцами, ковёр с этой самой статуей надменной повесил, а тройку в чулан за ненадобностью бросил. Самым умным из экономистов – считал Фороса и так далее.

Только вот Громкогласов так не считал и всегда против Рыжей страны и Фороса что-нибудь противное да скажет. И это Ивану-дураку не очень нравилось, а Гаврюше особенно.

Так вот, хотел Гаврюша убраться этого товарища институтского, да Иван-дурак запротестовал – старая дружба, дескать. Вот тут-то и почувствовал Гаврюша, как не хватает ему знаний, что в бесовской академии проходят. Например, что такое дружба? – ему было совсем непонятно и любовь к Родине заодно, к ближнему, в частности. Он на это раньше и внимания не обращал, потому как считал всё это пустым звучанием. И вот на тебе, это самое пустое звучание втыкает ему палки в колёса. Да тут ещё эти крестоносцы, иереи объявились, ходят, кадилами

машут, приличному лешаку работать мешают, потому, как этой вони ни один уважающий себя лешак не выносит. А тут прямо поветрие пошло – стали на себя люди крестики вешать, мода такая объявилась, как копытная мозоль.

Вот и Иван-дурак повесил крестик, здоровенный такой на золотой цепочке, говорит, что не хочет от других отличаться...

Раз мода, так мода... Это даже хорошо, что из-за моды повесил, а не по мозговым соображениям. Только одно неудобство для лешачонка всё же было в этой затее. Раньше Ивану лешак что угодно мог на ухо нашептать, а теперь близко не подступишься, только можно издали говорить, крест мешает. Он хоть для Ивана и атрибутный, только не для лешака. Нового-то теперь Ивану в мозги не внедришь, одно старое, что раньше внедрил, осталось... Беспокойство, да и только.. А тут когортный отчёт требует, запросами замучил. Ему результаты подавай, а какие результаты?.. Про Громкогласова что ли рассказывать, вот и приходится выворачиваться. Потом Иван-дурак возьмёт да нет-нет что-нибудь и выкинет. Вот на прошлой неделе выпил коньячку малость и в микрофон начал о судах на равной и свободной состязательности говорить. Хорошо Гаврюша вовремя микрофонный провод перекусил.

Ах! Да, про этих злосчастных попов, которых иереями зовут, никак нельзя не рассказать, потому,

как от них главная беда исходит, особенно от монашествующих. Оденут чёрные одежды и ходят выпендриваются, добрым лешакам на хвосты наступают. Как тут профессоров из академии не вспомнить. Всё верно говорили... И откуда повывлазили? Как тараканы! Раньше, как он помнит, никого не было – одна церквушка захудалая стоит, на двести километров вокруг больше ни одной и всё. Народ вообще и лбы то не крестил, а уж там требы подать или причаститься, об этом и речи не было.

Лешаческое воинство то же относительно спокойно жило, знай себе по болотам ухаёт. Чего к народу-то приступать, когда он, за малым исключением, их поля ягода. Если там по злему умыслу колдун порчу и наведёт, так люди ни в церковь бегут, ни в монастырь, а к «бабке» или «дедке», которые под их же лешаческим контролем и работают, только многие из людей этого не понимали.

Обставятся эти «бабки» иконами, да зажгут вязанку свечей и волхвуют. Чего они над людьми читают, того последние не понимают, думают, что это молитвы святых угодников, а на-ка, выкуси. Есть, конечно, молитовки и из молитвослова, но это так, для прикрытия. Главной среди них является та, которую древний Смердный лешак вручил. Жаль, что его Гаврюша никогда не видел, потому, что не по чину, о нём даже тысяченачальники шёпотом говорят.

И если самого главного беса Гаврюша не видел, то одного из главных чародеев, а точнее, чародейку повидать пришлось. Хотя, что там смотреть, - тьфу, прости ты меня, нечистая сила, идёт древняя бабулька, вся высохла, в руке клюка, сгорбилась, аж до земли, а по бокам её воинство бесовское разных словий и рангов сопровождает, потому как все ей служат, споткнуться не дадут. Люди, разумеется, этого не видят, но боятся, потому как, что захочет старуха, так воинство лешаческое всё исполнит. По сравнению с ней, даже те, что по телевидению выступают, руками там машут, мази и кремы заговаривают – можно сказать – мелочь пузатая. Если эта старушенция захочет в кого из людей одного из своих слуг вселить – считай, пропал человек, никакой другой колдун его из этого человека не выгонит и к бабке этой, чтоб её мучить, не отошлёт. Это даже звучит как-то смешно.

А вообще, бес беса не выгоняет, по большому счёту; человек, обратившийся к колдуну за помощью, сам становится, через свою в них веру, причастником их дел, а своих они стараются не обижать. Так, устроят маленький междоусобчик, «стрелкой» по-современному называется, вопросы свои порешат, и все дела. Друг с дружкой ещё в разные защиты, да наветы поиграют, это у них такие приколы, и разойдутся. А тот бедолага, что к ним за помощью обратился, он им по большому счёту и не нужен.

Есть у того «крыша» – оставят в покое; нет «крыши» – не обессудь, так всю жизнь и будет маяться.

И потом: в тёмном воинстве свои чиновники, свои министерства, ведомства, так что не всё так просто. Одним словом, идут людишки к этим «бабкам» и «дедкам» вереницей. А того им невдомёк, что вполне могут обойтись без них, потому как давно забыли – кто они такие есть? Об этом среди лешаков говорить не принято, зачем противному воину напоминать о кольчуге перед битвой, забыл, так и хорошо. Тут не до рыцарства, лишь бы шерсть сохранить. Люди забыли, что их главная защита – церковь и храмы, которые они в стойла по своему неразумению и по наущению лешаческому превратили. В последнее время немного понимать стали, храмы появились, монастыри, а в них эти монахи – тараканы чёрные.

Ох, и не любил Гаврюша этих, монахов, страсть как. Иереев не из монахов ещё терпел, а их нет. К ним не подступиться. Своего ничего не имеют, кроме креста, золота им не надо и заморскими курортами их не соблазнишь. Знай себе днями и ночами молятся. Им и старуха-колдунья не указ. Но это ещё не самое страшное.– Есть среди этой братии такие зловердные, что своими молитвами попаляют бесовское воинство и бегут лешаки от их креста – мощевика куда глаза глядят, тут никакие хитрости бе-

совские помочь не могут. Если сами люди себе же и не навредят.

А этот зловредный монах знай себе кадиллом машет – вонь противную распространяет, чтоб уж совсем лешаку было дышать нечем; святой водой, над которой специальные молитвы прочитаны, брызгает; святую книгу, чтоб ей ни дна, ни покрывки, на голову страждущим кладёт, свечи зажигает, молитвы читает, от которых невмоготу становится, да ещё крестом всех осеняет. Нет, такого не только видеть, но и чувствовать, не приведи, Сатана.

И ещё не меньшая напасть – святые источники из-под спуда вышли. Вода в них холодная-холодная, а люди всё равно в неё как оглашенные прыгают. Вот ещё наказание. Внушаешь этим людям, внушаешь: «Вода-то холодная, аки лёд, куда ты, сердешный, лезешь без всякого жирового запаса. Прыгнешь – и душа из тебя бедолаги вон, если не разрыв сердца, – то простуда, как минимум, обеспечена, а того гляди и больше». Нет же – прыгают, редкий послушается его лешаческого вразумлению и отойдёт от источника.

В общем, находятся те, кто к монахам не идёт, и эта единственная отдушина в жизни лешаческой. И боится Гаврюша только одного, чтобы не затащил ненароком этот Громкогласов, бесам воли не видать, его Ивана-дурака в церковь. Вот о чём у лешачка вся душа изболелась, гори ты тогда бесов-

ским огнём и чин, и звания, загонят чиновники туда, где Макар телят не пас и будешь только по пустынным болотам ухать да кикимор дразнить. И это почитать будешь за милость.

Подумал так Гаврюша — и вздрогнул. Такая перспектива была-а-а. И на тебе — всё против его шерсти. «Вот если бы как-нибудь этого Громкогласова извести, дружков подговорить что ли? — подумал он». Такая идея лешачку понравилась, он даже похвалил сам себя за такую идею.

— Молодец, Гаврюша, — сказал он сам себе, — не зря ты хвост носишь, — и полетел к дружкам. А те и рады стараться, Гаврюша у них в почёте, да и потом, когда-то в детстве вместе вблизи кладбища людей пугали и всякие козни людям чинили, один проходивший на могилке с мослом в руке и с гнилушкой в другой только чего стоит. Шелудивый, Хвостатый, Пятачок, Вислоухий, Копытошкин... в общем, все старые друзья горой за Гаврюшу; за друга детства кого угодно в распыл пустят. Только указал им Гаврюша недруга своего, этого самого Громкогласова, и начали лешачки к нему подступаться, да не тут-то было.

Громкогласов утренние и вечерние молитвы читает, крестится, в храм Непостижимого ходит, исповедуется. И так исповедуется, что у лешачков шерсть дыбом становится от страха. Всю подноготную о себе говорит и ничего не скрывает: посмотрел

на соседку с интересом плотским и сразу к попу, по-лежал во время работы с часок на диванчике и об этом докладывает, так, мол, и так, повинен в воровстве отведённого на работу времени. Скользкий он для лешачков, ухватиться не за что, страсти от себя гонит, а это для лешачков лучшая зацепка, и ещё святых тайн Непостижимого причащается. То есть дружбу с самим Всемирным водит, где ж здесь подступишься.

Одно остаётся, чтоб Иван-дурак из-под влияния не выходил – надо супротивные мысли внедрять, а так как Иван-дурак человек в бесовских прилогах безграмотный и своих мыслей от его - Гаврюшиных- отличить не может, то этим и надо пользоваться. Здесь главное - человеческий ум не по той дороге направить.

Страшное дело – этот человеческий ум. Если он в помрачённом бесами состоянии – хорошо, а если нет, то просто беда. Сладу с ним никакого нет. Или вот: глядишь, человек профессорского звания, а ум тёмный. Вроде бы многие земные науки изучил, а главного не знает и даже не догадывается о нём. А писателей, журналистов и нравоучителей сколько с помрачённым умом ходят? просто чудненько, не говоря о министрах и экономистах. Помрачение здесь главное дело делает. Лешаки в этом деле своего не упустили – вложили в головы, что страсть к приобретательству – это хорошо, а доволь-

ствование малым, чему учат чёрные тараканы, – это плохо, это и есть помрачение ума.

6.

Иван-дурак, тем временем, за ум стал браться. А это означало, стал задумываться о смысле жизни и прочих тонкостях человеческого бытия. Сидит за столом и всякие ему мысли в голову лезут. Лежит себе ночью, а заснуть не может. Поедет за границу на отдых, катается с заснеженных гор в стране Рыжего заката, только и там его противные мысли достают. Вроде бы по его помрачённому уму – всё правильно делает, хочет как лучше сделать, а дело не идёт и получается как всегда. Бьётся он, старается, а ему всё лыко в строку. И чем больше он правильных вещей делает, тем больше его критикуют.

Совсем Иван в тупик вошёл: не делает ничего, всё на самотёк пустит – хвалят, аж слюной брызгают, газеты в руки взять нельзя, вся в слюне. Начнёт делать то, что сообразно со здравым смыслом – бранят, на чём свет стоит. Не может Иван ума приложить – как ему дело вести. Правда, он и о демократии и всех её атрибутах по-прежнему говорит, но уже как-то без вдохновения, без пафоса. И всё больше и больше желает с Громкогласовым разговаривать.

Жена о Громкогласове слышать не желает. Ивану-дураку, дети противятся, соратники его уже терпеть не могут, смуту даже против него, Ивана Ефимовича, затевают, хотят поста лишить, куда его, Ивана-дурака, несколько лет назад под бурные аплодисменты сами и водрузили. А тут ещё Иван засомневался в либеральных ценностях и при всех сказал, что наше могущественное телевидение есть цитадель порока. Что тут началось..., что началось: умопомрачённые с экрана не слезают, слюной брызгают, а из-за рубежа, ноту протеста против него – Ивана-дурака, прислали. И это-то при хвалёной свободе слова и совести.

Совсем уж было закручинился Иван-дурак, что делать – ума не приложит. Вроде бы ум его стал с одной стороны чуть-чуть светлеть, и он уже стал смекать, что к чему, а тут о нём говорят, что он и есть как раз настоящий дурак. И что это не прозвище и не фамилия такая, а его состояние, и что его нужно освидетельствовать, а эксперты должны быть независимые и из самых свободных стран мира, чтоб уж там никакого чёрного пиара, как- будто этот пиар не в самых свободных странах придумали?

Отчаялся, было, Иван: жить по-старому – совесть не велит, а по-новому – грехи не дают, грозят и про старые делишки напоминают, дескать, пойдёшь своей дорогой – опять в истопники отправишься и даже в школьных завхозах не удержишь-

ся. А быть снова истопником Ивану ой как не хочется. Там ведь не только стола с секретом нет, но даже дров приличных, чтоб без загогулин, свивов и наростов, от которых одни кровавые мозоли на руках. Вспомнил Иван про эти дрова и подумал: «А ведь отправят опять в истопники, а он, будучи на высоком посту, даже о дровах не позаботился, не то чтобы там... Да и стол было жалко, хороший стол, дубовый. А главное, в этом столе секрет есть – принесёт человек конвертик, Иван бумажками прошелестит и в стол.

Сколько его раз с этими конвертиками хотели застукать и ничего, стол спасал, его хоть рентгеном просвечивай и то ничего не обнаружишь.

В общем, заклинило Ивана: с одной стороны – совесть жить спокойно не даёт, а с другой – со столом расставаться жалко. А тут ещё этот референт Гаврюша..., знай свою песню выводит, про европейские ценности толкует, либерализм, да про Канары. Об этих Канарах Иван совсем слышать не может. Гаврюша говорит «Канары», а Иван первый слог почему-то не воспринимает и у него в голове звучит: «...нары, ...нары, ...нары.»

Случилось в этот момент прийти к Ивану дураку Громкогласову Илье.

– Ты чего, Илюша, пришёл?– спрашивает Иван.

– Знаю, помощь тебе нужна, вот и пришёл.

– Это о какой ты помощи говоришь?

– О нашей помощи говорю, о христианской, православной.

– А в чём же она заключается?

– А вот поехали со мной – по дороге скажу.

– Куда ж мы с тобою поедем? Когда у меня дел непроворот: встреча с экспертами, встреча с журналистами, нумизматами и прочей хренью. –

– Как же ты с ними, Ваня, будешь говорить, когда у тебя ум помрачён? – А Иван-дурак думает, что помрачён – значит уставший. А Илье главное, как-то друга из кабинета вытащить, да в одно место свозить.

– Верно, – отвечает Иван Ефимыч, – развеяться надо, подустал я, – сам на кнопку нажимает, референт входит. – Ты, – говорит он референту, отложи запланированные на сегодня встречи, до завтра. – А кто такой был этот референт, мы знаем и он, конечно, запротивился: «Как это отложить, вы что, Иван Ефимович, разве можно, какая такая нужда? – говорит референт, стараясь переубедить начальника, – помилуйте, а что напишут завтра в газетах, какие будут отклики за рубежом?.. Сами понимаете, что не к чему это: на вас и так давление идёт по части умственной несостоятельности. Говорят, что она под большим вопросом, ваша умственная состоятельность, а сам зло на Илью поглядывает.

А Иван-дурак на своём стоит, машину велит подать. И пока референт с машиной суетился, да во-

дителя подговаривал, чтоб машина сломалась, Иван-дурак вышел незаметно, да в старый обшарпанный Громкогласовский «Запорожец» сел. Это у него просветлённая часть ума так сработала. В общем, в учреждении паника, охрана ничего не знает, референт, то есть Гаврюша, всех чуть-ли не по головам папкой бьёт, а пока понял, что ничего от этих дуболомов ему не добиться, взял да прямо в образе референта в окно видимым образом и вылетел, секретарский люд только рот открыл. Полетел Гаврюша за Иваном-дураком, да припоздал малость, надо было сразу вдогон рвануть, а он на квартиру, так кто же знал?

Илья же своё дело туго знает. Довёз друга до нужного места, Запорожец остановил, выходит и Ивана приглашает выйти:

– Давай, – говорит, – Ваня, немного водички попьём. Тот согласился, к водоёму идёт, а Громкогласов Илья сзади, торопит... и всё по сторонам смотрит, как бы референт откуда не появился. Видит, на западе облачко белёсое обозначилось. Угадал Илья, что это за облачко, Ивана поторапливает. Облако вдруг на глазах в летающую тарелку превратилось, всеми огнями сверкает, привлечь внимание хочет и беглецов до воды не допустить. Да тут уж Иван-дурак источника достиг. Летающая тарелка со злости в змея с тремя головами превратилась. Хотел было змей Ивана когтями схватить и не дать ему воды испить, да Илья Громкогласов изловчился и толкнул Ивана-дурака в источник, а следом и сам

прыгнул. И вовремя..., в этот момент над их головами только крылья кожаные, змеиные прошелетели. А как Иван-дурак окунулся три раза в святом источнике, то и помрачение с его ума спало. И увидел он и себя, и дела свои в истинном свете, и ужаснулся.

Тут бы и сказке конец, да надо нам перед прощанием на Гаврилу Тихоновича ещё разок взглянуть, на Гаврюшу, понятно. Чем, значит, начали – тем и кончим.

7.

Лешачонок Гаврюша, после такого конфуза, тут же был отозван к когортному лешаку. Когортный даже разговаривать не стал, только махнул лапой и отослал его выше, к легионному. Дескать, что с тобой, вонючкой, говорить, всех под монастырь подвёл, теперь до второго пришествия этим случаем будут в пятак тыкать, не отмоешься.

Понял Гаврюша, что дела его настолько плохи, он даже не ожидал; вон когортный, даже разговаривать не захотел, а только безнадёжно лапой махнул. «Ладно, – подумал Гаврюша, – дальше Ада всё равно не пошлют, и в котёл жариться вместе с человеческими грешниками не посадят. В худшем случае быть ему при этом котле истопником, то есть ходить в саже с кочергой, да вязанки дров на спине носить» и он направился к легионному.

Болотный Прах сидел поникший и о приватизации котла в преисподней уже не мечтал. Об этом конфузе с Гаврюшей узнал даже лешаческий министр Дерьмоедов, век бы у него за ухом чесалось, а копыто бы туда не доставало. Заинтересовался министр этим делом, велел лешачонка к нему прислать. Может это и к лучшему, а то, что с ним делать: наказать по всей строгости – не поймут, у лешачка свои почитатели имеются; наградить – ещё больше шума будет, можно и поста лишиться. Одним словом, куда не кинь – везде клин.

Посмотрел Болотный Прах на лешачка и только глубоко вздохнул, затем почесал волосатую грудь, хрюкнул и мотнул ушастой головой, дескать, – отправляйте к министру. Только не поняли лешаки как его отправлять к министру: толи с тычками, чтоб впредь неповадно было, или по ковровой дорожке вести. Ведь Болотный Прах на этот счёт ничего вразумительного не сказал. Посовещались, приближённые лешаки и решили, что вести надо по ковровой дорожке, но с тычками, чтоб самим впро- сак не попасть.

Ведут Гаврюшу к министру – одни лешаки впереди ковровую дорожку раскатывают, а другие сзади идут и Гаврюше пинков отпускают. Привели Гаврюшу к министру, на ковёр перед ним поставили. А в это время министр особо приближённых демонов распекает:

– Как вы, клопастые, на такое важное дело умудрились лешака кладбищенского послать. Что я

с него спрошу, когда у него даже академического образования нет!?!– кричит, а Гаврюша стоит рядом и с копыта на копыто переминается, голову рога-тенюкую опустил и хвостик со страху поджал.– Кто у нас в академии учится!?!– кричит Дерьмоедов, сам ногами топает, слюной брызгает.– От людей блатом да коррупцией заразились! Вам же было сказано: «людям давать, а самим не пить и не жрать...», скотоложники! В академию бесовскую без взятки не поступишь, за каждый зачёт мзду подавай! Можешь и не учить, а то, что положено, отстегни, так что ли?! Я вас спрашиваю, мозготяпые!! От людей заразились! Вот кто должен учиться в Академии,- и он ткнул в сторону Гаврюши пальцем,- он без соответствующей подготовки, такую кашу заварил..., а вы??!!

Тут лешачок наш немного прибодрился и даже свинячий носик приподнял, всё-таки не так уж он оказывается и плох.– Ладно,- устав кричать, сказал Дерьмоедов,- всем разойтись, после разберусь, а ты,- обратился он к лешачку, отчего тот опять сгорбился и принял жалкий вид,- не бойся, мне такой пройдоха в секретари самому нужен,- и захохотал, приговаривая,- ну и подлец, ну и, хвост его дери, чего выдумал, есть ещё даровитые и в преисподней, не спета ещё наша песня...

Саратов, 2007.

Бранденвильский узник

Мориц лежал на крыше мансарды почти не дыша. Одной рукой, чтобы не свалиться, мальчишка держался за край отдушины, устроенной в крыше мансарды, а другой рукой крепко сжимал конец бельевой верёвки. Верёвка тянулась к самодельной ловушке – западне для ловли птиц. Сеткой ловушки у Морица служил старый вязаный плед, найденный им на свалке. Мориц не знал чья это крыша, и кто живёт в этом доме? Он не знал даже названия этого городка, потому что это было ему ни к чему. Зачем свободному мальчишке - путешественнику, в свободной стране знать название маленького городишки, которое он прочитал на указателе при въезде?

Сколько уже было таких городков, которые мелькнули перед ним как во сне. Ни в одном из них он не оставался более чем на трое суток и то только затем, чтобы пополнить запасы еды, да раздобыть чего-нибудь из одежды, если это было необходимо.

Мориц любил свободу, но ещё больше в этой свободе он любил предаваться мечтам. Сама по себе

свобода, которой он уже был сыт, мало чего значила без полного живота. Это, скитаясь по дорогам, мальчишка давно понял. Теперь его уже не мучили обыкновенные фантазии о путешествиях, теперь Морицу хотелось результатов от путешествий и как можно скорее. Он хотел, славы – она не приходила, он хотел внимания – его старались не замечать. Иногда он просто хотел есть, а у него не было ни одного цента в кармане.

Особенно Мориц не любил встреч с полицейскими, потому как мальчик неоднократно видел в газетах объявления о пропавшем ребёнке с его фотографией вывешенных на самых видных местах. Хорошо ещё, что в этих газетёнках была не одна его фотография, а всегда набиралось не менее дюжины любителей приключений, так что запомнить всех было сложновато.

Сейчас Мориц добывал себе еду. Приём был не сложный, но до него надо было додуматься. С собой из дома Мориц прихватил своего любимого голубя из голубятни, и теперь, как только мальчик видел летающих в небе ручных голубей, он выбирал удобное место, ставил сеть, выпускал голубя и прятался в укрытии. Его голубь обязательно приводил с собой лучшую голубку, которую в следующем населённом пункте Мориц тут же продавал и покупал себе еды.

На этот раз ему не везло, голубь никак не мог увлечь за собой пернатую подругу и у мальчишки от

неудобной позы начала затекать рука. Он уже хотел было сменить положение тела, как из отдушины мансарды послышались голоса тех, кто находился под ним в комнате. Мальчик прислушался. Говорила пожилая женщина:

– Я опять пригласила к вам доктора Брауна, сэр. Он вам поможет. Браун - хороший доктор. Вы знаете, у него и отец был доктор, и дед тоже. Он лечил ваших родителей. Кстати, вы просили принести вам бумагу, чтобы написать завещание, я выполнила вашу просьбу. Это белая хорошая бумага, на ней не расплываются чернила.

Мориц затаил дыхание. Интересно, о каком завещании идёт речь? Совершенно не слышно слов больного. По всей видимости, он так слаб, что слова его не долетают даже до отдушины. Это было интересно, Мориц оглянулся и увидел неподалёку открытое окно. Держась за лозы дикого винограда, густо оплетающие крышу, он подобрался к окну. Верёвки хватало, чтобы, если надо, потянуть за конец и захлопнуть ловушку. Мориц осторожно раздвинул листву и заглянул внутрь помещения. Напротив него, на старом кожаном диване лежал лет тридцати мужчина с испитым лицом и большими выразительными глазами.

– Ты молодец, Магда, – сказал больной и попытался улыбнуться. Магда – полнотелая женщина

с добрыми и уставшими от бессонной ночи глазами, вдруг прислушалась и сказала:

– Не кажется ли вам сэр, что что-то шуршит на крыше?

– Полно..., кошки или голуби.

– Странно, но наш Сильвестр совершенно на них не реагирует? – и Магда посмотрела на спокойно лежащего на полу довольно большого серого с чёрными пятнами поросёнка, нахоленность которого сразу бросалась в глаза.

За дверью раздались шаги, кто-то поднимался на мансарду по лестнице.

– Это доктор Браун, – сказала Магда и открыла дверь. В комнату вошёл доктор Браун с небольшим ридикюльчиком, с каким обычно ходят люди его профессии. Это был статный пожилой мужчина в добротном костюме и шляпе. Больной сделал знак рукой и Магда вышла.

Доктор Браун окинул взглядом комнату. В ней он был первый раз. Единственное широко распахнутое окно, с нависшими на нём виноградными лозами, мало пропускало света, и в комнате царил полумрак. Лишь одно солнечное пятно чуть дрожало на коричневом крашеном дощатом полу. В центре этого пятна лежал на коврике, вытянув передние ноги вперёд и положив на них голову, а задние подобрав под себя, тёмно-серый с чёрными пятнами

поросёнок. Для доктора его присутствие было ново. Он не знал, что у хозяина есть ручной поросёнок.

Браун знал, что Генри ведёт замкнутый, можно сказать отшельнический образ жизни. Он почти не выходит за забор своего дома и даже в своём доме он постоянно пребывает в уединении. Да и кто может это уединение нарушить? Разве одна преданная Магда, которая тоже не отличается словоохотливостью. Она давно служит Генри и ведёт почти такой же затворнический образ жизни, как и сам хозяин.

В городке поговаривали, что Генри сошёл с ума и буквально затворился в последние годы на мансарде. Другие говорили о том, что с наступлением вечерних сумерек Генри идёт на Бранденвильское кладбище, что находится не так уж далеко от его дома, и там просиживает иногда до утренней зари. Другие поговаривали, что он якобы является хранителем страшной тайны, с чем связан его великий взлёт, как бильярдиста в молодости. Насчёт тайны могли быть и досужие домыслы, а вот насчёт успехов в бильярдном деле – эти успехи были несомненны.

Будучи юношей, Генри проявил необыкновенные бильярдные способности, одолев всех соперников в Новом и Старом свете. Не проиграв ни одной партии и не найдя других достойных игроков, он тихо удалился в глухой городишко Бранденвиль на берегу залива и уже больше не участвовал ни в

одном турнире. Это было очень странно, особенно в его возрасте. Каких - то неполных двадцать лет и затворничество во цвете лет и огнях славы, ну это уж слишком.

– Проходите, доктор, садитесь..., – тихо проговорил, пытаясь улыбнуться, больной и показал глазами на красивый с гнутыми ножками венский стул, стоящий у небольшого с такими же гнутыми ножками столика.

– Проходите, доктор, проходите, – неожиданно проговорил следом за хозяином хрюкающим голосом, лежащий на полу поросёнок. Доктор опасливо покосился на говорящего поросёнка, обошёл его стороной и сел на краешек стула, поставив ридикюльчик на колени. Он никогда, ни только не видел говорящих свиней, но и не слышал о таковых. На сей раз Браун подумал, что ослышался.

– Слушаю вас, – сказал доктор Браун и ещё раз покосился на поросёнка, продолжая сомневаться, что хрюкающая человеческая речь исходила от него. «Наверное, жара виновата, ходишь целый день по душным пыльным улицам, вот и доходился. Всё,.. последний больной и домой, домой, домой. Сегодня же, как никогда, – все больные с перегревом» – подумал он.

Доктор Браун с большим уважением относился к Генри Стакнеру, знал его отца, мать, которые были приличными людьми и всегда вовремя оплачи-

вали труд Брауна. А эту педантичность, как немец, Браун уважал в людях. Ему было всегда неловко напоминать о деньгах. А тут, нет, тут всё как надо. И при жизни родителей, и без них, всё было как надо.

Браун, как врач, относился к великому заточению Генри по-своему. Он считал, что это просто затянувшаяся на многие годы депрессия. «Что за мода, – ворчал он всегда, посещая Генри, – детей привлекать к взрослым играм. Это неправильно. Хотя и талантлив ребёнок, но он всё равно ребёнок и психика у него детская, а потому все эти преждевременные взлёты ничего хорошего детскому здоровью не несут, один вред. Вот взяли и испортили человека с малых лет». И он, как мог, старался лечить Генри. Правда эта болезнь у юноши была столь необычна. Доктор Браун использовал все свои знания, чтобы вывести Генри из депрессивного состояния, но всё было тщетно. Теперь же Браун, как только позвала его Магда, пришёл не только отследить состояние больного, но и дать ему новое, им самим приготовленное, лекарство.

Браун был хороший доктор, с задатками учёного экспериментатора и ему была, с научной точки зрения интересна болезнь Генри. И вот сегодня он как раз и хотел предложить больному вытяжки из новых, неиспользованных им раньше растений.

– Вот это да!– Изумился и затаил дыхание Мориц.– Значит хозяина зовут Генри и у него есть говорящая свинья.– Лица доктора мальчику не было видно, а вот поросёнка и больного он видел отлично. В общем, Мориц не жалел, что происходящее на мансарде испортило его охоту. Он лежал на крыше и старался не пропустить ни одного слова, ведь это была удача и ради этой удачи он согласен прийти в этот городишко, хоть обогнув земной шар.

– Сколько раз тебе говорилось, Сильвестр: «Не вмешивайся в чужие разговоры»,– немного сконфуженно заметил Генри поросёнку.– Извините,– обратился он к доктору, –... это у нас семейное.

– Да, да., – пролепетал растерянно доктор, поняв, что он не ослышался и что хрюкающие звуки исходили именно от лежащего на коврике поросёнка.

– Он у меня баловник, – сказал смущённо Генри,– не обращайтесь внимания,– и незаметно погрозил Сильвестру пальцем.

Доктор знал, что чревовещание имеет место в мире, но насколько оно имеет отношение к животным...? Это был вопрос. В любом случае такое суждение его успокоило. Да и что сказал этот кот – повторил за хозяином два слова. Подражание, это ещё не есть осмысленный разговор.

Доктор раскрыл ридикуль и стал вынимать из него всевозможные медицинские инструменты, но Генри движением руки остановил его.

– В чём дело?– спросил Браун.

– Не надо, доктор,– сказал больной, и вялая усмешка скользнула у него по губам.– Мне это уже не поможет. Я пригласил вас за тем, чтобы вы выслушали меня.– Больному стало трудно дышать, пот выступил у него на лице, но он усилием воли справился с приступом и заговорил дальше.– Просто, доктор,.. когда человек знает о чём-то больше, чем знают другие... – он осёкся,– но справившись с волнением, продолжил. – Нет, не просто знает, как знает в школе учитель, а владеет тайной знания – это уже другое дело.

– Замолчи, Генри,– проговорил поросёнок Сильвестр,– ты не должен никому говорить того, что ты хочешь сказать сейчас, это опасно...

– Доктор опять посмотрел на поросёнка, но уже без изумления. Скорее всего, в его взгляде главенствовало любопытство учёного.

– Мне уже ничего не опасно, Сильвестр. Позаботься лучше ты сам о своей шкуре, буркнул Генри.

– Я сказал, ты ответил,– парировал Сильвестр,– Только эта Магда с тряпкой совершенная дура, в моём хвостике столько же мозгов сколько в её голове.

– Не мешай мне и доктору,– сказал Генри властно.

– Молчу, молчу, ваша честь, но я бы не советовал... – самонадеянно заключило говорящее и рассуждающее животное.

– Надо было раньше советовать,– проговорил больной укоризненно и, переведя взгляд на доктора, продолжил разговор,– дело в том, дорогой доктор, зная тайну ударов и расстановок шаров в бильярде, необязательно тренироваться физически и закалять свою нервную систему и волю. Эти простакки думали, что я ночей не сплю, упражняя свои мышцы в беспрекословном подчинении сознанию. Обо мне даже говорили, что мои руки – есть продолжение моих мыслей, что их слияние в единое целое и породило то совершенство удара.– Он негромко засмеялся,– Всё это бред, дорогой доктор..., всё это бред.

Доктор Браун, видя, что больной хочет действительно поведать нечто, придвинулся и стал внимательно слушать.

– Я не звал вас, доктор, это Магда. Она переживает. Но раз вы здесь, значит это знак свыше.

– Слушайте, доктор, слушайте!– раздался снова голос Сильвестра.– Если вам хочет что-то сказать великий и загадочный Генри, то его надо слушать.

Оба, и доктор, и больной, не обратили внимания на слова Сильвестра.

– Мне было десять лет, когда я стал проявлять удивительные познания и способности, – заговорил Генри. – Многие, в том числе и мои бедные родители, считали, что я гений, а я был обыкновенным мальчишкой, любившим пинать шары и, конечно, как и все мальчишки, любившие игру, мечтал о бильярдном первенстве и даже о короне.

– В общем, все мы в детстве были мечтателями, – заметил доктор.

– Нет, дорогой доктор, – ответил Генри, – не все, – и уточнил, – такие как я... – не все... Мечтатели мечтателям – рознь. Мечтают тоже по-разному. Я проникся мечтой о спортивном превосходстве до самозабвения. Это было какое-то самоупоение в собственных грёзах. Мои мечты о бильярдном Олимпе не оставляли меня ни на минуту. Я стал их рабом. Я стал рабом мыслей о бильярдном троне.

– Да, бывают такие психические расстройства, а, в общем, ничего, чтобы смущало меня как учёного, – заметил доктор Браун. – Извините, я вас перебил, продолжайте, пожалуйста.

– Я этот трон получил. Да, я его получил незаконно и за это заплатился, – резко сказал Генри.

– Ну, уж и незаконно Генри, – проговорил снова Сильвестр, – ты выиграл все турниры, твои удары и сейчас никто не только не превзошёл, но и не может даже повторить. – Он самодовольно хрюкнул.

Но Генри не обратил внимания на реплику поросёнка. Он хотел рассказывать дальше, но, видимо, потерял нить разговора.

– Вы сказали, что получили корону незаконно, – напомнил ему Браун.

– Да, да, спасибо, я помню, – торопливо проговорил Генри. – Я спохватился, доктор, но слишком поздно. Единственное на что мне хватило сил, это отказаться от этого вида спорта и больше не играть.

– Ну и дурак! – заключил Сильвестр вставая и потягиваясь. – Кажется, рассказ становится интересным и мне бы хотелось в нём поучаствовать. Продолжайте, Генри, свою исповедь. Забавненько маэстро, забавненько...! Вы только о драке не забудьте рассказать, а то как-то не совсем понятно доктору.

– Можно не перебивать друг друга?! – попросил доктор Браун. – У меня и так голова идёт кругом. – Пугаясь одновременно того, что начинает воспринимать говорящего и рассуждающего поросёнка, как нечто само собой разумеющееся.

– Я обыкновенный человек, – начал Генри, – самый что ни на есть обыкновенный. И был я до поры до времени обыкновенным мальчишкой. Но однажды я сильно поколотил своего сверстника Кенона, в кровь разбил ему лицо за то, что он выиграл пари, победив меня в трёх партиях подряд.

Генри перевёл дыхание. Видно опять наступал приступ. Но он боролся с ним, боясь, что не успеет досказать до конца.

– Только бил я его не за то, что он оказался сильнее, а более за то, что он разрушил мои иллюзорные мечты о спортивном превосходстве. Потерять их для меня было трагедией. Но и это не всё...

– А теперь о сне... Тоже крайне интересно. – Вставил Сильвестр и хрюкнул.

– Не ёрничай, – сказал ему Генри. – Обойдёмся без подсказок.

– А я и не ёрничаю, – проговорил Сильвестр и стал смотреть в сторону окна.

– Так вот однажды, – продолжил Генри, – мне приснился сон, но вроде как бы наяву, такая полудрёма, знаете ли. Явился мне в этой дрёме Кий-король биллиарда. А с ним его свита. Я присмотрелся, а свита – это игральные шары, на маленьких ножках и с маленькими ручками. Все усатые, с бакенбардами, глаза, рот, нос – всё на месте. Кий-король – в чёрной собольей шапке, в длинном золотистом плаще внакидку с королевскими вензелями говорит мне: «Я знаю твои мысли, Генри. Ты хочешь стать великим биллиардистом! Я долго наблюдал за тобой. Мне было важно знать – годишься ли ты для этой миссии! – И всё это так с пафосом, с пафосом говорит, – Есть ли в тебе спортивная злость? Готов ли ты на отрешение от самого себя ради великой

цели?! Ты будешь тем, кем хочешь, но готова ли твоя душа и ты сам готов ли довериться мне и отдаться без остатка?! Ведь ты хочешь стать властелином биллиарда, не правда ли!?

– Да хочу, – сказал я тогда в великом волнении.

– Ты веришь, что под моим руководством достигнешь заветной цели?

– Если вы явились мне – то верю.

– Правильно, мальчик Генри, – просто так я к тебе бы не пришёл.

– Зачем резину тянуть, – сказал я королю.

На что мне король ответил как-то вкрадчиво, понизив голос до шёпота. – Но ты человек, Генри Стакнер, а мы нет, – и он окинул взглядом придворных, – Нам чужды ваши переживания, эмоции, привязанности. В общем, всё то, чем полна ваша человеческая душа. С такой душой, мальчик, ни один человек не может стать непобедимым. Это ваша людская ахиллесова пята. Ведь, как ты знаешь из истории, Ахиллес то же был непобедимым воином. Его любили женщины, им восхищалась толпа. Но всё это было до поры до времени. Как ты помнишь, на его теле было только одно маленькое незащищённое место – пятнышко. Но и этого хватило, чтобы он погиб от точного удара.

– Это была случайность, – сказал я. Но король меня поправил:

– Случайностей, Генри, в жизни не бывает. Это говорю я, тот, кто знает, что такое случайности. Просто недоброжелатели подсказали противнику, где находится это место и тот нанёс роковой удар.

– Если это не случайность, то предательство! – сказал я возмущённо.

– Ты гневаешься? – заметил разочарованно король и развёл руки в стороны, – эмоции, живущие в твоей душе, сильнее тебя. На свете, мой мальчик, нет ни подлости, ни предательства, ни героизма и ни трусости, всё это красивые сказки.

– Не верю! – выпалил я тогда.

– Мне не надо верить, – развёл руками король, – но в двух партиях из трёх из заключённого пари ты был близок к победе, ближе даже чем мы сейчас с тобой стоим, а победил он.

– Значит это вы подсказали Кенону! – вспыхнул я.

– Нет, я ему не подсказывал, – заверил биллиардный король. – Я просто воздействовал на человеческую слабость твоей души – самодовольство. Ты посчитал, что противник повержен, потерял бдительность и проиграл. Эта ситуация повторилась два раза подряд в абсолютно выигрышной позиции.

– А что, разве не так? – сказал Сильвестр, продолжая смотреть в окно, как будто для него там было нечто более интересное, чем рассказ. Генри не отреагировал на это замечание.

– Я могу тебя избавить от этих недоразумений,– сказал мне тогда король,– во время игры, на время, ты мог бы давать мне душу на сохранение, вот и всё.

– Как это дать на сохранение?– изумился я. – Я что, волен ей вот так распоряжаться? Это же не зонтик и не носовой платок, что вытащил и дал, а потребовалось – назад взял. Платок хоть увидеть можно, а как можно дать то, что никогда и не видел?

– Чего не видел и не знаешь, отдавать легко,– заметил король. – Просто тебе достаточно согласиться с тем, что душа тебе во время игры мешает, и что ты желаешь, чтобы она тебе не мешала, вот и всё.

– Как она мне мешает!?

– Душевные эмоции, переживания, естественные желания и так далее, влияют на нервную систему, а нервной системе подвластны твои мышцы. Вот и всё. Решение простое – требуется освободить тело от твоей души, на время, – и король вежливо улыбнулся.

– Так просто?– удивился я.

– Нет, не совсем. Это желание должно быть абсолютным, без какого либо сомнения.

– А что сомневаться,– сказал я весело,– всё равно не видел и не знаешь.

– Так ты согласен отдать то, чего не знаешь?– спросил Кий-король, глядя на меня в упор.

– Хорошо, пусть будет по-вашему, – сказал я, – только моей душой вы можете пользоваться до моих тридцати лет. Посмотрим, что вы сможете сделать за такой срок?

– Ладно, встречаемся сегодня вечером на кладбище, сказал Кий-король строго.

– А почему не ровно в полночь,– съязвил я,– все интересные вещи происходят в это время суток, особенно в таком месте, как кладбище.

В ответ Кий только грозно сверкнул очами и исчез, будто растаял. С ним пропали и его придворные.

– Вот, в общем, это и всё.

– А что же было на кладбище, – спросил Бранун,– вы туда ходили?

– Если б не ходил,– сокрушённо сказал Генри,– понятно, что ходил. Только никого я там не видел, проторчал до полуночи, затем ушёл. Теперь мне ясно, что моё появление на кладбище и было актом передачи души в этой сделке.

– А дальше?

– А что дальше? Дальше пошёл в миллиардный клуб и выиграл все пулы. Но с этого момента меня не интересовало ничего в мире, я ничему не соперничал и ничему не радовался. Зато спортивные победы на меня сыпались как из рога изобилия.

– Возможно, это было проявление звёздной болезни?– спросил доктор.

– Не было у меня и звёздной болезни. Эмоции происходят в душе, а у меня её не было. Ведь я стал человек без эмоций. Да и человек ли? В биллиардном мире меня называли «Железный Генри» или «Генри - стальные нервы». Я не радовался победам, как все остальные люди, не испытывал и огорчений от мелких неудач.

– В вашем положении случались и неудачи?– спросил доктор.

– Всё это король подстраивал. Мелкие неудачи, тоже его рук дело,– ответил Генри резко.

– Почему только Кий-король, а я?– сказал с апломбом поросёнок.

– Ты, Сильвестр, был всегда и есть шестёрка, понял?!– сказал раздражённо Генри,– а потом, подумав, добавил,– какие неудачи, когда мне достаточно было дотронуться кием до шара, как он катился туда, куда нужно. Да хоть куда и как ни бей шар всё равно катится куда следует. Это будило у присутствующих восторги, а газеты писали о высшем спортивном пилотаже..., глупцы.

– А что, радостей вы совсем не испытывали?– спросил доктор.

– Были в моей жизни и минуты радости. Только охватывала меня радость не от удачно сыгранной партии, а от увиденного ужаса на лицах сопер-

ников. На все турниры я возил с собой всегда кий, сделанный одним прекрасным венским мастером. Я играл только им. Король, некогда явившийся мне, был вырезан на кие в полный рост, в плаще внакидку. Он всегда подмигивал мне лукаво перед поединком, и выигрыш был обеспечен.

– Вы сказали, что испытывали радость от ужаса на лицах соперников, в чём эта радость выражалась? Как она себя проявляла? – спросил доктор Браун.

– Вы задали очень неудобный вопрос доктор. Я и сейчас не знаю на него ответ. Я называю это состояние – злобной радостью. Просто из живота, из самих кишок поднимается в голову муть. В это время охватывает тебя нестерпимое желание всех ею измазать и посмотреть на омерзительные, после этого, рожи соперников. Но это было в начале, потом я их стал просто презирать. Я им хамил этим бывшим чемпионам и откровенно унижал, предлагая в партии фору. Но даже если и принимал кто моё условие, он всё равно не мог ничего поделать.

– И тогда вы удалились в Бранденвиль? – сказал доктор, понимая сжав губы.

– Да, я уехал в Бранденвиль и поселился в отцовском доме. Ни отца, ни матери уже не было в живых, но, я не испытывал чувства потери, а, в общем, и чувства одиночества, и покинутости, то же. Из прежних, была только Магда.

Больной отрешенно уставился в одну точку.

– Разве вам было... – начал говорить Браун.

– Да доктор, да!!!..., – Генри вдруг заговорил громко и резко, – Одно мне мешало жить – тоска. Это единственное чувство, которое осталось во мне и единственное, что соединяло меня с моей душой. Это тоска заставляла меня каждый день вечером ходить по городским улицам до поздней ночи и искать мою душу. Я знал, что она где-то рядом... Тоска! Слепая тоска была мне проводником... Обязательно я приходил и на кладбище, где и состоялась та злополучная передача. Я думал чёрный король придёт, и мы раньше расторгнем сделку, но он не шёл.

– Как бы не так, – сказал Сильвестр, скосив на больного свинячий глаз. – Тридцать лет исполняется только сегодня. Будьте добры, любезнейший... Идите и получите свою душу...

– Да никакой я тебе не любезнейший, – выкрикнул Генри и, схватив со стола пепельницу, попытался бросить ею в Сильвестра, но рука его в высшей стадии напряжения вдруг ослабла и пепельница упала на одеяло, а потом скатилась под стол.

– Вот видите, больной, – заметил Сильвестр, – вам вредны резкие движения, правда, доктор?

– Да, да. Вы уж поспокойнее, уважаемый Генри, – сказал Браун.

– Всё равно до двенадцати ночи со мной ничего ни черта не случится, – выдавил Генри, – я ведь

даже умереть не смогу. Тело без души не умирает. Оно просто бродит неприкаянно по белу свету днём или ночью, пытаюсь вернуть утерянное. Вам, доктор, не придётся никого спасать, по мне даже если танк проедет, я всё равно до назначенного часа буду жить. Вон Сильвестр об этом позаботится. Так что ли, Сильвеструшка? А?!

– На глупые вопросы не отвечаю, – пробормотал тот недовольно в ответ, – и прошу не выражаться.

– Он, видите ли, сердится, как будто не он ко мне приставлен, а я к нему. – Генри усмехнулся. Помолчал, а потом как бы сам с собой стал говорить, обращаясь к себе: «Ну, что Генри Стакнер! Скажи, человек ты или мразь в образе человека? Ты, проведший лучшие свои годы в изгнании! Способен ли хоть сегодня, хоть на минуту обрести свою бессмертную душу и снова стать человеком, а не его тенью? А? А?... Ну, чего молчишь? Выбора нет, Генри!.. Нет выбора... нет...»

– Это с ним бывает, – сказал Сильвестр обращаясь к доктору, – правда в последнее время всё чаще.

– А что, Кий-король так вам больше и не являлся, – спросил доктор.

– Он являлся мне всего несколько раз, уговаривая участвовать в турнирах. Я всегда отказывался. Он грозил, что убьёт меня, но мне было всё равно. Я только потом понял, что связанный договорённо-

стью, он ничего не может мне сделать. А однажды я взял и сжёг этот пресловутый кий венского мастера.– Он потянулся и рукой открыл чехол, там было пусто.– Да, я наблюдал, как горел деревянный король и улыбался. А потом понял, что сделал это зря. Вырезанный на кие король не был по-настоящему живой фигурой, это была видимость.

– А вот тут, ты, Генри, поосторожней с выражениями,– предупредил Сильвестр.

– Плевать мне на тебя, на твоё хрюкало, и на твоего хозяина,– сказал Генри и засмеялся. Но смех его был,– как показалось Брауну, уже с неким чувством торжества, хоть тусклого, хоть блёклого, но торжества. Сильвестр, при этом, забрался на маленький детский стульчик, стоявший у низкого окна, а с него перелез на подоконник и улёгся на нём.

– Вот так, – сказал самодовольно Генри,– будешь знать. И хозяин твой сегодня узнает. Будь, Сильвеструшка, спокоен. Вы все узнаете...

Но Браун сказанного не понял.

– Ты, кажется, снова взялся за свои глупые шутки, железный Генри, – сыронизировал зло Сильвестр.

– Я думаю об этих «глупых шутках», со дня моего заточения в Бранденвиле.

– А вы что, сами не можете выйти отсюда?– Спросил больного доктор Браун.

– Однажды я сделал глупость, доктор, – сказал Генри, – я думал, что если мир узнает обо мне, то я одолею миллиардного короля. Я взял и дал во многие газеты интервью. Газеты его проигнорировали. Только одна очень влиятельная газета напечатала это интервью, не выбросив из него ни одной буквы. Мой разум ликовал, но, оказалось, что газета вышла точно первого апреля. За это миллиардный король, лишил меня солнца и я мог выходить на улицу только в вечерние часы... – Он помолчал. – Вы что-то там записываете доктор? Зря.

– Да это ошеломляющие непознанные медицинской факты, – сказал доктор Браун, – Говорящий поросёнок, сумеречное зрение и поведение, всё это, знаете ли, требует нового осмысления с научной точки зрения.

– Дурак, – сказал с подоконника Сильвестр, – только не простой дурак, а учёный. Один другого не лучше.

– Это, уважаемые, надо всё продумать и написать в толстый журнал статью, – сказал Браун, не слушая, что говорит Сильвестр?

– А вы напишите, да, напишите, – сказал Генри с сарказмом, – вам поверят, вас уважают. А как же... доктору Брауну должны верить. Вы сейчас так думаете, доктор?! Не надо... Не старайтесь...

– Правильно, – заговорил Сильвестр. – Прокомментируйте, доктор Браун, напишите... Одного

считали на нашей улице спятившим, после этой статьи уже будет два спятивших. Не забудьте там написать про Сильвестра, то есть про меня, для пущей убедительности. Да, да!

Поросёнок вдруг замолк и прислушался, – на улице раздался какой-то шлепок, затем послышался топот убегающих ног. После этого Сильвестр повернулся к Генри и проговорил:

– Как видишь, Генри, твоя тайна, уже не только твоя тайна, но и ног того юного существа, который лихо несётся по Бранденвилю. И даю на заклад свой хвост, что он убегает не навсегда. Пусть отпадут мои уши, если сегодня эти ноги не принесут сорванца на Бранденвильское кладбище, чтобы перехватить биллиардного короля.

– Ты знал, что нас подслушивают? – зло спросил Генри.

– С того самого момента как на крыше захлопнулась западня, малец случайно потянул за верёвку. Сегодня пойманного голубка в сети будет есть соседский рыжий кот.

– Хорошо сказано про западню, – заметил доктор и поднялся. Генри отвернулся лицом к стене, Сильвестр стал закрывать створки рамы, а доктор направился к выходу, открыл дверь, вышел и стал спускаться по ступеням вниз. После его ухода на мансарду поднялась Магда с полотенцем на плече. Она поправила простыню на постели больного, дос-

тала из кармана фартука тряпочку, протёрла от пыли стол, сунула её обратно в карман и, уходя, протянула Сельвестра вдоль спины полотенцем. Поросянок от неожиданности хрюкнул и залез под стол.

– Безобразие... – проговорил Сильвестр из под стола. Магда посмотрела на, как ей показалось, уснувшего больного, мелко перекрестилась и вышла.

– Ох, уж мне эта простота, – сказал Сильвестр, вылезая из-под стола и почёсывая ушибленное место, – копыта не охота марать...

Наутро на Бранденвильском кладбище было найдено тело Генри Стакнера. Он сидел около могилки отца, прислонившись спиной к кресту, глаза его были открыты и смотрели в ясное утреннее безоблачное небо, а на губах застряла презрительно насмешливая, последнего из Стакнеров, улыбка.

Саратов, 2008.

Оглавление

Всё в руках Божьих	3
Низзя	20
Облака	44
Колдуны	55
Красная яма	68
Дядя Яша	94
Сеня	114
Роботно	127
Солнышко играет	138
Андрюша	155
Улыбчивый Саня	177
К источнику (повесть)	194
Про Гаврюшу–лешака и Ивана–дурака (сказка).....	258
* * *	
Бранденвильский узник	354

Литературно-краеведческое издание.

Пётр Петрович Африкантов

Сказки о Саратове

Странные истории
(повести, рассказы, сказки)

Книга восьмая

Книга издана в авторской редакции.

Компьютерная вёрстка, обложка и макетирование П.П. Африкантова.